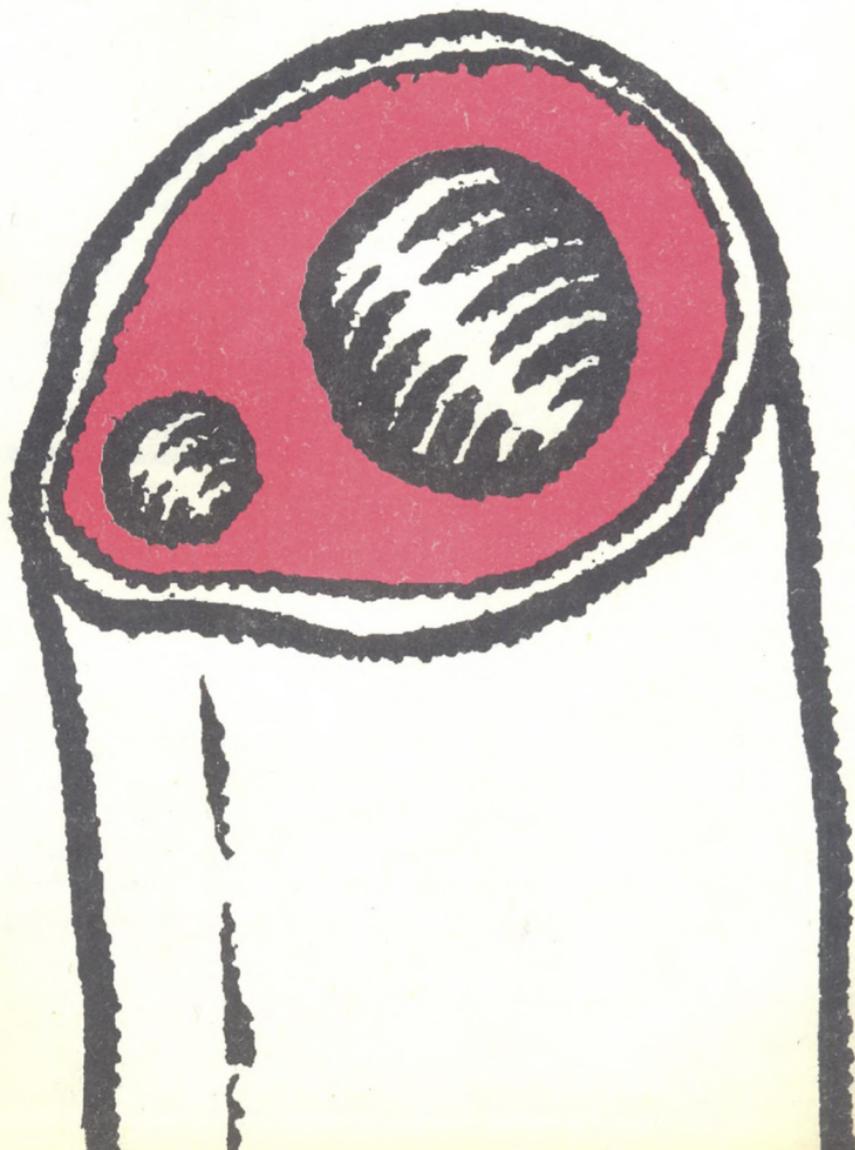


Независимый альманах

КОНЕЦ ВЕКА





Литературный независимый альманах «КОНЕЦ ВЕКА» учрежден московскими писателями в 1991 г. Содержание — самые любопытные произведения современных русских авторов как из России, так и из-за ее рубежей.

Альманах отстаивает и проповедует святое право писателя на свободное высказывание вне зависимости от его литературных и политических пристрастий и с 5-го номера на основании этого принципиального начала содружествует с «Независимой газетой».

Желающие получить следующий номер альманаха могут присылать почтовые открытки со своим обратным адресом по адресу: 103055, Москва, К-55, аб. ящик 95. Издание будет отправлено наложенным платежом по соответствующей времени выхода цене.

ISSN 0868-8591

**Независимый литературный альманах
«КОНЕЦ ВЕКА»**

Выходит с января 1991 года.

**Главный редактор
Александр НИКИШИН**

Редакционная коллегия:
Александр РОСЛЯКОВ
(заместитель главного редактора)

Виталий ТРЕТЬЯКОВ

Виктория ШОХИНА

Игорь ШЕИН
(главный художник)

К сведению уважаемых авторов!
Наш адрес: 103055, К-55, абонементальный ящик 95.
Рукописи, представленные к рассмотрению,
не рецензируются и не возвращаются.

**Перепечатка текстов из альманаха без согласия
редакции не допускается.**

© Независимый альманах «Конец века», 1994
При участии «Независимой газеты».

Наш драгоценный читатель!

Человек слаб, а время мутно. И в пору сокрушительного обесценивания всего и страшных потрясений нам на какой-то миг показалось, что наш труд по собиранию крупиц изящной и достойной Вашего внимания словесности не нужен. И внутренние наши драки с горькими обидами из-за каких-то призрачных, никем, нигде и никогда не установленных критериев отбора подлинной литературы ни к чему.

Но нынче, как бы поглядев в окно, где мгла носилась, а потом все опять под голубыми небесами и все-таки охота жить, — мы поняли другую правду. Что пока человек жив, его желание знать подлинно о мире и себе — бесмертно. А это, по нашему составительскому понятию, — и есть литература. И еще, словами Баратынского:

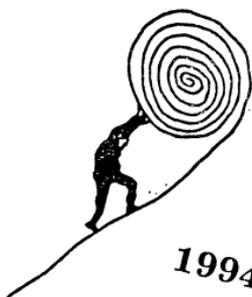
*Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупить заблуждение
И укротить бунтующую страсть.*

В этом, пятом от начала, выпуске «Конца века» с избытком и страстей, и заблуждений. Отваживаясь предложить Вам вещи, даже для нашего раскованного века не вполне привычные, мы хотим, чтобы Вы сами отвергли одни, приняли другие. Чудесный мир гармонии в по́рах самой жгучей, даже подчас отвратительной, остервенелой современности, — вот тот сумасшедший рай, в который приглашаем Вас, читатель драгоценный, мы.



КОНЕЦ БЕКА

Москва



1994

ВЛАДИМИР СОРОКИН

СЕРАЧА ЧЕТЫРЕХ

Роман

Сей сон есть явь. Или наоборот. Во всяком случае одно проистекает из другого. Во всяком случае не пытайтесь обычным образом понять, что в этом сверхнеобычном произведении из чего проистекает. Тогда, возможно, уловите ту выспреннюю авторскую нежность в отношении к проистекающему, которая подскажет, что все, вкупе с «жидкой мамой», проистекает из единственного, одержимого неизъяснимым, человеческого «я».

ВЛАДИМИР СОРОКИН

СЕРАЧА ЧЕТЫРЕХ

Роман

Сей сон есть явь. Или наоборот. Во всяком случае одно проистекает из другого. Во всяком случае не пытайтесь обычным образом понять, что в этом сверхнеобычном произведении из чего проистекает. Тогда, возможно, уловите ту выспреннюю авторскую нежность в отношении к проистекающему, которая подскажет, что все, вкупе с «жидкой мамой», проистекает из единственного, одержимого неизъяснимым, человеческого «я».

Олег толкнул дверь ногой и вошел в булочную. Народу было немного. Он прошел к лоткам, взял два белых по двадцать и половину черного. Встал в очередь за женщиной. Вскоре очередь подошла.

— Пятьдесят, — сказала седая кассирша.

Олег дал рубль.

— Ваши пятьдесят, — дала сдачу кассирша.

Прижав хлеб к груди, он двинулся к выходу. Выйдя на улицу, достал полиэтиленовый пакет, стал совать в него хлеб. Батон выскользнул из рук и упал в лужу.

— Черт... — Олег наклонился и поднял батон. Он был грязный и мокрый. Олег подошел к урне и бросил в нее батон. Затем взял пакет поудобней и двинулся к своему дому.

— Эй, парень, погоди, — окликнули сзади.

Олег оглянулся. К нему подошел, опираясь на палку, высокий старик. На нем было серое поношенное пальто и армейская шапка-ушанка. В левой руке старик держал авоську с черным батоном. Лицо старика было худым и спокойным.

— Погоди, — повторил старик, — тебя как зовут?

— Меня? Олег, — ответил Олег.

— А меня Генрих Иванович. Скажи, Олег, ты сильно торопишься?

— Да нет, не очень.

Старик кивнул головой:

— Ну и ладно. Ты наверняка вон в той башне живешь. Угадал?

— Угадали, — усмехнулся Олег.

— Совсем хорошо. А я подальше, у «Океана», — старик улыбнулся. — Вот что, Олег, если ты и впрямь не спешишь, давай пройдемся по нашему, так сказать, общему направлению и потолкуем. У меня к тебе разговор есть.

Они пошли рядом.

— Знаешь, Олег, больше всего на свете не терплю я, когда морали читают. Никогда этих людей не уважал. Помню, до войны еще отдали

Владимир Сорокин родился в 1955 г. в Московской области. Окончил Московский институт нефти и газа, работал художником-оформителем. Автор книг: «Очередь», «Тридцатая любовь Марины», «Обелиск» (сборник рассказов), «Месяц в Дахау» и других.

Переведен на 10 европейских языков. Финалист Букеровской премии 1992 г. (по рукописи).

У нас почти не издавался в силу причин. «Сердца четырех» — первое крупное произведение европейски знаменитого сородича, публикуемое на родном.

Живет в Москве.

меня летом в пионерский лагерь. И попался нам вожатый, эдакий моралист. Все учил нас, пацанов, какими нам надо быть. Ну и, короче, сбежал я из того лагеря...

Некоторое время старик шел молча, скрипя протезом и глядя под ноги. Потом снова заговорил:

— Когда война началась, мне четырнадцать исполнилось. Тебе сколько лет?

— Тринадцать, — ответил Олег.

— Тринадцать, — повторил старик. — Ты про Ленинградскую блокаду слышал?

— Ну, слышал...

— Слышал, — повторил старик, вздохнул и продолжил. — Мы тогда с бабушкой, да с младшей сестренкой, Верочкой, остались. Отца в первый день, двадцать второго июня, под Брестом. Старшего брата — под Харьковом. А маму. На Васильевском, в бомбоубежище завалило. И остались мы — стар, да мал. Бабуля в больницу пристроилась, Верочку на дежурства с собой брала, а я на завод пошел. Научили меня, Олег, недетской работе — снаряды для «Катюш» собирать. И за два с половиной года собрал я их столько, что хватило бы на фашистскую дивизию. Вот. Если бы не начальнички наши вшивые, во главе со Ждановым, город бы мог нормально продержаться. Но они тогда жопами думали, эти сволочи, и всех нас подставили: о продовольствии не позаботились, не смогли сохранить. Немцы Бадаевские склады сразу разбомбили, горели они, а мы, пацаны, смеялись. Не понимали, что нас ждет. Сгорело все: мука, масло, сахар. Потом, зимой, туда бабы ходили, землю отковыривали, варили, процеживали. Говорят, получался сладкий отвар. От сахара. Ну, и в общем, пайка хлеба работающему 200 грамм, иждивенцу — 125. Как Ладога замерзла, Верочку — на материк, по «дороге жизни». Сам ее в грузовик подсаживал. Бабуля крестилась, плакала: хоть она выживет. А потом уже, когда блокаду сняли, узнал — не доехала Верочка. Немцы налетели, шесть грузовиков с детьми и ранеными — под лед...

Старик остановился, достал скомканный платок. Высморкался.

— Вот, Олег, какие были дела. Но я тебе хотел про один случай рассказать. Вторая блокадная зима. Самое тяжелое время. Я, может, и вынес это, потому что пацаном был. Бабуля умерла. Соседи умерли. И не одни. Каждое утро кого-то на саночках везут. А я на заводе. В литейный зайдешь, погреешься. И опять к себе на сборку. Вот. И накануне Нового года приходит ко мне папин сослуживец. Василий Николаич Кошелев. Он к нам иногда заглядывал, консервы приносил, крупу. Бабулю хоронить помог. Заходит и говорит: ну, стахановец, одевайся. Я говорю — куда? Секрет, говорит. Новогодний подарок. Одейся. Пошли. И приводит он меня на хлебзавод. Провел через проходную и к себе в кабинет. А он там секретарем парткома был. Дверь на ключ. Открывает сейф, достает хлеб нарезанный и банку тушенки.

Натял кипятку с сахарином. Ешь, говорит, стахановец. Не торопись. Навалился я на тушенку, на хлеб. А хлеб этот, Олег, ты б наверно и за хлеб-то не принял. Черный он, как чернозем, тяжелый, мокрый. Но тогда он для меня слаще любого торта был. Съел я все, кипятком запил и просто опьянел, упал и встать не могу. Поднял он меня, к батарее на тюфяк положил. Спи, говорит, до утра. А он там круглые сутки работал. Отключился я, утром он меня разбудил. Опять накормил, но поменьше. А теперь, говорит, пойдем, я тебе наше хозяйство покажу. Повел меня по цехам. Увидел я тысячи батонов, тысячи. Как во сне плывут по конвейеру. Никогда не забуду. А потом заводит он меня в кладовку. А там ящик стоял. Ящик с хлебными крошками. Знаешь, его в конце конвейера ставили и крошки туда сыпались. Вот. Берет Василий Николаич совок — и мне в валенки. Насыпал этих самых крошек. Ну и говорит: с Новым годом тебя, защитник Ленинграда. Ступай домой, на проходной не задерживайся. И пошел я. Иду по городу, снег, завалы, дома разбитые. А в валенках крошки хрустят. Тепло так. Хорошо. Я тогда эти крошки на неделю растянул. Ел их понемногу. Потому и выжил, что он мне крошек этих в валенки сыпанул. Вот, Олег, и вся история. А вот и дом твой, — старик показал палкой на башню.

Олег молчал. Старик поправил ушанку, кашлянул:

— И вот такая штука, Олег. Вспомнилось мне все это сейчас. Когда ты батон белого хлеба в урну выбросил. Вспомнил эти крошки, бабушку окоченевшую. Соседей мертвых, опухших от голода. Вспомнил и подумал: черт возьми, жизнь все-таки сумасшедшая штука. Я тогда на хлебные крошки молился, за крысами охотился, а теперь вон белые батоны в урну швыряют. Смешно и грустно. Ради чего все эти муки? Ради чего столько смертей?

Он замолчал.

Олег помедлил немного, потом произнес:

— Ну... знаете. Я это. В общем... ну больше такого не повторится.

— Правда? — грустно улыбнулся старик.

— Ага.

— Обещаешь?

— Обещаю.

— Ну и слава Богу. А то я, признаться, волновался, когда с тобой заговорил. Думаю, послушает, послушает парень старого пердуна, да и сбежит, как я тогда из пионерского лагеря!

— Да нет, что вы. Я все понял. Просто... ну, по глупости это. Больше никогда хлеб не брошу.

— Ну и отлично. Хорошо. Не знаю, как другие, а я в ваше поколение верю. Верю. Вы Россию спасете. Уверен. Я тебя не задержал?

— Да нет, что вы.

— Тогда, может теперь ты меня до дома проводишь? Вон до того.

— Конечно провожу. Давайте вашу авоську.

— Ну, спасибо, — старик с улыбкой передал ему авоську с хлебом,

положил ему освободившуюся руку на плечо и пошел рядом.

— А где вас ранило? — спросил Олег.

— Нога? Это отдельная история. Тоже не слабая, хоть роман пиши... Но хватит о тяжелом. Ты в каком классе учишься?

— В шестом. Вон в той школе.

— Ага. Как учеба?

— Нормально.

— Друзья есть верные?

— Есть.

— А подруги?

Олег пожал плечами и усмехнулся.

— Ничего, пора уже мужчиной себя чувствовать. В этом возрасте надо учиться за девочками ухаживать. А через год, полтора можно уже и поебаться. Или ты думаешь — рано?

— Да нет, — засмеялся Олег. — Не думаю.

— Правильно. Я тоже тогда не думал. После блокады знаешь сколько девок, да баб осталось без мужей. Бывало идешь по Невскому, а они так и смотрят. Завлекательно. А однажды в кино пошел. Первое кино после блокады. «Александра Невского» показывали. А рядом женщина сидела. И вдруг в середине фильма чувствую — она мне руку на колено. Я ничего. Она ширинку расстегнула и за член меня. А сама так и дрожит. Я сижу. А она наклонилась и стала мне член сосать. Знаешь, как приятно. Я прямо сразу и кончил ей в рот. А на экране — ледовое побоище! А она мне шепчет — пошли ко мне. Ну и пошли к ней. На литейный. Еблись с ней целые сутки. Что она только со мной не делала! Но сосать умела, просто как никто. Так нежно-нежно, раз, раз и кончаю уже. Тебе никто не сосал?

— Да нет, — мотнул головой Олег.

— Ничего, все впереди. Вот мы и пришли! — старик остановился возле блочной пятиэтажки. — Вот моя деревня, вот мой дом родной. Спасибо тебе за прогулку.

— Да не за что, — Олег передал старику авоську.

— Ага! А это что за дела? — старик показал палкой на зеленый строительный вагончик, стоящий рядом с домом под деревьями. Дверь вагончика была приоткрыта.

— Я, как старый флибустьер, пройти мимо не могу. За мной, юнга! — махнул он авоськой и захромал к вагончику.

Олег двинулся следом.

— Дверь открыта, замка нет, свет не горит. Никак, побывали краснокожи!

Они подошли к вагончику. Старик поднялся по ступенькам, вошел. Нашупал выключатель, пощелкал:

— Ага. Света нет. За мной, Олег.

Олег вошел следом. Внутри вагончика было тесно. Пахло краской и калом. Уличный фонарь через окошко освещал стол, стулья, ящики,

банки с краской и тряпье.

— Ну вот, — пробормотал старик, и вдруг отбросив палку и авоську, опустился перед Олегом на колени, неловко оттопырив протез. Его руки схватили руки Олега:

— Олег! Милый, послушай меня... я старый несчастный человек, инвалид войны и труда... милый... у меня радостей-то хлеб, да маргарин... Олег, миленький мой мальчик, прошу тебя, позволь мне пососать у тебя, милый, позволь, Христа ради!

Олег попятился к двери, но старик цепко держал его руки:

— Миленький, миленький, тебе так хорошо будет, так нежно... ты сразу поймешь... и научишься, и с девочками тогда сразу легче будет, позволь, милый, немного, я тебе сразу... и вот я тебе десятку дам, вот, десятку!

Старик сунул руку в карман и вытащил ком бумажных денег:

— Вот, вот, десять... двадцать, четвертной, милый! Христа ради!

— Ну что... — Олег вырвал руку и выскочил за дверь, сбив со стола банку с окурками.

Потеряв равновесие, старик упал на пол и некоторое время лежал, всхлипывая и бормоча.

Вдруг в двери показалась фигура мальчика.

— Олег! Умоляю! — дернулся старик.

— Не Олег, — тихо ответил мальчик, входя.

— Сережка? Следишь, стервец... Господи...

— Генрих Иваныч, а я Реброву все расскажу, — произнес мальчик, притворяя дверь.

— Стервец, ну, стервец... — заворочался старик, приподнимаясь, — стервцы, сволочи... Господи, какие гады...

Мальчик подошел к окну и стоял, поглядывая на старика. Старик нашел палку, собрал деньги и, стоя на колени, засовывал бумажки в карман пальто:

— И все против меня. Все и все. Я же не клоун, Господи...

— Вы же договор подписали, — проговорил мальчик, — а сами опять...

— Сережа... Сережа! — старик подполз к нему, обхватил его ноги, прижался лицом к куртке. — Бессердечные... люди...

Вдруг он отстранился и почти выкрикнул:

— Вот что, стервец, ты меня не учи!

— Я-то учить не буду. Ребров будет учить.

— Я плевать, плевать хотел! — затрясся старик. — Я срал и ссал на вас! Срал и ссал! Гады! Я сам ответственный! Сам!

— Мы все — сами... — мальчик посмотрел в окно.

— И вот что, Сережа, — строго произнес старик. — Ты со мной не пререкайся!

— А я и не пререкаюсь, — мальчик подышал на стекло и вытер запотевшее место пальцем.

— Ну-ка, — старик стал расстегивать ему штаны.

Мальчик недовольно вздохнул и стал помогать ему. Обхватив мальчика за обнажившиеся ягодичы, старик поймал ртом его маленький член и замер, постанывая. Сережа подышал на стекло и вывел на запотевшем месте свастику. Старик стонал. Жилистые пальцы его мяли Сережины ягодичы. Мальчик взял его за голову и стал двигаться, помогая. Старик застонал громче. Оттопыренный протез его дрожал, ударяя по ножке стола. Мальчик закрыл глаза. Губы его открылись.

— Тесно, — проговорил он.

Старик замычал.

— Тесно, тесно... — зашептал Сережа. — Тесно... ну... тесно...

Старик мычал. Мальчик дважды вздрогнул и перестал двигаться.

Старик отпустил его, откинулся назад и задышал жадно, всхлипывая.

— Ах... ах... сладенький... ах... — бормотал старик.

Мальчик наклонился, потянул вверх штаны.

— Ох... Божья роса... маленький... — старик поцеловал его член, вытер губы и тяжело встал с пола.

Сережа застегнулся, поправил куртку, достал из кармана часы на цепочке:

— Без трех семь.

— Еби твою мать... щас, щас... фу... — старик привалился к ящикам, взявшись рукой за грудь. — Дай подышать... ох...

— А газ? Не забыли? — спросил Сережа.

— Все... все в порядке... ой. Как встал вот резко, так сразу в голову... фу... пошли... — старик оттолкнулся от ящиков, вышел за дверь и стал осторожно спускаться по ступенькам.

— Генрих Иваныч, а хлеб? — выходя, Сережа заметил авоську с батоном.

— А, хуй с ним, — пробормотал старик.

Старик позвонил в дверь: три коротких, один долгий. Дверь сразу открыли, они с Сережей быстро вошли.

— Генрих Иваныч, как это понимать? — спросил Ребров, запирая дверь на цепочку. — Сережа?

— Как понимать, как понимать, — забормотал старик, расстегивая пальто. — Так понимать, что мне не тридцать пять, а шестьдесят шесть...

— Виктор Валентиныч, час пик еще не кончился, — Сережа снял шапку и кинул ее на вешалку.

— Двадцать минут! Куда это годится? — Ребров помог старику снять пальто.

— Ну, ничего, ничего, — бормотал старик, снимая калошу концом палки.

Пройдя по коридору, они вошли в большую пустую комнату. Пестрецова сидела на подоконнике и курила.

— Штаубе, милый! Сереженька! — она прыгнула, подошла и поцеловала обоих.

— С приездом, Ольга Владимировна, с приездом, — засмеялся старик.

— Олька! — улыбался мальчик.

— Нарушители! — засмеялась она.

— Друзья, это печально, а не смешно, — Ребров склонился над раскрытым чемоданом. — Если все пойдет с издержками, я вообще плону. У меня в Киеве любимый человек.

— Витя, не сгущай, — Пестрецова бросила папиросу на пол и придавила сапожком. — Еще вагон времени.

— Да и куда... куда, собственно, спешить-то? Что, поезд уходит? — Штаубе заглянул в чемодан. — Ой-ей-ей... Виктор Валентинович, вы время даром не теряли.

Чемодан был полон различных инструментов, металлических деталей, брусков и пластин.

— Не терял, — Ребров нашел широкую стамеску с плексиглазовой ручкой, молоток и выложил их на пол. — Баллончики у вас?

— У меня, — Штаубе полез в карман.

— Держите при себе, — Ребров закрыл чемодан, выпрямился. — Так. Прошу внимания.

Он подошел к окну, поплотнее задернул грязные шторы, повернулся и заговорил, потирая руки:

— Итак. То, что будет сегодня, к вашему сведению, не Дело №1, а Преддело №1. Соответственно, наклонный ряд, капиталистическое и ярсвет будут сокращены. Начнем.

Все стали раздеваться, складывая одежду на пол.

Пестрецова помогла старику снять протез с культи. Голый Ребров подошел к большому кубу, стоящему в углу комнаты. Куб был сбит из толстой фанеры, к одной из его сторон были приделаны четыре кожаные петли. Ребров присел, продел руки в петли и встал, держа куб на спине.

Ольга и Сережа подвели к кубу Штаубе.

— Крышку, — командовал Ребров.

Ольга сняла с куба верхнюю грань и положила на пол. Затем они с Сережей помогли голому Штаубе забраться в куб.

— Есть... — пробормотал Штаубе из куба.

Ольга поместила грань на прежнее место, закрывая Штаубе. Сережа подал ей молоток и четыре гвоздя. Она вставила гвозди в четыре отверстия по углам верхней грани и прибила грань к кубу.

— Как? — глухо донеслось из куба.

— Держу, держу, — ответил Ребров, расставляя ноги пошире.

Ольга легла между его ногами лицом вниз. Сережа лег своей спиной на спину Ольги.

— Все! — громко произнес Ребров.

Штаубе откашлялся и заговорил:

— 54,18,76,92,31,72,72,82,35,41,87,55,81,44,49,38,55,55,31,84, 46,54,21,13,78,19,63,20,76,42,71,39,86,24,91,23,17,11,73,82,18, 68,93,44,72,13,22,58,72,91,83,24,66,71,62,82,12,74,48,55,81, 24,83,77,62,72,29,33,71,99,26,83,32,94,57,44,64,21,78,42,98, 53,55,72,21,15,76,18,18,44,69,72,98,20.

Затем заговорила Ольга:

— Сте, ипу, аро, сте, чае, пои, сте, гое, ува, сте, ого, ано, сте, зае, хеу, сте, ача, лое, сте, эжэ, ити, сте, аву, убо, сте, ене, оло, сте, одо, аве, сте, иже, аса, сте, уко, лао, сте, шуя, саи, се, нае, яко, сте, диа, сае, сте, ира, сио, сте, ява, юко, сте, зао, мио, сте, хуо, дыа, сте.

После Ольги заговорил Сережа:

— Синий, синий, желтый, оранжевый, синий, красный, зеленый, зеленый, желтый, фиолетовый, голубой, красный, зеленый, фиолетовый, желтый, голубой, синий, зеленый, оранжевый, оранжевый, красный, фиолетовый, желтый, желтый, синий, голубой, красный, зеленый, синий, фиолетовый, голубой, оранжевый, оранжевый.

Потом запел Ребров:

— Соль, до, фа, фа, соль, ми, ре, ля, фа, фа, си, соль, до, до, си, соль, фа, ре, ля, ля, ми, си, до, ре, ре, фа, соль, си, ля, до, ля, фа, соль, ми, фа, ля, ля, до, ре, ми, си, фа, ля, соль, ре, ми, ля, до, ми, ля, ля, соль, до, фа, ля, си, ре, до, си, си, ре, фа, ми, си, до, соль, соль, до, фа, ля, си, ми, ми, ля, ре, до, ми, си, си, до, фа, ля, соль, ми, си, ре.

Сережа встал. Встала и Ольга. Они помогли Реброву опустить куб на пол. Ребров вынул руки из петель, взял стамеску и вскрыл прибитую грань.

— Оп! — Штаубе вылез из куба, запрыгал на одной ноге к протезу.

Ольга помогла ему надеть протез и подняла с пола его длинные зеленые трусы.

— А вот это я сам, Ольга Владимировна. Спасибо, — он забрал у нее трусы, прислонился к стене и проворно надел их.

— Все прекрасно, — Ребров вынул из фанеры гвозди, пристроил грань на место. — Все, все хорошо, только, Сережа, произноси отчетливей, не глотай окончания.

— Ага, — Сережа, сидя на полу, натягивал носки.

— И резкость, резкость, — заметил Штаубе. — Резко и ясно. Раз! Раз! Раз!

Когда все оделись, Ребров посмотрел на часы:

— Так. Двинулись.

Они вышли в коридор, стали надевать верхнюю одежду.

— Генрих Иваныч, баллончики, — сказал Ребров.

Штаубе достал из кармана три баллончика.

— Один у вас, два — нам с Ольгой Владимировной, — Ребров взял баллончик, Ольга взяла другой.

— А тряпки? — спросил Сережа, надевая шапку.

— Да! Тряпки! — спохватился Ребров. — В ванной.

Он зашел в ванную и вернулся с четырьмя мокрыми шерстяными тряпками:

— Вот. Всем. И будьте внимательны, пожалуйста. В левой руке, значит сейчас — в левый карман. Теперь... поддержка?

Ольга похлопала себя по внутреннему карману куртки:

— Здесь.

Штаубе сунул руку в карман пальто:

— Да, да.

— Отлично, — Ребров надел кожаную фуражку. — Ключ?

Сережа передал ему брелок с ключом.

— Все? — Ребров посмотрел в глаза Ольги.

Она кивнула.

— Ну, двинулись, — он открыл дверь.

— С Богом, — шепнул Штаубе, вышел и стал спускаться по лестнице. Остальные спустились следом.

Во дворе Ребров с Ольгой направились к серым «жигулям», старик с мальчиком прошли через арку на улицу. Ребров завел машину, развернулся, поехал. Штаубе и Сережа подсади у разбитого газетного киоска.

— Сережа, ты сколько времени в розыске? — спросил Ребров, выруливая на Садовое кольцо.

— Три месяца и шесть дней, — ответил мальчик.

— Три месяца! — покачал головой Штаубе. — Как все быстро...

— Значит, тебя возле твоего дома каждая собака узнает, — проговорил Ребров.

— Узнает, — кивнул Сережа, — старухи на лавочке точно узнают.

— Там лавка у подъезда?

— Ничего, я его проведу, — Ольга чиркнула спичкой, закуривая.

— А может — ночью? — предложил Штаубе.

— Безумие. Весь дом спит, все слышно...

— Да проведу я его, никто не узнает!

— Ну, ну.

Проехали Zubовскую площадь и перед Крымским мостом свернули на Фрунзенскую набережную.

— Тогда вот как, — заговорил Ребров. — Сначала я пройду, потом Генрих Иванович. А потом уже вы с Сережей.

— Как скажете, — вздохнул Штаубе.

— Сережа, теперь говори мне...

— Шас, вот «Гастроном», а следующий наш. Мой.

— Ага. Тогда мы здесь встанем.

Ребров свернул и припарковал машину на обочине, за бежевой «волгой».

— Еще раз, — он повернулся. — Помните про тряпки. И поддержка,

в случае. Ольга Владимировна, здесь я на вас надеюсь.

— Не беспокойся, — улыбнулась Ольга.

Третий подъезд. Там направо, — подсказал Сережа.

Ребров вылез из машины и пошел во двор дома. Возле третьего подъезда на лавочке сидели две старухи. Он поднял вороник пальто и быстро вошел в подъезд. Поднялся по лестнице на третий этаж и встал возле мусоропровода.

Минуты через четыре приехал на лифте Штаубе. Почти сразу же следом появились Ольга с Сережей.

— Так, — Ребров мотнул головой, и они подошли к добротной обитой двери. Он вынул ключ, но потом опять убрал в карман:

— Нет. Звони сам.

— По-второму? — спросил Сережа.

— Да. Оля.

Ольга расстегнула куртку. Сережа позвонил.

— Кто там? — спросил за дверью женский голос.

— Мама, это я, — ответил Сережа.

Дверь открыла и Сережа сразу же бросился на шею стоявшей на пороге невысокой блондинке:

— Мамочка! Мама!

— Сергей! Сергей! Сергей! — закричала женщина, сжимая Сережу.
— Коля! Коля! Сергей!

К ним подбежал худощавый мужчина, схватил голову Сережи, прижался.

— Сергей! Сергей! Сергей! — вскрикивала женщина.

— Мамочка, папа, подождите... я не один...

— Сергей! Сергей! Я не могу! Я не могу! — тряслась женщина.

Мужчина беззвучно плакал.

— Мамочка... я здесь, я живой, подожди, мамочка.

— Лидия Петровна, не волнуйтесь, все позади, — произнес Ребров, улыбаясь.

— Да. Слава Богу, — усмехнулся Штаубе.

— Не могу! Сергей! — дрожала женщина, прижавшись к Сереже.

— Мама... подожди, это... это Виктор Валентинович и Ольга Владимировна из уголовного розыска... мама...

Мужчина первым пришел в себя:

— Проходите, проходите... пожалуйста... — он вытер лицо ладонями, потянул женщину за руку. — Лида, успокойся, все, все хорошо.

— Мама... ну, мамочка, подожди...

— Да, да, проходите... Сережа, ой, Сергей, — обняв Сережу она отошла с ним в сторону.

Ребров, Ольга и Штаубе вошли. Мужчина закрыл за ними дверь.

— А я ведь только вчера звонил вашему... ну, этому, Федченко, — с трудом проговорил мужчина. — А он говорит... это... ищем, ищем.

— Вчера — не сегодня, — улыбался Ребров.

— Ой, у меня сердце разорвется! — женщина взялась руками за виски и покачала головой. — Сергей, Сергей... что же ты с нами сделал.

— Ну, не он один виноват, — проговорил Ребров.

— Все оказались виноваты, — тихо добавила Ольга.

— Ой... ну вы проходите, что же тут, — не отпуская Сережу, женщина вошла в комнату.

— Мы на минуточку, — сказал Ребров, и все прошли в комнату.

— Где же ты был, где же ты мог быть, — качала головой женщина.

— Да. Наделал дел... — мужчина опустился на диван, но, спохватившись, встал. — Товарищи, вы садитесь, чего ж...

— Спасибо, нам рассиживаться некогда. — Ребров сунул руки в карманы пальто, — Сережа, скажи теперь. Про наш сюрприз.

— Да, мама, у нас сюрприз, — Сережа освободился от объятий. — Вот, мама, и ты, пап, сядьте сюда, на диван и послушайте. Только это, не перебивайте.

— Не перебивать будет трудно, — усмехнулась Ольга.

— Попробуем, — со вздохом женщина села на диван. Мужчина сел рядом.

— Теперь тряпки, — спокойно произнес Ребров.

Все четверо вынули мокрые тряпки и приложили их к лицу, прикрывая нос и рот. Выбросив вперед правую руку с баллончиком, Ребров прыснул аэрозолем в лицо мужчине и женщине. Беспомощно вскрикнув, они схватились за лица и сползли с дивана на пол.

— Назад, дальше! — скомандовал Ребров, отбегая от упавших, и все попятились к окну.

По телам мужчины и женщины прошла судорога, и они застыли в неудобных позах.

Не отнимая тряпки от лица, Ребров сунул баллончик в карман:

— Оля. Только без суеты.

Прижимая левой рукой тряпку к лицу, Ольга вынула из внутреннего кармана куртки спортивный пистолет со сложной рукояткой и с цилиндром глушителя на конце ствола, подошла к лежащим.

— В упор не надо, — подсказал Штаубе.

Умело и быстро прицелившись, Ольга выстрелила в головы лежащих.

— И еще, — скомандовал Ребров.

Снова раздались два глухих хлопка, головы лежащих дернулись, пустые гильзы покатались по полу.

— И еще полминуты, — Ребров подождал немного, потом сунул тряпку в карман. — Можно.

Все убрали тряпки. Ольга спрятала пистолет, Сережа подобрал четыре гильзы.

Ребров распахнул левую полу своего пальто, из разных карманчиков вынул большие хирургические ножницы, пробирку с пробкой, флакончик с прозрачной жидкостью.

— Сначала мать, — Ребров передал пробирку и флакончик Штаубе. Ольга с Сережей перевернули труп женщины на спину. Лицо ее залила кровь, глазное яблоко было вырвано из глазницы.

— Генрих Иваныч, — пробормотал Ребров, склоняясь с ножницами над лицом трупа.

Штаубе откупорил и поднес пробирку. Ребров быстро отстриг губы и опустил их в пробирку. Штаубе залил губы прозрачной жидкостью из флакончика и закупорил пробирку.

— Так, — Ребров вытер испачканную в крови руку о кофту трупа. — Теперь отец.

Ольга с Сережей перевернули труп мужчины, расстегнули и спустили с него штаны, спустили трусы.

— Сережа! — Ребров оттянул крайнюю плоть на члене, отстриг головку и быстро вложил в рот наклонившемуся Сереже. Сережа стал сосать головку, осторожно перекачивая ее во рту. Ольга вытерла ему губы платком.

— Шкатулка в спальне? — Ребров взял у Ольги платок и вытер им ножницы.

Сережа кивнул и махнул рукой. Ольга вышла. Ребров убрал к себе в пальто пробирку с губами, флакончик и ножницы. Ольга вернулась с небольшой арабской шкатулкой в руках. Ребров достал из кармана черную нейлоновую сумку, Ольга положила в нее шкатулку.

— Так, — Ребров огляделся. — Все?

— Единственно, вот водички попить, — Штаубе захромал на кухню.

— Ты взять ничего не хочешь? — спросил Ребров Сережу.

Сережа сосредоточенно сосал головку.

— Сережа? — Ольга тронула мальчика за плечо.

Он посмотрел на нее и отрицательно качнул головой. Но потом вдруг вышел из комнаты и быстро вернулся с плюшевым крокодилом. Крокодил был старый, прорванный в нескольких местах.

— А-а-а. Ну, ну, — Ребров кивнул, взглянул на трупы. — Ну, двинулись.

Они вышли из комнаты в прихожую.

— Генрих Иваныч, вы скоро? — Ребров подошел к двери.

— Иду, иду. — Штаубе вышел из кухни.

— Значит, теперь мы с вами, а потом они с Сережей.

— Лады.

Ребров открыл дверь и вышел. Вслед за ним вышел Штаубе.

Ольга закрыла за ними дверь, привалилась к ней спиной. Сережа разглядывал крокодила, посасывая головку.

— Соскучился? — спросила Ольга.

Он кивнул.

— Давно он у тебя?

Сережа показал три пальца.

— Три года? А чего такой ободранный?

— Ба... бушкин, — с трудом проговорил он.

Ольга приложила ухо к двери, послушала. Сережа тоже прижался к двери.

— Все. Пошли, — Ольга открыла дверь.

Они вышли, Ольга осторожно прикрыла дверь, взяла Сережу за руку и повела вниз по лестнице.

— Внизу так же, — пробормотала она.

Когда стали выходить из подъезда, Сережа обхватил Ольгу руками и зарычал.

— Витя, прекрати! — громко произнесла она.

Сережа прижал лицо к ее куртке и зарычал сильнее.

— Витя, Витя! — засмеялась она. — Ты не маленький, прекрати.

Они вышли из подъезда, миновали сидящих на лавочке старух. Шел крупный снег.

Обнявшись, они прошли двор и повернули к машине. Завидя их, Ребров завел мотор и стал разворачиваться.

— Ну, не подавился? — Ольга открыла заднюю дверцу «жигулей».

— Ум-ум, — ответил Сережа, забираясь с крокодилом в машину.

Ольга не торопясь оглянулась и села следом.

— Благополучно? — Ребров переключил скорость.

— Благополучно, — Ольга с облегчением откинула голову на сиденье.

— Свет погасили?

— Нет.

— Напрасно, — Ребров стал вырывать на набережную.

— Ты не сказал, — Ольга достала портсигар, открыла.

— Ольга Владимировна, — заворчал Штаубе, — вы же не дитя.

— Я не дитя, — Ольга продула папиросу, прикурила.

— Дайте-ка и мне, — Ребров поднял руку, Ольга вложила в нее папиросу.

Ребров закурил, резко выпустил дым:

— Плоховато. Но... ладно, что теперь.

— Я могу вернуться, — усмехнулась Ольга.

— Да уж! — хмыкнул Штаубе. — Вернуться. Дорого яичко ко Христову дню, Ольга Владимировна.

— Сережа, когда дядя обещал приехать? — спросил Ребров.

Мальчик выплюнул головку в руку:

— На новый год.

Ребров кивнул. Выехали на Садовое кольцо.

Ольга достала пистолет, вынула обойму, вставила в нее недостающие четыре патрона. Сережа разглядывал головку.

— Ты давай соси по-честному, — Ольга оттянула затвор.

Мальчик взял головку в рот и стал вертеть в руках крокодила.

— Был я сегодня на Черемушкинском рынке, — проговорил Ребров.

— Дорого? — спросил Штаубе?

— Мясо от пятнадцати до двадцати пяти. Огурцы соленые — семь. Груши — десять.

— Да, — Штаубе покачал головой. — Какой грабеж.

— А ты шиповника купил? — Ольга убрала пистолет.

— Да.

— Ольга Владимировна, как вы съездили в Петербург? — спросил Штаубе.

— Ужасно.

— Seriously? Что-то стряслось?

— Да, это печальная история, — Ребров поморщился от попавшего в глаза дыма. — История человеческой черствости, равнодушия, убожества.

— Я приехала утром, навестила Бориса, взяла рубцовые. Потом съездила к Илье Анатольичу, передала вар и четвертый. Он живет за городом, пока добралась, пока что. Устала, как черт. Ну и как всегда, к бабуле. Думаю, залезу сейчас в ванну, выпью коньяку...

— О, да, вы любите! — засмеялся Штаубе.

— Приехала, звоню в дверь. Никого. Звонила час. Потом зашла к соседям. Живут лет пятнадцать рядом, знают бабулю только в лицо. Говорят, давно не видели. Звоню ее единственной подруге, Марии Марковне. Она уже месяц не может дозвониться. Говорит, звоню, звоню, никто не подходит. Ей тоже восемьдесят два, но она совсем не выходит. Бабуля-то все сама делала и в магазины ходила. Вот. Пошла к домоуправу. Вызвали участкового, слесаря, взяли понятых. Взломали дверь. Ну и сразу по запаху стало ясно. Входим. И...

— Ольга Владимировна, не надо, прошу вас, — Штаубе закрыл уши ладонями.

— Ну и... я первый раз в жизни видела червивого человека. Червивую бабушку. Там просто была кожа, а внутри черви. Они шевелятся и кажется, что она хочет ползти. Приехали из морга и попросили клеенку, чтобы бабулю поднять. И когда понесли...

— Ольга Владимировна! Ольга Владимировна! Я прошу вас! Я очень прошу вас! — закричал Штаубе, зажимая уши. — Если я прошу, если я очень прошу! Зачем же вы! Ну!

— Извините, Штаубе, милый. Я просто устала, — Ольга откинулась на сиденье. — Я прямо с поминок — сюда.

— Ужасно, ужасно, — тряс головой Штаубе. — И ведь никто не придет, не позвонит. Какие все-таки люди стали. Боже мой!

— Да, — вздохнул Ребров. — И мы еще удивляемся черствости нашей молодежи. Хотя виноваты в этом сами.

— Да нет, я же помню военные, послевоенные годы! — Штаубе снял шапку, пригладил седые волосы. — Как тяжело было как плохо жили! Но я совсем не помню людей равнодушных! Было все: хамство, скупость, дикость, но только не равнодушие! Только не равнодушие!

Сережа выплюнул головку в ладонь:

— А я не равнодушный?

— С тобой все в порядке, — улыбнулся Ребров.

— Ты у нас просто Тимур! — засмеялась Ольга. — Правда, без команды. Что, устал сосать? Дай мне тогда...

Наклонившись, она губами взяла головку с Сережиной ладони, покачала головой.

— Хорошо? — спросил Сережа.

Ольга кивнула.

Свернули на проспект Мира. Снег падал крупными хлопьями. Проехали по Ярославскому шоссе, свернули направо. Дорога пошла сквозь заснеженный лес и километра через три уперлась в ворота трехметрового зеленого забора.

Ребров посигналил.

— Уф-ф... неужели доехали, — закричал Штаубе, надевая шапку.

— Виктор Валентиныч, а почему здесь всегда снега больше, чем в Москве? — спросил Сережа.

— Северное направление. Холоднее.

Рядом с воротами отворилась дверь, вышел милиционер в наброшенном на плечи тулупе.

Ребров опустил стекло.

— Добрый вечер! Вас тут снегом не завалило?

— Приветствую, — милиционер подошел, посмотрел, повернулся и скрылся за дверью.

Ворота медленно открылись. Машина стала въезжать.

— У вас закурить не найдется? — милиционер стоял возле маленького здания вахты.

— Найдется, — Ребров притормозил. — Ниночка, где наши папиросы?

Ольга передала портсигар. Ребров раскрыл, протянул милиционеру.

— Спасибо. Игорь Иванович не приедет?

— Нет. До Нового года вряд ли.

Милиционер чиркнул спичкой. Поехали дальше по прямому заснеженному шоссе. В густом хвойном лесу виднелись редкие очертания дач. Свернули направо и снова уперлись в забор с воротами. Ребров вышел, отпер и отворил ворота:

— Сережа, закрой.

Въехали. Сережа вылез, закрыл и юркнул в машину. Метров через сто среди сосен показался большой двухэтажный дом. Машина подъехала к нему и остановилась. Стали вылезать.

— Ой, — Штаубе, морщась, захромал к дому, — Виктор Валентинович, надо бы дорожку расчистить...

Ребров взял из багажника две сумки:

— Завтра, все завтра.

Сережа слепил снежок, бросил в спину Ольги. Не оборачиваясь, Ольга погрозила ему кулаком.

Вошли в дом. Штаубе зажег свет. Разделись, в просторной прихожей повесили одежду на огромные лосиные рога. Ребров протянул Ольге коричневую сумку:

— Это сразу на кухню. И готовить.

— Да, Ольга Владимировна, готовить, готовить, умоляю, готовить, — Штаубе осторожно снимал калоши. — Я обедал в двенадцать, в страшной забегаловке. Ужасно голоден.

— А я вообще не обедал, — Сережа ловко кинул шапку на рога. — Виктор Валентиныч, а можно Воронцова посмотреть?

— Подожди, все пойдем.

— Ну, можно я!

— Нет, нет. Ты мне сейчас нужен. Идем в кабинет, — с черной сумкой в руке Ребров стал подниматься по широкой, устланной ковром лестнице на второй этаж.

— Ну... — хлопая крокодилом себя по ноге, мальчик нехотя последовал за ним.

Ольга на кухне загрохотала посудой. Штаубе скрылся в уборной.

Ребров вошел в кабинет, зажег настольную лампу, вынул из сумки шкатулку, положил на стол. Достал пробирку с губами, посмотрел на свет:

— Так.

Сережа рассматривал корешки многочисленных книг:

— Виктор Валентиныч, а что такое термодинамика?

— Термодинамика? — Ребров поставил пробирку в кассету, рядом с другими пробирками. — Честно говоря, точно не знаю... подойди, пожалуйста, сюда.

Ребров открыл шкатулку. Сережа подошел. В шкатулке лежали документы, деньги, пачка писем, ювелирные изделия в коробочках, театральные бинокль, отделанный перламутром.

— Анищенко Николай Николаевич, — Ребров раскрыл паспорт. — Повтори про усы еще раз.

— Усы были, когда переехали с Моховой, потом два раза была борода, а усов не было. И последний раз, последний, то есть, год были только усы.

— Так, — Ребров раскрыл тетрадь, сделал в ней пометки, потом взял ножницы и стал вырезать фотографии из паспорта. — И еще раз о шахматах.

— Ну, — Сережа положил крокодила на край стола и загнул ему хвост, — каждое воскресенье, в Парке Культуры, в шахматном павильоне. Там были Сергей Иваныч, потом Костя, потом такой Толик.

— С суставом?

— Ага.

Ребров убрал фотографии в конверт.

— А можно я бинокль возьму? — спросил Сережа.

Ребров покачал головой:

— Это невозможно... На сегодня хватит. Завтра поговорим о толстяке и о ребрах. Иди посмотри мультфильмы.

Мальчик поднял крокодила над головой и вышел.

На ужин Ольга приготовила телятину с тушеной айвой и жареным картофелем. Выпили бутылку шампанского. Ребров ел и пил молча. Штаубе рассказывал о почтовых голубях и о своем плавании по Волге на теплоходе «Максим Горький». После мороженого с орехами и чая Ребров закурил, устало провел рукой по лбу:

— Что ж... спасибо, Ольга Владимировна. Пойдемте к Воронцову?

— Да, да! — встрепенулся Штаубе, выгирая губы салфеткой. — Пойдемте, а то поздно, и вообще... не хорошо.

— Генрих Иванович, — Ольга показала на плавающую в стакане с водой головку.

— Да, да, — Штаубе вынул головку и осторожно вложил себе в рот. Все встали из-за стола.

— Идите, я приду, — Ольга закурила, направляясь на кухню. Ребров, Штаубе и Сережа прошли в темную комнату, расположенную рядом с кухней. Все четыре стены в комнате были заняты полками, тесно заставленными консервами, спиртным и другой провизией. Посередине пола была крышка погреба, запертая на задвижку. Ребров оттянул задвижку, открыл крышку. Из темного люка хлынул запах человеческого кала. Люк был затянут металлической решеткой. Ребров взял с полки электрический фонарь, осветил в люк:

— Андрей Борисович, добрый вечер.

На дне глубокого бетонного мешка заворочался человек. Он был без ног и без правой руки и лежал в собственных испражнениях, густо покрывших пол бункера. На нем был ватник и какое-то тряпье, все перепачканное калом. В углу стояли динамомашинка с ручкой, и присоединенный к ней электрообогреватель.

— А я... — хриплым голосом произнес Воронцов, глядя вверх.

Бородатое лицо его было худым и коричневым от кала.

— Как дела? — Ребров осветил Воронцова. — Машина работает? Не мерзнете?

— Ну... все это... работает и работает исправно, — проговорил Воронцов, помолчал и заговорил быстро и неразборчиво. — Я, я, Георгий Адамович, я постоянно тру и крутить готов, ну, там, когда есть и необходимое, все будет и уже работает, я знаю все, ну, так сказать, возможности и прошлый раз я усвоил и готов к исправлению, готов к, ну, разным, готов быть в форме и знать то, что вам и мне и что нужно знать, что необходимо знать, я готов.

— Замечательно, — кивнул Ребров. — Культя не кровит?

— А я... я это, — затряс головой Воронцов. — Я же вот... вот... как все необходимо.

Он торопливо вынул из ватника и показал обмотанный тряпьем

обрубок руки.

Ребров кивнул и переглянулся со Штаубе. Штаубе показал ему большой палец.

Вошла Ольга с большой миской вареного картофеля, поверх которого лежали кусок хлеба и кусок сала. Ольга поставила миску на решетку, стряхнула пепел папиросы в бункер:

— Привет, Воронцов.

Воронцов задвигался, прополз к противоположной стене, неотрывно глядя вверх:

— А... Татьяна Исаковна... я... просто...

— Он что, опять без маковых? — спросила Ольга.

Ребров кивнул. Сережа взял картофелину и бросил вниз. Воронцов упал на пол, накрыл картофелину рукой, подтянул к себе и зачмокал.

— Так, — Ребров хлопнул в ладоши. — Начнем, Андрей Борисович, прошлый раз вы нас разочаровали. Разочаровали настолько, что я, признаться, собрался на все махнуть рукой. И я бы это сделал, уверяю вас, если бы не был по внутреннему складу человеком добрым и благодушным. Это во-первых. И во-вторых, если бы Борис Иванович, — он посмотрел на Штаубе, — за вас не заступился.

Штаубе кивнул.

— Так что сегодня, Андрей Борисович, вас последний шанс. Отнеситесь к нему серьезно. Поймите, что ваше будущее в ваших руках.

— В вашей голове, — добавила Ольга.

— Да, да, — кивнул Ребров и спросил громче обычного: — Итак, Воронцов, вы готовы?

Воронцов выполз на середину пола бункера, сел:

— Я да. Я да.

— Тогда, пожалуйста, №1.

Воронцов откашлялся и заговорил, старательно проговаривая слова:

— Если я люблю море и все, что похоже на море, и больше всего, когда оно гневно противоречит мне, если есть во мне та радость искателя, что гонит корабль к еще неоткрытому, если есть в моей радости радость мореплавателя, если некогда ликование мое восклицало: берег исчез, теперь пали с меня последние цепи, беспредельность шумит вокруг меня, вдали от меня блестит пространство и время, ну, что ж, вперед, старое сердце. О, как же страстно не стремиться мне к вечности и к брачному кольцу колец, к кольцу возвращения. Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я. Ибо я люблю тебя, о вечность.

Он замолчал, неотрывно глядя вверх.

— №2, — скомандовал Ребров после небольшой паузы.

— Я это, это да... вот. Акт дефекации — сложнорефлекторный акт, в котором принимают участие кора головного мозга, проводящие пути спинного мозга, периферические нервы прямой кишки, мускулатура брюшного пресса и толстого кишечника. Рефлекс на дефекацию воз-

никает в прямой кишке при раздражении ее каловыми массами, и следовательно, она является не только трактом для одномоментного прохождения, но и местом для временного скопления каловых масс. Различают несколько типов дефекации: одномоментный и двух-, или многомоментный. При дефекации первого типа все совершается одномоментно, быстро: после нескольких напряжений брюшного пресса выбрасывается все содержимое, скопившееся в прямой кишке и сигме...

— А что такое сигма? — громко спросила Ольга.

— Сигма... сигма это отдел толстого кишечника, находящийся над прямой кишкой, являющейся продолжением нисходящего отдела толстой кишки. При дефекации второго типа, двухмоментной, в первый момент выбрасывается лишь часть содержимого, скопившегося в прямой кишке. Через несколько минут после выбрасывания первой порции каловых масс очередная перистальтическая волна выталкивает содержимое из сигмы в прямую кишку, вследствие чего появляется повторный позыв на дефекацию.

Ребров вздохнул, посмотрел на Ольгу. Она устало потерла виски и зевнула. Штаубе с сердитым лицом сосал головку. Сережа, шевеля губами, читал надпись на иностранных бутылках.

— №3, — произнес Ребров.

— Примеры искусственно выломанного основания черепа, по-видимому, для того, чтобы добраться до мозга, — быстро и с облегчением заговорил Воронцов. — Рассматриваются как доказательства каннибализма. Слева верху череп из Штейнхейма, справа череп неандертальца из Монте-Чирчео, внизу современный папуасский череп с Новой Гвинеи и доисторическая находка из Моравии. Скопление мезолитических черепов. Захоронение из пещеры Грот дю Кавийон, Гримальди, Италия. Три крупные каменные орудия архаического типа, изготовленные из твердой вулканической породы. Северная Австралия. Уникальный маленький гарпун с тремя рядами ровных...

— Ну хватит, хватит, хватит в конце концов! Сколько можно! — вдруг раздраженно выкрикнул Штаубе, выплюнув головку в руку. Воронцов смолк.

— Виктор Валентинович! — негодовал Штаубе. — Если вы позволяете глумиться над собой, над своей душой, то хотя бы пощадите наши души!

— И наши уши, — тихо добавила Ольга и, тяжело вздохнув: — Ужасно, как все ужасно...

— А что... стень? — повернулся к ним Сережа.

— Нельзя потворствовать негодьям, нельзя! Я старый человек, Виктор Валентинович, я могу понять и простить многие человеческие слабости, я христианин! Я могу простить невежество, хамство, жестокость, даже — подлость! Но только не глумление над человеческой душой! Никогда! А ты... — он наклонился над решеткой. — Ты... негодяй! Если ты... если ты плоешь, пренебрегаешь, если ты... — голос

Штаубе задрожал. — Если ты... ты... ты знай... нет! Господи...

Он повернулся и вышел из кладовой.

Ольга загасила окурок о торец полки, бросила его в бункер и тоже вышла.

— Что, опять — стена? — Сережа подошел к Штаубе.

— Сережа, — Ребров снял с решетки миску с картошкой. — Пожалуйста, отнеси это на кухню.

— Слушаюсь и повинуюсь, — Сережа взял миску и вышел.

Ребров долго молчал, сложив руки на груди и опустив голову. Потом заговорил:

— М-да. Итак, Андрей Борисович, подведем итоги. Выводов за эти четыре дня вы не сделали, это — раз. Я переоценил ваше нравственное начало, это — два. Я недооценил ваш плебейский прагматизм. Три. Приговаривать вас к четвертой ампутации — банально и в данной ситуации лишено всякого смысла. Наше решение вам было известно заранее.

Ребров с грохотом хлопнул бункер крышкой, запер ее на задвижку. Поднял с пола фонарь, поставил на полку и вышел.

Штаубе, Ольга и Сережа ждали его в столовой. Ольга складывала грязную посуду, старик с сердитым лицом сосал головку, Сережа крутил кубик Рубика.

Ребров подошел к столу, рассеянно взял из вазы яблоко, откусил.

— И Генрих Иваныч, и я тебя предупреждали, — сказала Ольга.

Ребров отошел к окну. За окном было темно и падал снег.

— Оль, а он по пальцам не показывал, не делал? — спросил Сережа.

Ольга отрицательно качнула головой.

— Он просто хунвейбин! — Штаубе выплюнул головку в руку. — Я вам, Виктор Валентинович, говорил еще месяц назад, когда вы сделали первую пробу! Нравственность у этого типа вообще отсутствует! Это мыслящее животное! Этот негодяй с невероятным хладнокровием, с прямо-таки адской наглостью пользовался вашей снисходительностью!

— Нашей снисходительностью, — вставила Ольга.

— И потом, что это за тон, что за тропино? Почему, например, тогда, перед праздником он молчал и показывал — три? И почему теперь все псу под хвост? Почему нет фаллей? Почему мы опять в дураках?

Ребров жевал яблоко, глядя в окно.

— А вы знаете, — Сережа рассматривал собранный кубик, — Генрих Иваныч сегодня опять приманивал слюнявчиков.

Ребров повернулся. Ольга замерла с тарелкой в руках. Штаубе стал приподниматься с кресла, зажав в кулаке головку.

— Генрих Иваныч, — произнес Ребров и, бросив яблоко, кинулся к Штаубе.

— Нет! Ебанный! — закричал Штаубе, замахиваясь палкой на Сережу, но Ребров перехватил его руку, завернул за спину. Ольга схватила левую

руку старика:

— Головку! Отдайте головку!

— Ебаний! Ебаний! Стервец! — кричал Штаубе.

Ребров сдавил ему горло, старик захрипел, упал на колено. Ребров отбросил в сторону его палку. Ольга разжала пальцы старика и тут же вложила головку в подставленный Сережей рот.

— Сережа, пластырь и наручники! — скомандовал Ребров.

Сережа выбежал.

— Вы... вы только гадить... не дам... — хрипел Штаубе в руках Реброва.

— Вы же подписали! Вы подписали! Как же так! Ольга Владимировна, кушетку... кушетку...

Ольга отодвинула от стены узкую кожаную кушетку.

Вбежал Сережа с пластырем и наручниками.

— Нет... сте... рвцы... сами же... нет, — хрипел Штаубе.

Ребров и Ольга подтащили его к кушетке и положили на нее лицом вниз.

— Сережа, — скомандовал Ребров.

Сережа залепил старику рот пластырем. Затем, навалившись втроем, они обхватили руками старика кушетку и защелкнули на них наручники. Ребров сел на ногу Штаубе, Сережа крепко схватился за протез.

— Ольга Владимировна, у меня в кабинете, в столе, в нижнем ящике. Слева. И над большой конфоркой, она быстрее нагревает.

— Я знаю, — Ольга быстро вышла.

— Где это было? — спросил Ребров.

— Там... на Новаторов. После Борисова когда. Я за резиной сбежал, а потом вернулся. А Генрих Иваныч в булочной...

Ребров мрачно кивнул. Штаубе со стоном дышал носом.

— Генрих Иваныч, — медленно проговорил Ребров, — сегодня вы меня очень огорчили. Очень. Получать такие ножи в спину... это, знаете, больно. Это гадко.

Он привстал и принялся расстегивать штаны старика. Штаубе замычал. Сережа помогал Реброву. Они спустили черные потертые брюки старика до колен, стянули трусы. Ребров закатал на спину кофту с рубашкой. На левой ягодице Штаубе стояли два клейма размером с рублевую монету, в виде креста в круге. Одно клеймо было совсем старым, другое, судя по темно-лиловому цвету — недавним.

— Наш союз, наша дружба, Генрих Иванович, держится не только на взаимной любви. Но и на вполне конкретных взаимобязательствах. Оскорбляя, унижая себя, вы оскорбляете и унижаете нас. Сережа, пописай в чашку.

Мальчик отпустил протез, подошел к столу и немного помочился в чашку.

Вошла Ольга, держа в руках небольшой саквояж и толстый стальной прут с деревянной рукояткой, к концу которого было приварено сталь-

ное тавро — крест в круге. Тавро было раскалено.

Штаубе забился, застонал. Ребров сильнее прижал его ногу к кушетке:

— Рядом с Бородилинским, здесь... Сережа! Протез...

Сережа поставил чашку с мочой на пол, схватился за протез. Ольга примерилась и прижала тавро к ягодице старика. Зашипела раскаленная сталь, показался легкий дымок, Штаубе забился на кушетке. Ольга отняла тавро, взяла чашку, вылила мочу на багровое клеймо. Затем раскрыла саквояж, вынула пузырек с маслом шиповника, вату и стала осторожно смазывать ожог:

— Вот... Штаубе, милый... и все позади...

Голова старика тряслась, из глаз текли слезы.

— И по сонной, Ольга Владимировна, сразу по сонной, — пробормотал Ребров.

Ольга не торопясь закрыла пузырек, достала и распечатала одноразовый шприц, распечатала и насадила иглу.

— Сережа, голову поддержи...

Мальчик прижал голову Штаубе к кушетке. Ольга щелкнула по ампуле, переломила, вытянула шприцем содержимое. Штаубе мычал и плакал.

— Сейчас, милый... — она умело воткнула иглу в сонную артерию, медленно ввела прозрачную жидкость. Штаубе дернулся всем телом, слабо застонал, закашлял через нос. Сережа отпустил его голову, она осталась лежать на боку. Ребров слез с ноги старика и осторожно снял пластырь с его рта.

— По... по петел... — слабым голосом произнес старик. — Вы... вы не... плохо...

Ребров снял с него наручники. Ольга накрыла ожог пропитанной маслом марлей и залепила пластырем. Штаубе спал. Его раздели догола, сняли протез и перенесли в спальню, где облачили в пижаму и уложили в кровать.

— Пусть завтра спит, сколько может, — Ребров накрыл Штаубе толстым стеганым одеялом.

— Да кто же его будет будить, — Ольга погладила старика по голове. Сережа выплонул головку в руку:

— Ну я пойду кино посмотрю.

— Какое кино, Сережа, — Ребров глянул на часы. — Первый час уже. Спать, немедленно. У нас завтра масса дел.

Мальчик со вздохом передал ему головку:

— Спок но.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Сереженька, — поцеловала его Ольга.

Мальчик вышел.

— Устал... — Ребров потер виски.

— Хочешь коньяку? — спросила Ольга.

Он рассеянно кивнул.

— Пошли в каминную.

— В каминную? — Ребров посмотрел на головку, потом на спящего Штаубе. — Двинулись.

Ольга погасила свет, Ребров сунул головку в рот.

Ребров сидел в кресле и смотрел в зажженный камин. Ольга, сидя на ковре по-турецки, наливала в стаканы вторую порцию коньяка.

— Где бодрый серп гулял и падал колос, теперь уж пусто все... просто везде... — пробормотал Ребров и устало вздохнул. — Да, да, да. Если мы в четверг не выйдем на Ковшова, брошу все к чертям. И — в Киев.

— А мы? — Ольга подала ему стакан.

— Вы? Вы... — он пригубил коньяк. — Не знаю, не знаю. Сами поедете, сами доберетесь.

— Ну что ты говоришь, — улыбнулась Ольга. — Как это мы сами доберемся?

Он раздраженно дернул головой:

— Ольга Владимировна! Я уже три месяца бьюсь лбом в стену. Я потерял: Голубовского, Лидию Моисеевну, Цветковых. Мы потеряли блок. Генрих Иваныч сжег теплицы. Вы оставили третье оборудование. Сережа о Денисе ничего не помнит и, я полагаю, не вспомнит. А значит, получать круб, получать беленцы мы будем вынуждены через Ленинград. Только через Ленинград. Вот перечень наших потерь. А что же мы приобрели? Разрушенную, разваленную до основания мастерскую? Никому не нужные связи? Бессмысленные вычисления Наймана? Беспольные шесть миллионов?

— Но ведь Ковшов обещал...

— Ковшов? Обещал? Вы его хоть раз в глаза видели? Нет. И я не видел. В нашем положении верить телефонному разговору — явная глупость. Но вынужденная. Поэтому я и пошел на договор. Нет, нет ничего, кроме паллиативов. Сплошная полоса зависимости и вынужденных ходов.

— Витя, но мы же завершили с металлом. И Найман сказал, что у ребят получилось.

— У ребят получилось! да! Но из этого вовсе не следует, что получится у нас. Если вы так уверены, почему же тогда голосовали против? Из принципа? Или все-таки из-за неуверенности?

Ольга молча отпила из стакана. Ребров залпом допил свой коньяк и поставил стакан на пол:

— Конечно, оптимизм — это хорошо. Это то, что не позволяет нам опустить руки. Пока работаем, делаем, что можно. Но опираться следует все-таки на теорию вероятности, на жесткий расчет. И все радужные фантазии отбросить. Раз и навсегда.

Он помолчал, глядя в огонь, потом произнес:

— Ольга Владимировна. Давайте поебемся.

Ольга удивленно подняла брови:

— Что... прямо сейчас?

Он кивнул. Ольга искоса взглянула на его напрягшийся член, улыбнулась и стала раздеваться. Ребров встал, снял брюки и трусы. Раздевшись, Ольга подошла к Реброву. Он повернул ее спиной к себе, она облокотилась на спинку кожаного кресла. Ребров вошел в нее сзади и стал нетерпеливо двигаться, громко стоная. Ольга прижалась щекой к спинке и смотрела в огонь. Ребров стал двигаться быстрее, откинулся назад, потом схватил Ольгу за плечи, прижался к ней, замер и зарычал ей в волосы.

— Витя... — прошептала она и улыбнулась.

— Ой... даже слюни потекли... — Ребров вытер рот рукой, отошел и в изнеможении упал на диван. — Ой... Ольга Владимировна... простите меня... пожалуйста...

— За что же? — она потрогала себя между ног, понюхала руку.

— Простите... за все меня простите, — бормотал Ребров.

— Я приду сейчас, — она вышла и вернулась минут через пять, завязывая на ходу пояс белого махрового халата.

Ребров спал на диване. Ольга принесла одеяло, накрыла его, взяла свою одежду, головку в стакане, и пошла к себе в комнату.

Сереза проснулся раньше всех. За окном светило солнце. Часы показывали 9.22. Сереза вылез из-под одеяла, потянулся, встал. На нем были красные трусы и белая майка с эмблемой рок-группы «Роллинг Стоунз». Он вышел в холл, подошел к двери ольгиной комнаты и осторожно приоткрыл. В комнате было сумрачно из-за плотно сдвинутых фиолетовых штор. Ольга спала. Сереза тихо вошел, прикрыл за собою дверь, подошел к кровати и стал медленно стягивать с Ольги одеяло:

— Однажды отец Онуфрий, обходя окрестности, обнаружил обнаженную Ольгу.

Ольга вздохнула:

— Серезенька...

— Ольга, отдайся, озолочу, — Сереза потрогал ее грудь.

Она зевнула, повернулась на спину, открыла глаза:

— Который час?

— Двадцать пять ебут десятого, — Серезина рука скользнула ей в пах.

Ольга шлепнула его по руке, села:

— Открой эти... шторы...

Сереза потянул за шнурок, шторы разошлись, солнце залило комнату.

— Ой, какая прелесть, — Ольга сощурилась потеряла глаза. — На льжах пойдём... Виктор встал?

— И вот я о чем подумал. Мы сами не будем звонить Ковшову. Пусть сидит и ждет звонка. А Найман в это время поедет к кооператорам. С болванкой. И пощупает Ковшова за вымя.

— Как? — Ольга выключила душ.

— Радиотелефон стоит у кооператоров. Ясно? — Ребров посмотрел на нее.

— Гениально! — Ольга покачала головой и хлопнула мокрыми ладонями. — Гениально!

— Так победим.

Ребров плеснул в ладонь одеколona и быстро размазал по щекам.

Завтракали, как всегда, в оранжерее.

— Генрих Иваныч, как вы себя чувствуете? — спросил Ребров, помешивая кофе.

— Прекрасно, — Штаубе с аппетитом ел яичницу с ветчиной, — сон — лучшее лекарство. Авиценна прав.

— Не болит?

— Абсолютно. Ольга Владимировна, голубушка, налейте мне еще сока.

Ольга встала и принялась разливать всем апельсиновый сок из хрустального кувшина. Когда дошла очередь Сережи, он накрыл стакан ладонью и буркнул:

— Не буду.

Ольга протянула ему левую руку с согнутым мизинцем. Сережа, помедлив, нехотя взялся своим мизинцем за Ольгин.

— Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, — сказала Ольга.

— А если будешь драться, то я буду кусаться, — пробурчал Сережа.

Ольга поцеловала его в голову и налила ему сока. Ребров допил кофе, вытер губы салфеткой:

— Друзья. С вашего позволения, я воспользуюсь свободной минутой для небольшого сообщения. Я не сказал вам вчера, но и, по-моему, к лучшему. Брикетy от Голубева не поступили.

Ольга замерла со стаканом в руке. Штаубе перестал жевать:

— Как... как не поступили?

Ребров отрицательно покачал головой.

— А Маша? — Ольга поставила стакан.

Он снова качнул головой.

— Но, Виктор Валентиныч, я не понимаю! — повысил голос Штаубе. — Тогда как нам понимать прикажете ваши воскресные показания? И Маша? Что же получается, нас водят за нос? Я не понимаю ничего, объясните мне толком!

Ребров вздохнул:

— Дорогой Генрих Иваныч. В воскресенье я сказал про педагогов. Вы должны это помнить.

— Да! Я и помню! — взвизгнул Штаубе. — Помню! Как вы поз-

волити, вы дали этой твари, этой... ебаной суке обещать! Обещать и довериться! Как она смеялась, как согласилась! Блядь эта! И вы, вы заступились за Мишаню! Вы! Вы! — он резко и неуклюже встал, опрокинув стакан с соком. — И я, я вам говорю! Я говорю вам, что я презираю Мишаню! Я срал на орловские! Срал! Я срал и ссал на ваши упражнения с ним! Я срал на эти вонючие деньги! Они, видите ли, поставили нам условие! Прошли пару черных! Благодетели! Нет! — он постучал пальцем в стол. — Вы не закончите с третьим! Нет, нет! И не надо мне подробностей! Не надо этих фокусов с челюстью! Я не клоун вам, Виктор Валентиныч! Я не Найман! Не этот... не эта тварь! Блядская! У-у-у, мрази! — лицо Штаубе побелело, в глазах блеснули слезы. — Я, я старик! Старик! И я, по-вашему, должен вот для этой ебаной, блядской гадины доставать! Да?! Я, инвалид, больной человек?! Я должен ублажать Злотникова?! Идти в исполком?! Забирать?! С этими сволочами ездить?! Да?! Да?! И комки?! Да? И плиты? Я?! И вы равнодушно с этим смиряетесь? Вы?! Вы?!

Ребров поднял опущенную голову и тихо произнес:

— Промежуточный блок у меня.

Штаубе замер:

— Как это?

— Еще пятнадцатого. Лежит у Тамары Алексеевны.

Штаубе перевел недоумевающие глаза на Ольгу. Она кивнула.

— Ну... — Штаубе пожал плечами, — тогда...

Он помолчал, сосредоточенно глядя в стол и пробормотал:

— Тогда... простите старика.

— Да бросьте, — Ребров посмотрел на часы, — итак, в двенадцать раскладка. Прошу всех быть в полной готовности. И более профессионально, чем в прошлый раз. Завтра — дело №1. Помните, пожалуйста, про это. И о наклонном.

— Не забудем, — Штаубе накрыл салфеткой лужицу сока, понюхал воздух и наклонился к сидящему рядом Сереже. — Фу! Да ты никак набздел!

Сережа удивленно потянул носом:

— Я... нет...

— Запустил шипуна и помалкивает! А, Виктор Валентиныч?

Ребров встал:

— Жду вас в двенадцать.

Раскладку проводили в маленькой комнате рядом с кабинетом Реброва. Когда все сели на стулья по углам расстеленной на полу развертки, Ребров бросил эбонитовый шар на середину. Шар остановился на «радости». Ольга закрыла лицо руками.

— Ничего, ничего, — успокаивающе улыбнулся Ребров.

Она положила обе свои пластины на 6. Штаубе тронул жезлом красное. Сережа пометил «стену-затвор». Ребров оттянул по второму,

сдвинул сегмент к «коню», тронул шар. Шар показал «рассеянье».

Ольга переставила левую пластину на 27. Штаубе прошел кольцом желтое и «борк». Сережа провел мелом по «стене-маяку». Ребров оттянул по шести и девятке-кресту, сдвинул сегмент к «куннице», тронул шар. Шар показал «доверие». Ольга переставила правую пластину на 18. Штаубе тронул железом синее и завершил петлю. Сережа стер «стену-затвор», пометил «стену-препятствие». Ребров оттянул по двенадцати, сдвинул сегмент на поле, тронул шар. Шар показал «согласие». Штаубе в раздражении бросил желз. Ольга плакала. Ребров раскрыл книгу списков, нашел нужную страницу:

— 9,46,21,82,93,42,71,76,84,36,71,12,44,47,90,65,55,36,426.

Штаубе развел руками:

— Только вага, стри и воп.

Ребров кивнул, закрыл книгу. Ольга плакала навзрыд.

— Ну я пойду? — встал со стула Сережа.

Ребров кивнул. Сережа вышел. Штаубе встал и захромал следом. Ребров посмотрел на плачущую Ольгу:

— Ольга Владимировна, вам придется...

— Я знаю, знаю! — рыдала Ольга.

Ребров помолчал, забрал шар, сегмент, желз и вышел.

До обеда Ребров и Штаубе работали над первым блоком, а Ольга с Сережей отправились на лыжах в лес. Проехав километра три ельником, они остановились посередине большой поляны.

— Давай здесь, — огляделась Ольга и воткнула палки в снег.

Сережа снял небольшой рюкзак и стал развязывать. Ольга расстегнула куртку, достала свой спортивный пистолет с глушителем:

— Повесишь вон туда, через каждые десять шагов.

— Лыжных шагов? — засмеялся Сережа, доставая из рюкзака три килограммовых куска мяса на крюках. — Тогда не шагов, а бегов!

— Хорошо, бегов, — Ольга сбросила куртку на снег и осталась в лыжном костюме олимпийской сборной СССР.

Сережа поехал и долго развешивал мясо на нижних сучках елей.

— Готово!

Он вернулся, встал чуть позади Ольги, достал секундомер. Красное мясо блестело на солнце на фоне зелени. Ольга оттянула затвор и стала быстро стрелять по кускам. Куски закачались на крюках, от них полетели ключья. Обойма кончилась, Ольга вставила новую и продолжала стрельбу. Она стреляла, меняя обоймы до тех пор, пока на крюках ничего не осталось.

— Сколько? — она обернулась к Сереже.

— Пятьдесят... три.

Она недовольно тряхнула головой:

— Вшивенько. Придется сегодня покачаться.

— Оль, а дай мне? Три раза?

— Милый, он же по моей руке сделан. Ты на курок нормально нажать не сможешь. Я тебе из «макара» дам.

— Ну, Оль! Ну, разик!

— Ну, давай. Только возьми обеими руками. Вон в ту ель. Сережа поднят-нистолет, долго целился, выстрелил.

— Молодец, попал. Давай еще.

Он выстрелил и снова попал. Выстрелил еще и промазал.

— Ничего, научишься из «макара», — Ольга забрала у него пистолет.

— Этот тяжелый.

— Тяжелый. Зато бьет, как зверь. На речку поедем?

— Ага.

Ольга надела куртку, Сережа — рюкзак. Медленно пошли рядом.

— Там лыжня, — сказала Ольга. — Наверно, завалило всю.

— Оль, а у Реброва большой хуй? — спросил Сережа.

— Обыкновенный.

— Меньше, чем у Фариды?

— Конечно. Смотри!

Белка прыгнула с сосны на ель. Куски снега полетели вниз.

Ужинали в восемь. После индейки с маринованными фруктами Ольга подала шоколадный мусс. Позвонил телефон. Ребров взял лежащую на стуле трубку с короткой антенной:

— Да. Да. Пропустите.

Он положил трубку, зачерпнул ложкой мусс из стеклянной розетки:

— Генрих Иваныч, это специально для вас.

— Что? — поднял голову Штаубе.

— Карташов Виктор Афанасьевич. Двигается к нам от проходной на своей «волге».

— Как? Как. Погодите... — Штаубе закашлял, бросил ложку.

— Вероятно, с подарком.

— Господи... погодите... — кашляя, Штаубе встал. — Как же? Это что же?

— Успокойтесь, Генрих Иваныч. Мы вас не выдадим.

— Да. Ну, а... — побледневший Штаубе пожал плечами.

— Идите наверх, — спокойно проговорил Ребров.

Штаубе взял палку и вышел из столовой.

— Встретим в прихожей, — Ребров размял папиросу, закурил. — Сережа, принеси из моего кабинета коричневый портфель.

Мальчик вышел.

— Ну вот, — Ребров с улыбкой посмотрел на Ольгу. — Не только потери.

— Поддержка? — спросила Ольга.

— Не понадобится.

В дверь позвонили. Ребров с Ольгой прошли в прихожую. Ребров открыл дверь. На пороге стоял человек среднего роста в серой дутый

куртке и голубой спортивной шапочке. В руке он держал чемодан.

— Здравьсте, — человек вошел и опустил чемодан на пол.

— Здравствуйте, Виктор Афанасьич, — сухо произнес Ребров, закрывая дверь за Карташовым.

— А я это, на Одоевского позвонил, а там нет никого, — Карташов посмотрел на спускающегося по лестнице Сережу.

Ребров выпустил дым, передал папиросу Ольге и взял у Сережи портфель. Карташов шмыгнул носом и сунул руки в карманы куртки.

Ребров открыл портфель, вынул металлический предмет, протянул Карташову.

— Ага, — тот взял предмет и тут же спрятал в карман.

— Мы вам позвоним, — Ребров открыл дверь.

— Ага. До свидания, — Карташов вышел, Ребров запер дверь, взял чемодан, стал подниматься по лестнице. Ольга и Сережа последовали за ним. На втором этаже в холле стоял Штаубе.

— Прошу, Генрих Иваныч, — Ребров поставил чемодан перед Штаубе. Опустившись на колени, Штаубе открыл чемодан. Он оказался полон мятой женской одежды и нижнего белья.

— Так, так, так, — Штаубе стал выбрасывать вещи на полу, бегло просматривая их. Под одеждой оказался потрепанный скрипичный футляр. Штаубе открыл его. В футляре лежало что-то продолговатое, завернутое в целлофановый пакет. Штаубе развернул пакет и вынул из него женскую руку, грубо отрубленную по локоть. На безымянном пальце руки было золотое обручальное кольцо, с мизинца была снята кожа. Штаубе замер, глядя на руку, потом бросил ее в чемодан, схватил руку близстоящего Реброва и поцеловал.

— Как вам не стыдно, — отстранился Ребров и пошел к лестнице.

— Виктор Валентиныч, голубчик, — Штаубе приподнялся с колена.

— Чай, чай пить, — Ребров стал спускаться вниз.

— Ой... Господи, — Штаубе вытер пот со лба. — Вам коньяку, или валерьянки? — улыбалась Ольга.

— Мне? Коньячку, коньячку!

Закрывшись в бильярдной, Ребров и Штаубе играли в «пирамиду». Оба шестисвечных шандала были зажжены, на тумбочке стояла ополовиненная бутылка армянского коньяка.

— Троечку от борта налево, — Штаубе прицелился и забил шар, — оп! Эдак я вас голым оставлю... девять в серединку.

— Если б вы, Генрих Иваныч, так на раскладке работали, — Ребров допил свой коньяк. — Тогда б мы уже были в Красноярске.

— Раскладка — раскладкой, а вот... — Штаубе забил шар. — То, что мы укатили эту падаль и вставились к партийцам, это, батенька, дело архиважное, как сказал бы лысый.

— Райкомовцы, между прочим, целиком ваша забота, — Ребров вынул шары из луз, положил на полку, — если Герасимов не пойдет

на замену, тогда нашему промежуточному — грош цена.

— Пойдет, куда он денется, — натирая кий мелом, Штаубе смотрел на стол, — Герасимов висит на Коваленко, а Коваленко на Большакове. А Большакову мы в любое время суток можем сказать: агу, Сергей Сергееч. Пять, четырнадцать направо.

— Проблематично, — пробормотал Ребров.

Штаубе промазал:

— Всегда вы под руку...

— С Герасимовым есть одна тонкость... пять направо, — Ребров забил шар, пошел вокруг стола. — Представьте себе такой вариант: вы давите через Большакова на Коваленко, он пробивает замену, Герасимов подписывает, мы получаем диски. Таня едет в Питер, я с Найманом навещаюсь к сопликам, которые честно соглашаются, честно проводят восстановительные работы, и так же честно... семь в середину... показывают ведомости Рыбниковой, которая сразу же докладывает Герасимову, замыкая, тем самым, порочный круг. А Герасимов...

— А Герасимов кладет докладную Рыбниковой под свою толстую жопу и молчит, как камбала, потому что у Большакова не только письмо, но и алмагра.

— Вы уверены?

— Видел собственными глазами.

— Тогда это меняет дело, — задумался Ребров.

— Меняет дело, меняет де-е-е-ло-о-о, — пропел Штаубе, суетясь у стола, — «дедушку» от борта в середину. Оп! Вы на бобах, Виктор Валентинович. Будем доигрывать?

— Да нет, — Ребров положил кий, — с Таней вы когда свяжитесь?

— Хоть завтра, — старик налил себе коньяку, — как закончим, так и позвоню. Или вы хотите сейчас?

— Сейчас, — проговорил Ребров, глядя на свечи.

В 9.25 утра машина Реброва подъехала к зданию райвоенкомата Октябрьского района и встала на обочине.

— После знедо позовем, — сказал Ребров и открыл дверцу. На нем была зимняя форма подполковника ВВС, Ольга была одета в форму старшего лейтенанта милиции. Штаубе и Сережа сидели в своей обычной одежде.

Ребров и Ольга вышли из машины, поднялись по ступенькам, вошли внутрь. Сидящий за стеклянным барьером дежурный лейтенант встал, отдал Реброву честь, Ребров на ходу ответил. Они поднялись на второй этаж. В коридоре было пусто. Ребров подошел к кабинету начальника военкомата и открыл дверь.

— Здравствуйте, — сказал он секретарше, печатающей на машинке.

— Здравсьте, — она приветливо улыбнулась, — а они вас в Ленинской комнате ждут.

— Ясно, — Ребров закрыл дверь, двинулся дальше по коридору.

Ольга следовала за ним. Они вошли в Ленинскую комнату. За столом, покрытым красным сукном, сидел начальник военкомата полковник Ткаченко, поодаль на стульях сидели: подполковник Лещинский, майор Зубарев, майор Духнин, капитан Королев, капитан Ломейко, капитан Беляков, капитан Терзибашьянц, старший лейтенант Волков.

— Здравствуйте, товарищи, — бодро сказал Ребров.

— Николай Николаич, приветствую! — заулыбался, вставая, Ткаченко. Они пожали друг другу руки. Офицеры встали, Ребров поздоровался с каждым за руку. Ольга стояла возле двери.

— Подойдите сюда, — холодно сказал ей Ребров.

Она подошла и встала, опустив голову.

— Представьтесь, — скомандовал Ребров.

— Следователь Кировского РУВД города Москвы, старший лейтенант милиции Фокина Светлана Викторовна.

— А-а-а... — Ткаченко подошел к ней, заложил руки за спину. — Вот, значит, мы какие. А годков нам сколько?

— Двадцать шесть, — тихо ответила Ольга.

— Неплохо, очень неплохо! — поморщился Ткаченко. — Двадцать шесть и двадцать шесть, сколько это будет? А?

— Пятьдесят... два, — еле слышно произнесла она.

— Пятьдесят два, — повторил он, злобно глядя на нее. — Открой, Евгений Степаныч.

Капитан Королев подошел к двери, противоположной входной, отпер ее и стал спускаться вниз по ступенькам.

— Прошу, — мотнул головой Ткаченко. Ольга последовала за Королевым. Остальные двинулись за ней. Они спустились по лестнице и вышли во двор военкомата. Во дворе стояло несколько машин. Королев подошел к серо-голубому микроавтобусу, открыл дверцы, сел за руль. Ткаченко сел на переднее сиденье, остальные разместились в салоне.

— Поехали, — кивнул Ткаченко.

Королев завел машину, они выехали со двора и поехали по улице Вавилова.

— Николай Николаич, а что Моисеев? — спросил, не оборачиваясь, Ткаченко.

— В командировке, — ответил Ребров.

— Ну, тем хуже для него.

Свернули на Профсоюзную и минут через пятнадцать выехали из Москвы. Профсоюзная перешла в Калужское шоссе, Королев прибавил скорость. На тридцать шестом километре микроавтобус свернул с шоссе направо и поехал через лес по прямой, хорошо расчищенной дороге. Километра через два дорога уперлась в массивные ворота с красными звездами. Королев посигналил, ворота открылись, машина поехала и остановилась в КПП, перед полосатым шлагбаумом. Подошел солдат с автоматом. Ткаченко протянул ему из окошка бумагу и удостоверение. Солдат зашел на КПП и вернулся с лейтенантом. Лейтенант возвратил

Ткаченко удостоверение, козырнул. Шлагбаум поднялся, машина въехала на территорию.

— Давай прямо и у казарм направо, — подсказал Ткаченко Королеву. Свернули у казарм и остановились возле небольшого двухэтажного здания.

— Приехали, — Ткаченко вылез из машины, подождал остальных и первым вошел в здание. Офицеры, Ребров и Ольга последовали за ним. Внутри размещался большой лифт с двумя кабинами, охраняемый тремя солдатами и прапорщиком. Они отдали честь офицерам, прапорщик нажал кнопку снял трубку телефона:

— 6, 23.

Двери одной кабины открылись, офицеры, Ребров и Ольга вошли, двери закрылись, кабина поехала вниз.

Ткаченко посмотрел на Ольгу:

— Железная душа не берет барыша.

Ольга опустила голову.

— Сама себя и обхитрила, — усмехнулся Ткаченко. — Мамочка, отдай!

Офицеры заулыбались. Лифт остановился, двери открылись.

— Прошу! — кивнул Ткаченко и все вышли из лифта в огромное подвальное помещение, освещенное сотнями неоновых ламп, подвешенных к высокому потолку. В подвале было пусто, только далеко впереди виднелась группа военных.

— Вперед! — скомандовал Ткаченко Ольге. Она медленно пошла к военным. Остальные двинулись за ней.

— И побыстрей!

Ольга пошла немного быстрее. Пройдя почти весь подвал, они приблизились к торцевой стене, половина которой была затянута сталью. Возле стены стояли два солдата с автоматами. За столом с телефоном сидел капитан. Возле стола стоял коренастый седовласый генерал-майор ВВС. Не дойдя до него шагов десять, Ольга остановилась. Идущие за ней тоже остановились.

— Ну что, сил нет? А? — спросил генерал. — Ноги не идут? Давай, давай, подходи!

Ольга подошла к нему и остановилась, опустив голову.

— Ну и что? Что дальше-то? А? — спросил он, разглядывая Ольгу.

Ольга молчала.

— Молчим? А? Пришла, значит. Ну, ну! — он повернулся к капитану. — Товарищ капитан, они соизволили прибыть! Понятно? Покажите им, пусть полюбуются.

Капитан снял трубку телефона:

— 8, 43.

Стальная часть стены стала подниматься вверх, открывая полутемное помещение. Когда стена исчезла в потолке, из помещения в подвал въехал огромный тягач, предназначенный для транспортировки ракет

средней дальности СС-20. На платформе тягача лежал громадный брус серебристо-зеленого металла. Тягач остановился.

— Ну! Смотри! — мотнул головой генерал.

Ольга подняла голову, посмотрела на брус.

— Сволочь! Сволочь ебаная! — выкрикнул генерал и заговорил, приблизив вплотную свое побелевшее лицо к лицу Ольги. — Ты думала, что ты умнее все? А? Что, объебать? А? На мякине провести? Так? Нам можно, значит, впахнуть, мы съедем? Да? Делайте, делайте, Петр Семеныч! Блядь! Блядюга ебаная! Приползла! Встала, сука рваная! Мы, значит, сжеем! Схаваем, ебут твою! По первому, по первому пропихнем! И просто! Просто, как у людей! По-простому, ебут твою! А за восьмерку я встану! Так?! Так, сволочь?! Так?! А?!

Он размахнулся и ударил Ольгу по щеке. Она отшатнулась назад, схватилась руками за лицо и зарыдала.

— Можно, можно! Разрешили! Да?! Можно гадить людям, можно пакостить! Валяй, сри! Делай гадости, мне можно! И ничего, сожрут! Хули им, дуракам! А?! Я посру, а они сожрут! Сожрут! Но нет, блядь! Нет, ебут твою! Это ты сожрешь! Сама! Сереж!

Капитан снял трубку:

— 8, 12.

Загудела сирена, открылись двери, и в подвал стали вбегать солдаты с автоматами и строиться в две шеренги. Как только они построились, сирену выключили, раздалась команда:

— Рота, равняйся, смир-но! Равнение на-право!

К генералу, печатая шаг, подошел старший лейтенант, приложил руку к козырьку:

— Товарищ генерал-майор, вторая рота построена! Командир роты старший лейтенант Севостьянов!

— Давай, давай! — кивнул генерал капитану.

Капитан снял трубку:

— 8, старуха.

Открылась дверь и двое солдат в ватниках втолкнули в подвал пожилую женщину в старомодном темно-синем платье. Она со стоном упала, солдаты схватили ее за руки, проволокли по полу и бросили рядом с Ольгой.

— Ниночка... — потрясенно простонала старушка.

— Нет, нет, нет! — Ольга упала на колени, поползла к генералу.

— Не надо! Умоляю! Пощадите! Умоляю!

— А, пизда! Забрало?! — генерал оттолкнул ее сапогом. — Ничего, шас порадуешься! Шас насмотришься!

— Нет! Нет! — Ольга поднялась с пола, бросилась к дверям, но солдаты в ватниках догнали ее, сбили с ног, подволокли к генералу.

— Разрешите нам, Иван Тимофенч, — Ткаченко подошел к Ольге.

— Давай, давай!

Капитан Королев схватил Ольгу за левую руку, подполковник Лещин-

ский за правую, Ткаченко взял ее за волосы.

— Нет, нет! — кричала Ольга.

— А ты, пизда, чего сидишь?! — крикнул генерал старушке. — Ну-ка, раздевайся! Покажи нам мандятину свою! Небось засохла? Не ебли уж лет двадцать?! Ну?!

— Нет! Нет! — забилась Ольга в руках офицеров.

— Господи, — простонала старушка.

— Ну-ка, раздевайся, блядь! — закричал генерал. — Не выводите меня, тварь! Раздевайся! Раздевайся, пизда! Я ждать не буду!

Старушка заплакала.

— Давай! Ну! — крикнул генерал солдатам в ватниках.

Солдаты стали сдирать одежду со старушки.

— Не-е-ет! — истошно закричала Ольга.

— Щас тебе будет — нет! Ну-ка, поднесите ей каргу, пусть понюхает мандятину! А!

Солдаты в ватниках подхватили голую старушку на руки, развели ей ноги и поднесли ее промежностью к лицу Ольги. Ольга дернулась, но офицеры подвинули ее вперед. Ткаченко, держа за волосы, прижал ее лицо к гениталиям старушки. Ольга застонала.

— Понюхай, понюхай пизду заслуженного педагога! Понюхай! Она у нас неделю без бани просидела, пахнет вкусно! Дай, дай ей еще понюхать!

Ткаченко стал тыкать Ольгу лицом в гениталии старушки.

— Вот! Вот! — усмехнулся генерал. — Пусть нанюхается! Дыши, дыши глубже! А теперь — жопу! Там тоже застойные явления, как сказал бы Михаил Сергеевич! Дважды в штаны наклала, дважды! Первый раз, когда обвинение зачитали, второй — когда башку Ерофеева гниющую увидала! Вот так!

Солдаты перевернули старушки и приблизили ее худые испачканные калом ягодички к лицу Ольги. Ткаченко стал тыкать Ольгу лицом между ягодиц. Ольга отчаянно попыталась вырваться, но на помощь троем офицерам пришли еще двое — майор Духнин, и капитан Терзибашьянц.

— И поглубже, поглубже! — командовал генерал. — Чем глубже, тем вкусней!

Старушка закричала высоким голосом.

— А теперь ну-ка покажите нам мурло товарища Фокиной! Всем!

Офицеры развернули Ольгу к солдатам. Лицо ее было испачкано калом.

— Гад, гад, гад... — рыдала Ольга. Старушка протяжно кричала, разведенные ноги ее тряслись.

— А теперь мандавошь к ногтю! — командовал генерал.

Солдаты подняли старушку выше и бросили об пол. Она замолчала.

— Два, три! — скомандовал один из солдат и они, подпрыгнув, стали старушке на спину. Хрустнули кости, изо рта старушки потекла кровь.

— Я расскажу... я скажу Басову... я... гад, — хрипела Ольга.

— А теперь, Сереж, специалиста!

Капитан снял трубку:

— 8, Говоров.

Через пару минут двое солдат и прапорщик караульной службы ввели человека в форме офицера, но без погон. Его подвели к генералу, прапорщик приложил руку к козырьку:

— Товарищ генерал-майор, арестованный Говоров по вашему приказанию доставлен.

— А, Николай Иваныч, — генерал с улыбкой сцепил руки на животе.

— Как самочувствие? Не холодно было? А?

Говоров смотрел в сторону.

— Коля, прости меня, — простонала Ольга.

— Простит, простит обязательно! — громко сказал генерал и офицеры засмеялись.

Говоров по-прежнему смотрел в сторону.

— Прапорщик, ставьте его, — кивнул генерал.

Прапорщик и солдаты подвели Говорова к колонне и стали привязывать веревками.

— А что с молоком? — генерал повернулся к капитану.

— В четвертом боксе, товарищ генерал-майор.

— Ну?

Капитан снял трубку:

— 8, молоко из четвертого.

Солдаты и прапорщик отошли от привязанного ими Говорова.

— Командуйте, — кивнул генерал.

— Первая шеренга, на колено стано-вись! — скомандовал старший лейтенант. Солдаты первой шеренги опустили на правое колено. Коля! Коля! — закричала Ольга. — Нет! Гады! Гады!

Ткаченко поднял разорванное платье старушки и рукавом зажал Ольге рот.

— Оружие к бою.

Солдаты щелкнули затворами.

— По голове предателя Родины, короткой очередью. Огонь! — старший лейтенант махнул рукой.

Раздался грохот 110 автоматов. Голова Говорова разлетелась в клочья. Привязанное за руки к колонне тело наклонилось вперед, из разможенной шеи потекла кровь.

— Первая шеренга, встать! Рота, автоматы на плечо!

Из открытого полутемного ангара два солдата вывели широкую тележку, на которой стояли 20 молочных бидонов.

— Так, — генерал взглянул на тележку и перевел взгляд на капитана.

— Ну и?

Солдаты остановили тележку возле тягача. Капитан встал, подошел к тележке, открыл бидон, наклонился и понюхал молоко. Все смотрели на него. Он выпрямился и посмотрел на генерала. Генерал опустил глаза

и тяжело вздохнул. Потом медленно подошел к Ольге, опустился на корточки. Ткаченко освободил ее рот.

— Понимаешь, — заговорил генерал, — если нет доверия, нет уверенности, что на человека можно положиться, тогда все теряет смысл. Все. Но, с другой стороны, обидеть человека недоверием, держать его на дистанции, так сказать, тоже может оттолкнуть. И оттолкнуть навсегда. Вот в чем проблема. Я ненавижу это идиотское правило: доверяй, но проверяй. Его придумали сталинские аппаратчики, карьеристы, шагающие по головам. Им важно было разобщить народ, посеять в нем подозрительность, неуверенность в своей работе, в себе самом. А значит — лишить человека профессионализма, отделить его от любимого дела, втянуть в болото производственных дразг, превратить его в пешку для своих, так сказать, партократических игр. А следовательно, уничтожить в нем личность. То-есть, попросту, лишить человека звания Человек.

Он замолчал, разглядывая свои морщинистые руки.

— Иван Тимофеич, — осторожно заговорил Ткаченко, — мы с Сергеем Анатольичем хотели бы выяснить по поводу Подольска. Они и вчера звонили и сегодня. Басова нет, а Панченко я докладывать не могу.

— Почему? — поднял голову генерал.

— Не могу, — покачал головой Ткаченко.

— А вы, товарищ полковник, через «не могу», — генерал встал. — Сереж, звони Клокову.

Капитан снял трубку:

— 3, 16. Товарищ полковник, капитан Червинский. Здесь вот полковник Ткаченко приехал с Фокиной. Да. Да. По девятке. Иван Тимофеич? — капитан вопросительно посмотрел на генерала, тот отмахнулся. — Он уже ушел. Да. Уже выкатили. Да. Есть, товарищ полковник.

— Ну вот, — генерал посмотрел на часы. — Значит, я пойду к себе, Клокову про трисин — ни гу-гу. Пускай сам пообедает.

Генерал подошел к ближайшей двери и исчез в ней. Ольга дернулась в руках все еще держащих ее офицеров.

— Отпустите ее, — скомандовал Ткаченко и те отпустили. Ольга поднялась с колен, подошла к открытому бидону и стала мыть лицо молоком. На другом конце подвала открылись двери лифта, вышел полковник Клоков.

— Никто ему ничего, ясно? — вполголоса произнес Ткаченко и двинулся навстречу Клокову. Они козырнули друг другу, пожали руки.

— Рота, равняйся! Смирно! — скомандовал Севостьянов. — Равнение на середину!

— Отставить, вольно, — сказал Клоков и подошел к офицерам. — Здравствуйте, товарищи.

Офицеры поприветствовали его.

— Как обстановка? — он посмотрел на подплывший кровью труп старушки, на безглавое тело Говорова.

— Приблизжена к боевой! — ответил Ткаченко и все засмеялись.

— Совсем хорошо, — Клоков увидел Ольгу, выгирающую лицо носовым платком. — Товарищ Фокина! А где же ваш напарник? Капитан Воронцов? Наш замечательный сыщик?

Ольга не ответила.

— Что-то случилось?

Ольга убрала платок, одернула китель:

— Выписка в кармане у майора Зубарева.

Офицеры обернулись к Зубареву. Мгновенье он смотрел на Ольгу, потом дернулся к двери, но Ребров подставил ему подножку. Зубарев упал, на него навалились, прижали к полу.

— Переверните его, — скомандовал Клоков, подходя.

Зубарева перевернули лицом вверх.

— Общайте.

Офицеры обыскали его, достали из внутреннего кармана кителя сложенный вчетверо листок бумаги. Клоков развернул, стал читать. Ольга подошла, заглянула в бумагу:

— Да. Это Лисовского. А ниже — по кольцам. Огурева.

Клоков сжал губы, кивнул. Ольга протянула ему зажигалку. Он взял ее:

— Старший лейтенант Севостьянов!

Севостьянов подошел.

— Спросите у этого гуся, где пробы. А если не скажет, вгоните ему пулю в лоб.

Севостьянов вынул из кобуры пистолет, оттянул затвор и направил на Зубарева.

— Они в сейфе... у Жогленко там... — пробормотал Зубарев.

Клоков щелкнул зажигалкой, поджег листок:

— Огонь.

Севостьянов выстрелил. Пуля попала Зубареву в грудь, он застонал, выгибаясь. Офицеры отпустили его. Клоков бросил горящий листок на пол, отдал Ольге зажигалку:

— Спасибо. Лейтенант, двух солдат мне.

— Соболевский, Ахметьев, выйти из строя! — скомандовал Севостьянов и солдаты подошли к полковнику.

— И вы тоже, — сказал Клоков двум солдатам в ватниках, — за мной — марш.

Он направился к лифтам. Ребров, Ольга и солдаты последовали за ним.

— Еще в Подольске он меня уверял, что с первого раза мы по параметрам не пролезем, — заговорил на ходу Клоков, — прошли комиссию, прошли ГУТ, отметились у Язова, потом выехали под Барнаул, — и все он тревожился, все писал докладные. И Басову, и Половинкину, и мудаку этому Ващенко: нормы не соблюдены, объект принят с сильными недоделками, барсовики текут, магнето течет, в

выходном пробой.

Они вошли в лифт, он нажал кнопку 3 и продолжал:

— А это сентябрь, две недели дождь, дорога раскисла, тягачей хрен-два и обчелся, энергетики нам насрали от всего сердца, посадили нас на 572-ых, комиссия воеет, Лешку Гобзева отстранили, Басов рвет и мечет, мы с Иваном Тимофеичем разрываемся...

Лифт остановился, двери открылись, Клоков первым шагнул на ковровую дорожку:

— И вдруг эта сволочь приходит ко мне и показывает фото. А у меня только что был разговор с Басовым. Тогда я впервые усомнился...

Они подошли к двери с номером 35. Клоков открыл и вошел первым.

Сидящий за столом прапорщик встал.

— Работайте, работайте, — махнул рукой Клоков, подошел к обитой черным двери, открыл. — Вы, с автоматами, здесь останьтесь.

Автоматчики встали у двери, остальные прошли внутрь уютного, обитого дубом кабинета. Клоков прикрыл за ними дверь и скомандовал:

— Раз!

Солдат в ватнике ударил Реброва ногой в живот, другой заломил Ольге руку. Ребров, согнувшись, повалился на пол, Ольга упала на колени.

— Вот так, — Клоков подошел к сейфу, отпер ключом внешнюю дверцу, набрал шифр и открыл внутреннюю, — пусти козла в огород.

— Что? Зачем вы?! — воскликнула Ольга, морщась от боли.

— Еще ему добавь, — Клоков вынул из сейфа красную папку.

Солдат ударил Реброва сапогом в спину.

— Вопросы есть? — Клоков подошел к Реброву, — Или все ясно?

— Все... ясно, — прохрипел Ребров.

— Номер замены?

— 28, ряд 64...

— Полоса?

— Восьмая.

— Хорошо, — Клоков открыл папку, вынул лист. — Итак, вместо вполне заслуженной пули в лоб вы получаете пробы. Сегодня, на шестом складе, вот по этой накладной. Вставляйте.

Ребров с трудом встал.

— Держите, — Клоков дал ему лист, Ребров взял, стал морщась читать.

— Отпусти, — сказал Клоков солдату, тот отпустил Ольгину руку, помог ей встать.

— Теперь по лестнице наверх, — Клоков нажал кнопку, дубовая панель поехала в сторону, открывая ход в стене, дверь за собой захлопните. Возле санчасти моя машина с шофером.

Ольга первая вошла в проем.

— И на прощанье, от личного состава, — Клоков дал Реброву

сильную пощечину. — Попадись ты мне еще хоть раз, вонючка. Пшел! — он пнул Реброва ногой. Ребров отшатнулся в проем, панель задвинулась. Внутри горели тусклые лампочки, наверх вела винтовая лестница. Ольга восторженно обняла Реброва:

— Ой, Витя! Витенька!

— Рано, рано, — зашептал он, отодвигаясь. — Двинулись...

Они поднялись по лестнице, открыли железную дверь и вышли из торца бойлерной.

— Где это... — завертел головой Ребров, — ага, вон санчасть.

— У тебя губа разбита, подожди, — Ольга достала платок, вытерла кровь.

— Пошли, пошли, — Ребров быстро зашагал к санчасти.

— Витя! Витенька! — Ольга догнала его. — Это же пиздец! Ой... миленький... сильно болит?

— Тихо.

Они миновали выходящих из столовой солдат, подошли к санчасти. Неподалеку стояла черная «волга». Ребров сел на переднее сиденье, Ольга сзади.

— Здравия желаю, товарищ подполковник, — сидящий за рулем сержант завел мотор.

— Здорово, — Ребров потрогал губу, — Москва, Дорогомиловская, дом 42.

— Есть, товарищ подполковник, — сержант включил передачу, машина тронулась.

— Как Дорогомиловская? — удивленно наклонилась вперед Ольга. — Зачем же?

Ребров строго посмотрел на нее.

— Я не могу! Я не смогу! Господи! — она закрыла лицо руками.

— Волга впадает в Каспийское море, — сухо произнес Ребров.

Ехали молча. На Большой Дорогомиловской свернули во двор и стали...

— Жди здесь, — сказал Ребров шоферу, быстро вылез из машины и открыл заднюю дверь. — Прошу.

Ольга выбралась из машины и побрела к подъезду. В лифте она зарыдалась.

— Ольга Владимировна, я прошу вас, — Ребров взял ее за руки, — я очень вас прошу.

— Ну зачем! За что мне... Господи, я не могу! — трясла она головой, — все же хорошо... ну, зачем?!

— Вы же все, все понимаете, вы помните 18 на раскладке, милая, мне самому тяжело, но мы на пути, и теперь так легко сорваться, разрушить все. Возьмите себя в руки, прошу вас, не губите наше дело. Мы не можем себе позволить расслабиться. Расслабиться — значит погибнуть, погубить других. Ну! — он встряхнул ее за плечи.

— Да, да, — всхлинула Ольга, доставая платок, — погибнуть...

Они вышли из лифта, она вытерла лицо и Ребров позвонил в квартиру 165.

— Я не приказываю, я прошу, — сказал он.

Дверь открыл Иванилов. Он был в байковой рубашке, кальсонах и тапочках на босу ногу.

— В самый, самый раз, — заулыбался он, пропуская их в тесную переднюю, — а я вот это, съезд показывают, и там Ельцин им дает...

В квартире громко звучал телевизор.

— Лезут на него, понимаешь, а он их глушит! Во, во... полозковцы. Может, чаю?

— Мы торопимся, Петр Федорович, — сухо сказал Ребров, расстегивая шинель на Ольге.

— Как знаете, — Иванилов выключил телевизор, открыл комод. Ребров повесил шинель Ольги на вешалку, она сняла фуражку и прошла в маленькую смежную комнату. Иванилов вынул из комода серую папку, положил на стол.

— И поаккуратней, Петр Федорович, — Ребров прошел на кухню, посмотрел в окно. — У нас сегодня тяжелейший день.

— Все понял, — Иванилов с улыбкой вошел в смежную комнату и запер за собой дверь. Окно в комнате было плотно зашторено. Сидя на узкой кровати в углу, Ольга снимала сапоги. Посередине комнаты стояло старое зубо-врачебное кресло, над изголовьем которого был укреплен на столе стул с круглым отверстием в днище. Иванилов проворно разделся догола, положив одежду на угол кровати:

— Светлана Викторовна, давайте помогу.

— Отойдите! — дернула головой Ольга. Он отошел и встал возле кресла, поглаживая себя по плечам. Она разделась и села в кресло. Иванилов влез на стол, сел на укрепленный стул, спиной к Ольге. Его зад просунулся в отверстие, навис над Ольгиным лицом.

— Только не быстро, — произнесла Ольга, крепко берясь за подлокотники.

— Само собой... — Иванилов напрягся, шумно и протяжно выпустил газы в лицо Ольги. Она открыла рот, приложила к его анусу. Иванилов стал медленно испражняться ей в рот, тихо кряхтя. Ольга судорожно глотала кал, часто вдыхая носом. Голые ноги ее дрожали.

— Все, — пробормотал Иванилов, приподнимаясь. Ольга сползла с кресла на пол и замерла, всхлипывая и громко дыша.

— Все, все, — Иванилов слез со стола на пол, стал одеваться, — какой сегмент?

Ольга не ответила.

— Ну, я тогда там... — он оделся и вышел из комнаты.

Ребров пил молоко на кухне.

— А какой сегмент-то? — громко спросил Иванилов. Ребров поставил стакан, вошел в комнату:

— Восемнадцатый.

— Так. Восемнадцатый, — Иванилов выдвинул нужный ящик сегментной картотеки, достал след.

— И пожалуйста в двух экземплярах.

— Хорошо, хорошо.

Иванилов вынул из папки две разметные сетки, приложил след и обвел.

Вошла Ольга, застегивая китель.

— Как вы? — приблизился Ребров. Она покачала головой. Он вынул носовой платок, вытер ее коричневые губы:

— Все будет хорошо.

— Сделано, — Иванилов убрал след и папку и тут же включил телевизор. — Интересно, продавит он собственность?

Ольга пошла одеваться. Ребров взял сетки, сложил, спрятал в карман.

— С другой стороны, колхозников тоже понять надо, — усмехнулся Иванилов. — Работали, работали, понимаешь, а тут — на тебе!

— До свидания, Петр Федорович, — проговорил Ребров, и они с Ольгой вышли. В лифте Ольгу вырвало.

— Легче всего! Легче всего дать волю эгоизму! — воскликнул Ребров. — Давайте! Показывайте, какая вы гордая! Какая самостоятельная! Демонстрируйте! Как вы презираете всех! Как плюете на остальных! Ну! Демонстрируйте!

— Я... нет... — шептала Ольга, прижавшись лбом к стенке кабины. Ребров схватил ее под локоть, вытолкнул из лифта:

— Идите! Гордитесь собой!

Они сели в машину.

— Поехали на шестой склад, — сказал Ребров, закуривая.

— Есть, товарищ подполковник.

Когда черная «волга» подъехала к военкомату, было уже темно. Машина Реброва стояла на месте. Штаубе и Сережа спали в ней, привалившись друг к другу.

— Перегрузишь в мой багажник, и свободен, — приказал Ребров сержанту, вылезая из «волги». Ольга постучала в заднее стекло «жигулей»:

— Ау!

Штаубе проснулся, открыл дверь, она села на переднее сиденье:

— С добрым утром, милые.

— Как? — морщась, спросил Штаубе.

— Отлично! — радостно шепнула она. — Вон, смотрите.

Штаубе оглянулся. Сержант подносил к «жигулям» металлический ящик.

— Слава Богу.

Ребров захлопнул багажник, сел за руль:

— Здравия желаю, Генрих Иваныч.

— Дали? 48?
 — 48, — Ребров завел мотор. — Вы не замерзли здесь?
 — А я дважды заводил. Погодите, а как с Клоковым? А Басов что? Выписку нашли сразу?

— Сразу! — Ребров посмотрел на Ольгу, они засмеялись. — Сразу!

— А этот говнюк, Сотников, торговался?

Ребров с Ольгой засмеялись громче.

— Погодите, чего вы ржете, расскажите толком? Мне к Коваленко ехать?

Сережа проснулся, громко зевнул:

— О-о-ой... холодно... а Олька где?

— Я здесь, милый. Спи.

— Я есть хочу.

— Да, — посерьезнел Ребров, — есть. Нам всем пора пообедать. А точнее — поужинать.

— Может — к Михасю? — предложила Ольга. — Жутко в баню хочу.

— К Михасю? Без звонка? — потер лоб Ребров.

— Именно — без звонка! — Штаубе надел шапку. — Да эта сволочь должна вам в любое время суток жопу лизать, не разгибаясь! Поехали.

Они сидели за столом в пустом банном зале с мраморными колоннами и бассейном. Ребров и Штаубе были в простынях, Ольга и Сережа — голыми. Официант принес десерт и шампанское.

— За удачное, — пробормотал разомлевший Ребров. Чокнулись и выпили.

— Еб твою... — Штаубе поморщился, взял бутылку. — Полусладкое. Вот пиздарванцы. Человек!

Подошел официант.

— Что это за говно ты нам принес? На хуй нам полусладкое? У вас что, нормального шампанского нет?

— Извините, но завезли только полусладкое.

— Еб твою! — Штаубе ударил бутылкой по столу. — Зови сюда Михася!

— Одну минуту...

— Генрих Иванович, да все хоккей, — Ольга допила, встала и бросилась в бассейн. — Сережка, иди ко мне!

Сережа прыгнул в воду.

— А вот это... после еды... вредно! — погрозил пальцем Ребров.

— Отлично! — закричала Ольга.

— Ей сиропа разведи водой — и тоже отлично будет, — проворчал Штаубе, откусывая от яблока.

Ольга схватила Сережу за руку, потянула на середину бассейна. Сережа завизжал. Вошел Михась.

— Что же это, друг любезный? — Штаубе щелкнул по бутылке.

— Михаил Абрамыч, извините ради Бога! — Михась прижал пухлую

ладонь к труди. — С брютом шас такой напруг, все по валютным барам, нам вообще ничего не дают. Хотите «Напариули»? Джина с тоником? Ликерчик у меня хороший есть. Яичный.

— Яичный? — издевательски прищурился Штаубе. — Говно ты собачье! Ты видишь кто к тебе приехал?! Ты, пиздюк — в жопе ноги! Мы что тебе — бляди райкомовские, или уголовники твои, чтобы это пошло лакать?! Кто мы тебе, гад?! Отвечай! — он ударил кулаком по столу, опрокидывая бокалы.

— Генрих Иваныч, — поднял руку опьяневший Ребров, — ну не надо так... они же все... подчиненные.

— Прошу прощения, извините, пожалуйста, я шас принесу все, что есть, все, что есть! — забормотал Михась.

— Тащи все, гад! Все! Чтоб все стояло здесь! Все! — стучал кулаком Штаубе. — Полусладкое! Ты что, говнюк, в детстве сахара мало ел?! Или решил, что мы блокадники? Или ветераны войны, ебать их лысый череп?! Это им ты будешь клизму с полусладким вставлять в жопы геморройные, понял?! Им! А нам это... — он схватил бутылку и швырнул в Михася, — по хую!

Михась увернулся, бутылка разбилась о колонну.

— Браво! — Ольга зашлепала ладонями по воде.

— Ура! — закричал Сережа, держась за ее шею.

Михась выскользнул в дверь.

— Какие твари! — тряс головой Штаубе. — Всех бы на одной веревке! Всех!

— Генрих Иваныч, вы чересчур категоричны, — Ребров открыл Ольгин портсигар, достал папиросу, — ты... или, нет... мы имеем дело с простейшими, знаете, такие инфузории, *Amoeba proteus*, которые, в свою очередь, являются пищей для более сложных созданий, для рачков, например, которых потом заглатывает кит, а на кита... потом нападают касатки, раздирают ему рот, вырывают жирный-жирный язык, а касаток уже ловят двуногие, на которых водятся насекомые паразиты. И надо сказать, дистанция между инфузориями и вшами — громадная... Давайте лучше еще водки выпьем.

— Виктор Валентиныч! — Штаубе отшвырнул надкусанное яблоко, — вы меня простите, по раскладке и по знедо вы — гений, но в жизни вы ничего не понимаете! Эта инфузория на «Мерседесе» разезжает! Ему бляди из райкома и райисполкома сосут непрерывно! Его, пиздюка, подвесить бы за яйца, чтоб он ссал и срал бы одновременно! Инфузория! Говносос! Уебище пиздопробойное! Как я их, тварей толсторылых, ненавижу! Не-на-вижу! — он застучал кулаком по столу.

— Витя! Генрих Иваныч! Идите к нам! — закричала Ольга. — Хватит ругаться!

— Вообще, идея не плоха, — Ребров закурил, бросил спичку в бассейн. — Генрих Иваныч, соблазнимся?

— Твари! Сраные твари! — Штаубе неряшливо налил водки себе и

Реброву.

— Да хватит вам, — Ребров взял рюмку. — Удачное, удачное. Три дня тому назад... я был готов крест поставить. Пейте за наш промежуточный.

Они выпили.

— Ха-а! — крикнул Штаубе, откусил от целого лимона и стал жевать.

— Спасите! Тону-у-у! — закричал Сережа, хватаясь за Ольгу.

— Ссышь, котенок! — смеялась Ольга, отталкивая его. — Плыви, плыви! Держись за воду!

Ребров встал, пошатываясь подошел к краю бассейна, сбросил простыню и с папиросой в зубах бутылкнулся в воду.

— Бедные дети в лесу, кто им покажет дорогу? — Штаубе выплюнул лимон, приподнялся, запрыгал, болтая культей. — Жалобный плач пронесу... тихо к родному порогу... Ну, твари! — он упал, подполз к краю и сел, свесив ногу в воду. — Так вот жизнь и проходит... Ребров нырнул, вынырнул, отфыркиваясь:

— Хлорка...

Появился Михась с тележкой, уставленной бутылками. За ним вошла полная девушка с гитарой, в длинном платье и с распущенными волосами.

— Ну вот, уже что-то! — ухмыльнулся Штаубе, почесывая грудь. — Налей-ка чего-нибудь.

— Чего желаете?

— Все равно. А это кто?

— Это Наташа, Михаил Абрамыч. Поет расчудесно. Она же вам тогда пела, вы не помните?

Девушка, улыбаясь, стала перебирать струны.

— А-а-а-а... — поморщился Штаубе, принимая рюмку с ликером. — Вспомнил. «Снился мне сад в подвенечном уборе». Только сегодня — мимо. У тебя, милая, голос, что в жопе волос: хоть и тонок, да не чист. А мой слуховой аппарат — вещь деликатная. Я Козлу чуть в харю не плюнул, а тебе и вовсе рыло сворочу. Так что... — он отхлебнул из рюмки. — Брось свою бандуру, остаканься и ползи ко мне. Ты! Налей ей!

Михась налил бокал вина и подал Наташе.

— А сам убывай, пока я добрый!

— А нас кто обслужит? — закричала Ольга. — Я тоже вина хочу!

— И я! — крикнул Сережа.

Все трое подплыли к краю бассейна, Михась принялся обслуживать их.

С бокалом в руке Наташа подошла к Штаубе.

— Раздевайся и присаживайся! — Он шлепнул ладонью по мокрому полу. Она сняла платье, туфли и, оставшись в красном купальнике, села рядом со Штаубе, опустила ноги в воду.

— Так не пойдет! — ухмыльнулся Штаубе. — Здесь все в раю,

видишь мы какие... — он сбросил с себя простыню, почесал мошонку. — Так что не нарушай диспозиции, это — во-вторых. А во-первых, я ж тебе сказал — останься!

Он схватил левой рукой Наташу за шею, правой приставил бокал к ее губам и принудил все выпить.

— Ой... я так захлебнусь! — закашляла Наташа.

— Другое дело! — Штаубе стал снимать с нее купальник, Наташа помогла ему.

— Ух ты! — он потрогал ее большую грудь. — Друзья! Смотрите!

— Какая прелесть! — засмеялась Ольга, отпивая из бокала.

— Пусть письку покажет! — прорычал басом Сережа.

Штаубе развел Наташины колени:

— Смотри! Нравится?

— Оч-ч-чень! — прорычал Сережа, пригубливая вино.

— Витя, возбуждаешься? — Ольга обняла Реброва.

— Я сыт удачным... — он положил голову на мраморную ступеньку.

— Ну кто же тогда?! — Ольга шлепнула рукой по воде. — У Генриха Иваныча последний раз стоял пять лет назад!

— Шесть! — поправил Штаубе и показал Наташе свой длинный член. — Видишь, какой инструмент? Двадцать шесть сантиметров в стоячем виде! Но — все в прошлом. Теперь же...

— Ну, кто ее выебет?! — закричала Ольга, шлепая по воде.

— А пусть вот этот! — Сережа показал пальцем на суемящегося возле бутылки Михася.

— Точно! — Штаубе хлопнул в ладоши. — Ну-ка, ты, хуило, раздевайся!

— Да что вы... почему я?

— Ты, пиздюк, со мной не пререкайся! Делай, что говорят!

Михась стал нехотя раздеваться.

— Я с ним не буду! — мотнула головой Наташа.

— Еще как будешь! — Штаубе схватил ее за волосы. — Отсосешь по-смачному, с проглотом, да еще спасибо скажешь!

— Я не буду! — дернулась Наташа.

— Будешь! Будешь! Будешь! — Штаубе стал бить ее по лицу. Она разрыдалась.

— На колени, тварь! — Штаубе толкнул ее к голому Михасю. — Соси у него! Живо! Я дважды не повторяю, Пизда Ивановна! Ну! — он замахнулся бутылкой, расплескивая ликер.

Всклипывая, Наташа встала на колени. Михась подошел к ней, она стала сосать его член.

— Давно бы так, — Штаубе отхлебнул из бутылки.

— Бывают же такие волосатые мужики! — усмехнулась Ольга.

— А ей вкусно? — Сережа кинул в Наташу корку от мандарина.

— Еще бы! — серьезно кивнул Штаубе.

Вошел официант с мороженым.

- Поставь... — пробормотал Михась.
- Мне, мне! — закричал Сережа.
- И мне! — подняла руку Ольга.
- И мне, — устало выдохнул Ребров.
- И мне! — потянулся Штаубе.

Официант раздал мороженое и вышел.

— Другое дело... — Штаубе плеснул ликера в розетку с мороженым, попробовал, — всем рекомендую.

Ольга и Сережа подплыли к нему, он налил им ликера, посмотрел на Михася с Наташей:

— Не увлекайтесь, друзья. Покажи-ка нам своего Котовского.

Наташа отстранилась, Михась повернулся, показывая член.

— Не слабый банан! — пьяно хохотнула Ольга.

— У Фариды меньше? — Сережа ущипнул ее за грудь.

— Вполне достойная елда! — кивнул Штаубе. — Молодец! Теперь ставь ее раком! Давай!

Стоя на коленях, Наташа наклонилась, Михась пристроился сзади.

— И поактивней! — подсказала Ольга.

— Что? — поднял голову Ребров. — Стоп! Стоп! Быстро! Быстро!

Он неловко вылез из бассейна, поскользнулся, упал на бок:

— Быстро! Кольца! Уберите этих, уберите!

— Вон отсюда! Вон отсюда! — закричал Штаубе. — Живо! Убью!

Михась и Наташа схватили одежду и выбежали.

— Что такое? Витя? — Ольга выбралась из бассейна.

— Кольца! Кольца! — Ребров пополз к стоящему в углу ящику.

— Какие кольца? — Штаубе двинулся за ним, опираясь руками о пол и подтягивая ногу.

Ребров набрал шифр замка, открыл ящик, снял ипрос, повернул рычаг поперечной подачи и рассмеялся.

— Что стряслось? — Штаубе заглянул в ящик.

— Мне показалось... что я кольца снять забыл...

— Устал ты, Витя. Намучился, — Ольга поцеловала его в плечо.

— Бывает... — Штаубе отполз.

— Тебе выспаться нужно, — Ольга гладила мокрую голову Реброва, — пошли наверх? Баиньки?

— Наверх? — он уронил голову ей на плечо. — Двинулись... но ящик, все со мной... все со мной... рядом чтоб...

— Конечно, милый.

На дачу вернулись только к часу дня. Ольга с Сережей отправились в спортзал, Ребров со Штаубе — в мехмастерскую. Штаубе сразу же выточил на токарном станке полукольцо, смерил ключом:

— Стандарт.

Ребров открыл ящик, снял ипрос, повернул рычаг поперечной подачи и осторожно выгнул стержень №1 из паза.

— Ух, ты! — Штаубе восторженно покачал головой. — Ведь умеют же, сволочи, если надо!

Ребров надел на стержень кольцо, вставил полукольцо, оттянул пружину. Затвор шелкнул и встал на место. Ребров вставил стержень в паз, закрепил рычагом, перевел рейку на 9, протянул руку. Штаубе подал ему гнек, Ребров вставил его в шлицевой замок и стал медленно поворачивать.

— Легче, легче! — зашептал Штаубе.

Ребров повернул гнек до конца, тельмец соскочил с колодки, вошел в челночную капсулу. Штаубе подал иглу. Ребров ввел ее в концевое отверстие, перевел рейку на 2. Челночная капсула опустилась на параклит. Ребров тут же повернул и вынул гнек.

— Слава тебе, Господи! — Штаубе перекрестился, со вздохом взялся за сердце. — Ой... С вашими фокусами, Виктор Валентиныч, все здорово растеряешь...

— Отлично, отлично! — Ребров подошел к промежуточному блоку, открыл, спустил предохранитель, вставил гнек в патрон, включил. Гнек завращался, венчик его раскрылся, вольфрамовый шарик исчез в патрубке.

— Вот на что денежки народные переводятся, — Штаубе склонился над ящиком. — Мерзавцы! А протез нормальный сделать не могут.

— Все отлично, Генрих Иваныч! — возбужденный Ребров вытянул из паза стержень №2. — Дайте только до фундаментов добраться. Будет вам и белка, будет и протез. Точите полукольцо.

Ольга слезла с тренажера, пощупала спину:

— Третий пот. Хватит. Сережа, отбой.

Сережа качался на «Дельте».

— Оль, а я тоже на «Геркулесе» хочу.

— Стоп, стоп! Тебе еще рано. Шведская стенка, лыжи, кольца — вот, что тебе нужно. Слезай.

Ольга потрогала его спину.

— Мокрый, как мышь. Три минуты со скакалкой — и в душ.

Попрыгав, они вошли в душевую, разделись и встали под душ.

— Ну, а потом что было, после чемпионата СССР? — спросил Сережа.

— Скандал был. Я великой Стрелетовой дорогу перешла. Она — шестикратная чемпионка страны, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка, а я — двадцатилетняя девка, год назад норму мастера выполнила. У нее муж кагебешник, дача, две машины, блат в Федерации, в Госкомспорте. А я — третьекурсница занюханного Лестеха, девочка из Норильска, живу в общежитии, в Москве ни одного знакомого, вся жизнь: тир, спортзал, общежитие, тир, спортзал, институт. А дальше — круче: спартакиада народов СССР, накануне Олимпиады, она стреляет: 559. Я вышла: 564! Новый рекорд страны. В Федерации

на рога встали. Данилин: включить Пестрецову в Олимпийскую сборную, Комаров: рано, молода, нет опыта, не комсомолка, подведет команду, морально неустойчива, хуе-муе. Проголосовали поровну, отложили на неделю. Стрепетова Комарову истерику устроила, орала: или я, или она. Очко у нее тогда сильно заиграло: ей 29, пик давно прошел, последний чемпионат мира она Анжелике Форстер просрала, в Риме вообще в тройку не вошла... — Ольга закрыла воду, взяла полотенце. — Вот. Такова ситуэйшен. Неделя идет, надо что-то делать, а у меня руки опустились, хули; она Комарову в уши надует, он Федерацию обработает, проголосуют против, и пиздец. А тут Милка Радкевич из Киева проездом, пошли с ней в «Метелицу», выпили, попиздели, и она мне: Оленька, не бзди, бери коньячевского, поезжай к Жабину.

— Это кто? — Сережа закрыл воду.

— Второй человек в Федерации после Комарова. Жуткий бабник, мне Милка все про него рассказала. Он, когда ленинградское «Динамо» тренировал, переб там всю команду. Ну, я тогда целеустремленная была, а про Олимпиаду вообще, как подумаю — сердце останавливается. Думаю, если не включат в сборную — брошу все на хуй, в деревню уеду учителем физкультуры. Звоню Жабину: так и так, хуе-муе, Виктор Сергеич, хочу посоветоваться. Он сначала не просек: а что же ваш, говорит, Данилин? Я говорю: Виктор Сергеич, Данилин тренер классный, а как человек — ни рыба, ни мясо. Он ржет: приезжай. Купила «Камю», приехала. Жена на сборах, дочь на даче. Выпили, стал меня трахать: хуище толстенный, кривой, в рот не помещается. Вазелином мне жопу смазал, шепчет: Оленька, я кончаю всегда только в попку. Полез. Я ору в подушку, как резаная, он ревет, как буйвол. Проебал меня до кишок, выпили шампанского. Говорит: о'кей, я с ребятами потолкую, а ты срочно заявление в комсомол подавай. Так и сделала. А через неделю голосование — и я в сборной. Ну, про Олимпиаду ты все знаешь, — она сняла с крючка халат.

— А этот Жабин?

— Что Жабин?

— Ну... вы с ним еще ебались?

— А как же. Регулярно меня трахал. Как приспичит, сразу в общагу — дзынь: белокурик, жду. Начнет спереди, кончит сзади.

— Больно?

— Нет. Привыкла. Даже кончать от этого научилась... О! Это что такое? — Ольга заметила, что Сережа прикрывает полотенцем свой напрягшийся член.

— Это что за безобразие? — она отвела полотенце, взяла Сережу за член. — Вы что себе позволяете, молодой человек?

Сережа прижался к ней:

— Оль, а можно я в попку попробую?

Она улыбнулась:

— Ребров запретил тебя развращать.

— Да пошел он! Ну можно, а?

— Так хочется?

— Ага.

Она взяла его за уши, сжала, заглянула в глаза:

— Настучишь!

— Никогда! Больно, Оль...

— Клянешься?

— Ну клянусь, больно же!

— Поверим.

Ольга вышла из душевой, прошла в спортзал, достала из своей спортивной сумки тубик с мазью для рук, поманила Сережу пальцем. Они подошли к мату, постеленному под турником. Ольга сбросила халат, выдавила на ладонь мази и, опустившись на колени, стала смазывать Сережин член:

— Главное — не спеши.

Затем она смазала себе анус, легла животом на мат. Сережа лег на нее.

— Выше, выше, — Ольга развела ноги. — Вот. Сильней. И не торопись...

Сережа стал двигаться.

— Маленький мой... Котенок, — шептала Ольга, прижавшись щекой к мату. — Не спеши...

Сережа вздрогнул, слабо застонал и замер.

— Уже? Котик мой...

Он скатился с нее, сел, потрогал свой член. Ольга перевернулась на спину, потянулась:

— О-о-а-ах! Давно Оленьку не ебли по-черному!

— Пить хочу. — Сережа встал, пошел к двери.

— Принеси мне апельсин! — Ольга взмахнула ногами, кувыркнулась назад и села в позу Лотоса.

После обеда Ребров пригласил всех к себе в кабинет.

— Хочу обратить ваше внимание на одно очень важное обстоятельство, заговорил он, сидя за столом и глядя на свои руки. — Дело №1 прошло благополучно, стержни и промежуточный блок у нас. Таким образом, дело №2 будет проведено не 7 января, а 31 декабря.

— Но мы давно это знаем! — пожал плечами Штаубе.

— Правильно. Но вы не знаете другого, — Ребров открыл папку, достал пожелтевший листок бумаги и стал читать: — «Надо покончить с оппортунистическим благодушием, исходящим из ошибочного предположения о том, что по мере роста наших сил враг становится будто бы стерекнепри все более ручным и безобидным. Такое предположение в корне стерекнуг неправильно. Оно является отрывкой правого уклона, уверявшего всех и вся, что враги будут потихоньку вползать в социализм, что они станут стероул в конце-концов настоящими соци-

алистами. Не дело большевиков почивать стерошущеп на лаврах и ротозействовать. Не благодущие нужно нам, а бдительность, настоящая большевистская революционная стеропристос бдительность. Надо помнить, что чем безнадежнее положение врагов, тем охотнее они будут хвататься за «крайнее средство», как единственное средство обреченных в их стерозавунеш борьбе с Советской властью».

— Это... что? — осторожно спросила Ольга.

— Из обращения ЦК ВКП/б/ к партийным организациям, 2 декабря 1934 года. Коррекция проведена 2, 18 и 21 декабря 1990 года. И еще: «Декабрь, вторник 22/4 Великомученицы Анастасии Узорешительницы /ок. 304/. Мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных /ок. 304/. Евр., 333 зач., XII, 25-26; XII, 22-25. Мк., 43 зач., X, 2-12». Коррекция 21 декабря 1990 года.

Ребров убрал листок в папку, вздохнул и отвернулся к окну.

После продолжительного молчания Штаубе стукнул палкой об пол:

— Не все от нас зависит, Виктор Валентиныч! Выше головы не прыгнешь. То что можем — делаем, стараемся не ошибаться. Все стараются, как могут: Оленька и Сережа, и мы с вами. Все выкладываются до кровавого пота. Я не о снисхождении говорю, а о пределах. О возможностях. Требовать от себя и от нас невозможного, Виктор Валентиныч, это, я вам скажу... — старик покачал головой, — бессмысленно и вредно. Так можно и дело загубить. Я когда теплицы поджигал, бензином все сначала облил, и знаете, не поленился из шкафа картотеку вытряхнуть, а потом — архив Голубовского. Вывалит все эти папки, плёснул из канистры, вдруг вижу — фотография знакомая. Поднял, а это Рутман. В косоворотке, со значком, с осевыми. Скалитесь, как зебра. На обороте сверху в уголке: «4 июля 1957 года, Рыльск». А посередке: «Дорогому Светозару от Ильи, Севы и Андрея в день пробного пуска». Вот так.

— Не может быть.

— Еще как может, дорогой мой. А рядом толстенная папка с документацией: отчеты, таблицы, графики.

— И вы сожгли?

— Конечно!

Ребров взял папиросу, закурил.

— Мой отец покойный говорил: пляши на крыше, да знай край. В нашем деле, Генрих Иваныч, края нет, а есть ямы. И надо стараться их замечать вовремя. А для этого необходимо многое уметь. Я прочел вам этот документ не для того, чтобы напугать, а по делу. 7 января переносится на 31 декабря не потому что на раскладке выпал промежуток, а из-за знедо. Только из-за знедо.

— По-моему, мы это давно все поняли, — зевнула Ольга. — Я давно поняла.

— И я! — захлопал по коленкам Сережа. — Я про Дениса все вспомню! Клянусь, честное пионерское!

— Не хвастайся раньше времени! — махнул на него Штаубе, встал, скрипя протезом, подошел к окну. — Знаете, Виктор Валентиныч, я внимательно прочел книги, касающиеся Анны Ахматовой.

— Те, что я вам дал?

— Да. Те самые... — Штаубе вздохнул, оперся на палку, — прочел и понял, что Анна Андреевна Ахматова нам совершенно не подходит.

— Почему?

— Потому что... — Штаубе помолчал, качая головой, потом вдруг стукнул палкой по полу, — да потому что... это же, Господи! Как так можно?! Что это?! Почему снова мерзость?! Гадость?! Я не могу таких, не могу... гадина! Гадина! И вы мне подкладываете! Это же не люди! Гадина! Гадина! Тварь! Они... они, такие могут крючками рвать!

— Что... что такое? — непонимающе нахмурился Ребров.

— Да ничего такого! Просто надо быть порядочным человеком, а не сволочью! Я их ненавижу! Я б без пощады вешал! Чтoб так продавать! Так гадить людям! Я б их жарил живьем, а потом свиньям скармливал! Срал бы им в рожу!

— Что вы мелите?

— Я не мелю! Я повидал на своем веку! Я видел как детей — за ноги и об березу! Я видел, как женщин вешали! Как трактор по трупам ехал! Для меня, друзья любезные, такие понятия как добропорядочность, как... да, да! Не пустой звук! Я знаю, что такое невинная душа!

— Про нитку? — спросил Сережа.

— Твари! Гады! Мрази помойные! Я бы размазал по стенам! Я б свинцом плотки заливал!

— Остановитесь! Стоп! — Ребров хлопнул ладонью по столу. — Объясните нам толком, откуда вы все это взяли? Как вы читали норп?

— Глазами! Вот этими! 73, 18, 61, 22! Черным по белому!

— 78, 18, 61, 22, — проговорил Ребров.

— Как 78?! 73, а не 78!

— 78, а не 73. Опечатка.

— Как опечатка?

— Ну, наверно, матрицу не промазали как следует и 8 отпечаталось как 3.

— Еби твою! Вы точно знаете, что 78?

— Сто процентов, Генрих Иваныч.

— Тьфу, еб твою! — Штаубе плюнул.

— Да. 78, 18, 61, 22, — Ребров загасил окурок в пепельнице. — Анна Андреевна Ахматова — великая русская поэтесса, честная, глубоко порядочная женщина, пронесшая сквозь страшные годы большевизма свою чистую душу, совершившая гражданский подвиг, прославившая русскую интеллигенцию. Россия никогда не забудет этого. Вот так. А теперь о делах текущих, — он снял с полки стакан с водой, в которой плавала головка. — Экспонат, так сказать, дозрел: края взлохмачены, изменение цвета, и так далее. Ольга Владимировна, возьмите чистую

тарелку, нарежьте головку тоньше, как грибы режут, положите на тарелку — и в духовку на самый слабый огонь. Самый слабый. Дверцу откройте, чтоб не жарилось, а сохло. Как только подсохнет, возьмите вот эту ступку, разотрите в порошок. Потом зовите меня. Все ясно?

— Все, — кивнула Ольга. — Генрих Иванович, мне вам сегодня перевязку делать.

— А я забыл совсем! — усмехнулся Штаубе. — Вот что значит — не болит.

— Теперь. Мясорубка и соковыжималка? — спросил Ребров.

— Так мы ж с вами вместе третьего дня проверяли. Все работает.

— А елка у нас будет? — спросил Сережа.

— Вот ты и займись. Возьми пилу, спили неподалеку. Только небольшую.

— Это как?

— С тебя. А Ольга Владимировна установить поможет.

— Витя, у нас всего одна бутылка шампанского.

— Хватит, — Ребров положил перед собой кипу скрепленных скоросшивателем бумаг. — Завтра в 12 раскладка. Последняя в этом году. Прошу это помнить. А теперь все свободны.

31 декабря в одиннадцатом часу вечера машина Реброва въехала на территорию дачи и остановилась, сигналив. Дверь в доме отворилась, Ребров сбежал по ступенькам, по расчищенной дорожке пошел к машине. На нем была темно-синяя тройка, в руках он держал розы. Из машины вышли Ольга, Сережа и пожилая женщина в старомодном зимнем пальто.

— Витенька! — произнесла она.

— Мама! — Ребров подошел, обнял и стал целовать ее. — Милая... наконец-то... это тебе.

— Господи! Розы зимой... а я опоздала!

— Пустяки, мама. У нас все готово.

— Поезд опоздал на час, — сказала Ольга, вынимая из багажника сумку, — мы с Александрой Олеговной чуть не разминулись.

— Да, да! — засмеялась старушка. — У меня без приключений не обходится! Ну, слава Богу! Витенька, что же ты совсем раздетый? Голубчик, ты простудишься.

— Пустяки, мама. Пойдем, стол давно накрыт.

Они направились к дому.

— Ах, как у вас славно! — вздохнула Александра Олеговна. — Какой лес, какая тишь. После этих поездов... вообрази, мне даже чая не дали!

— Главное — доехала. Как самочувствие?

— Прекрасно, прекрасно, Витенька. Я так счастлива! У тебя такие милые друзья, Оленька, Сережа... ах, какой дом!

Они поднялись по ступенькам, вошли в прихожую.

— Когда же это все построили? До войны?

— В 49-м, мама, — Ребров помог ей снять пальто.

Вошел Штаубе во фраке.

— Мама, познакомься пожалуйста: Штаубе Генрих Иванович.

— С приездом Александра Олеговна! — Штаубе поцеловал ее руку.

— Спасибо, Генрих Иванович! Очень приятно с вами познакомиться, Витя мне писал о вас.

— А сколько я о вас слышал! — улыбался Штаубе, держа ее руку.

— Дня не пройдет, чтоб Виктор Валентинович о маме не вспомнил!

— Вспоминать-то вспоминал, но письмами не баловал! — Александра Олеговна погрозила Реброву пальцем. — Раз в месяц, не чаще!

— Каюсь, каюсь, — склонил голову Ребров.

— Не беспокойтесь, Александра Олеговна, мы его перевоспитаем!

— Штаубе подставил ей согнутую руку.

— Очень надеюсь! — старушка взяла его под руку.

Они прошли в гостиную. Посередине стоял накрытый стол, у окна горела разноцветными огоньками украшенная елка.

— Ах, какая прелесть! — остановилась Александра Олеговна. — Друзья мои, как у вас славно! Витя, я так счастлива!

— И я счастлив, мама, — Ребров поцеловал ей руку. — Как хорошо, что ты приехала.

— Мы так за вас волновались, что успели жутко проголодаться! — улыбался Штаубе, подойдя к столу и зажигая свечи в шандале. — Надеюсь, вы тоже?

— Еще как! Глядя на такой стол! Прекрасно! Но, но, но! — она подняла палец. — Здесь не хватает как раз того, что я привезла! Витя, ты не догадываешься?

— Паюсная икра? Балык?

Она покачала головой:

— Этих прелестей в Саратове давно уже нет и в помине. Дайте мне, пожалуйста, мою сумку.

— Вот она, мама.

Александра Олеговна вынула из сумки банку, сняла крышку, подала Реброву.

— Раковые шейки! — воскликнул Ребров. — Раковые шейки в винном соусе! Невероятно! Генрих Иванович, помните, я рассказывал вам? Ольга Владимировна! Сережа! Где они?

— Переодеваются, — Штаубе взял из его рук банку, понюхал. — О! С ума сойти!

— Это любимая закуска моего покойного мужа, Витиного отца, Валентина Евграфовича. Были времена, когда раки у нас в Саратове продавались на каждом углу, как семечки. Теперь это такой же деликатес, как икра!

— Мама, это просто невероятно! Это мое детство. Вечер, терраса, отец, Анатолич Иванович, Зоя Борисовна... Миша. Он жив?

— Михаил Матвейч? Конечно! Получил новую квартиру за мостом,

Ниночка вышла замуж, он ждет правнука. Огромный привет тебе.

— Спасибо.

Вошли Ольга и Сережа. На ней было длинное вечернее платье темно-фиолетового бархата, Сережа был одет в белую шелковую рубашку с огромным золотисто-черным бантом, в черные, продернутые золотой ниткой бриджи, белые гольфы и черные лакированные туфли, усыпанные серебряными звездочками.

— Ах, какая прелесть! — всплеснула руками Александра Олеговна, — Витя, какая у тебя жена! Оленька, вы потрясающе красивы, вы так похожи на Грету Гарбо, вернее, — вы ее красивее, грациознее, женственней! А Сережа! Юный принц! Наследник престола!

— А я? — бодро приосанился Штаубе.

— Вы — барон, владелец чудного замка под Москвой!

— Всего лишь? — поднял брови Штаубе.

Все засмеялись.

— Господа, к столу! — хлопнул в ладоши Ребров.

— К столу! — Сережа подпрыгнул и сделал пируэт.

— С удовольствием! — улыбалась Александра Олеговна.

Сели за стол. Ребров налил женщинам вина, Штаубе и себе — водки, Сереже — апельсинового сока.

— Друзья... — начал Ребров, но Штаубе поднял рюмку:

— Не, не, Виктор Валентиныч. На правах хозяина дома, я первым прошу слова.

— Витя, подчинись! — посоветовала Александра Олеговна.

Ребров склонил голову.

— Друзья, — заговорил Штаубе, — поистине чудесный вечер сегодня: на меня, персонального пенсионера, министра среднего машиностроения славных времен застоя свалилась целая, понимаете, тонна счастья. Для старика, товарищи, это слишком!

Все засмеялись.

— Ну, правда, посудите сами: сидеть бы мне сейчас у себя на Кузузовском с моей домработницей, с Марьей Михайловной, тихо бы кушать, смотреть телевизор. В двенадцать мы бы с ней выпили шампанского (подогретого, чтоб горло не застудить), а в час я б уже задавал храповицкого...

— Позвольте, Генрих Иванович, а сослуживцы, друзья юности?

— А-а-а, иных уж нет, а те далече. Да и, знаете, Александра Олеговна, настоящих друзей юности у меня всего трое было: один на войне погиб, другой у Берии на допросе, третий два года назад от инфаркта умер. Но сегодня речь не об этом. А о том, что свято место пусто не бывает. И сейчас я перейду к главной части моего выступления. Александра Олеговна, спасибо вам за вашего сына. И от меня лично и от всего министерства среднего машиностроения. Более порядочного, честного, профессионального сотрудника из молодого поколения я не припомню. И скажу вам со всей прямотой: если бы меня горбачевцы

четыре года назад не ушли на пенсию — сейчас быть бы Виктору моим первым помощником. Без сомнения! Хотя, я уверен, он и без меня дойдет до верха. Все данные у него есть.

— Генрих Иваныч! — покачал головой Ребров. — Ну что вы обо мне...

— А ты помолчи. О тебе речи не идет.

— Тогда молчу!

Все засмеялись.

— Речь, товарищи, идет о замечательной Александре Олеговне Ребровой, приехавшей к нам в гости из Саратова прямо на Новый год! Такого подарка нам с вами давно никто не делал! Поэтому первый гост: за здоровье Александры Олеговны!

— Ура! — крикнул Сережа.

Все чокнулись с бокалом Александры Олеговны и выпили.

— Ах, прелестное вино! — старушка осторожно поставила на стол полупустой бокал. — Но, закуска, думаю, еще лучше!

— Друзья, прошу вас! — Штаубе заткнул край салфетки за ворот сорочки. — Мы все страшно голодные!

Некоторое время ели молча.

— Александра Олеговна, а правда, что вы через Волгу по льду бежали? — спросил Сережа.

— Через Урал, Сереженька, — улыбнулась старушка.

— И трещины были?

— Были. И подо мной лед трескался. Я пробежала, а на следующий день — лед пошел!

— Когда это было? — спросила Ольга.

— Сорок четвертый. У меня накануне день рождения отмечали, засиделись до ночи, ну и встала на полчаса позже, проспала автобус, который нас на другой берег Урала возил через мост. А в те времена, Сережа, на всех предприятиях было правило двадцати минут: если человек опаздывал больше, чем на двадцать минут, его арестовывали и судили. Вот я и побежала напрямик, так как получать в двадцать шесть лет второй срок мне совсем не хотелось.

— Двадцать шесть? Как и мне! — проговорила Ольга. — И что же это было за предприятие?

— Госпиталь.

— А первый срок — это что? — спросил Сережа.

— Друзья! — Штаубе поднял рюмку. — Среди нас находится человек замечательной судьбы. Кто за то, чтобы Александра Олеговна рассказала нам свою биографию — прошу поднять бокалы!

— О, Господи, автобиографию! — засмеялась старушка, чокаясь со всеми. — Я право, не готова!

— Просим, просим!

— Просим!

— Мама, расскажи.

— Ну... тогда я сначала выпью для храбрости!

Они выпили.

— Что ж, дорогие мои, — Александра Олеговна вытерла губы салфеткой, — жизнь моя сложилась, мягко говоря, не просто. Зигзаги, зигзаги. Я родилась в 18-ом году в Москве в семье полковника царской армии Олега Борисовича Реброва. Отца я знаю только по фотографии, по рассказам матери и старшего брата. Его расстреляли большевики, когда мне было три месяца. Моя мать — Лидия Николаевна Горская была дочерью известного врача-окулиста, профессора Николая Валериановича Горского, благодаря которому наша семья смогла выжить в годы военного коммунизма. Он лечил Свердлова, Троцкого, Калинина, Крупскую. Помогал им лучше видеть классового врага. За это они давали нам продукты и даже дом оставили на Поварской, которую потом переименовали в улицу какого-то бандита Воровского. Хороша фамилия. Дедушка умер в 1925-ом и нас сразу же выгнали на улицу. Брат Алеша через польскую границу бежал в Париж. А нас приняли сослуживец отца, перешедший, в свое время, на сторону большевиков и ставший у них военспецом. Вскоре он сделал предложение матери и они поженились. Насколько я помню, мать Ивана Ивановича не любила, хотя он любил ее очень сильно, и ко мне относился с нежностью. Все было благополучно до 38-го: я поступила в медицинский, проучилась три курса, мать занималась переводами, отчим служил в Генштабе. 3 мая я пришла домой из института и увидела энкаведэшников, которые рылись в наших вещах. Все книги были вытряхнуты на пол, и эти молодцы по ним ходили как по ковру. Они мне сообщили, что отчим арестован. Я спросила: где моя мама? Они сказали, что мама переволновалась во время ареста Ивана Ивановича, ей стало плохо и они вызвали скорую помощь, которая ее увезла. На самом деле, один из этих мерзавцев, найдя в ее вещах медальон с волосами отца, вытряхнул их. А маме сказал: хранишь всякую дрянь. Она дала ему пощечину, за что он ударил ее рукояткой нагана в висок. Когда я прибежала в больницу Склифосовского, мама была уже при смерти, постоянно теряла сознание. Височная кость у нее была раздроблена, ее повезли на операцию и она умерла у них на столе. «Потеря сознания, повлекшая падение и травму черепа». Так было написано в заключении о смерти. Вот, дорогие мои. Похоронили маму. Меня отчислили из института. Сразу после похорон явились управдом с участковым, показали постановление об «уплотнении жилплощади». Ко мне подсадили семью истопника. Друзья настойчиво советовали мне уехать из Москвы. Я не послушалась. 6 июня пришли за мной. Лубянка. Месяц они меня мучили. Я ничего не подписала. Статья 58, пункт 11. 10 лет. Затем — путешествие в «столыпине» до Котласа. Пересылка. Нас сразу повели в баню и там в предбаннике висело широкое старое зеркало. Все сразу бросились к нему, я тоже. И вот вижу: куча голых женщин, изможденные лица, все толкаются, а я никак не могу найти себя, совершенно

не могу! И вдруг я увидела свою маму. Она смотрела на меня из этого зеркала. Я провела рукой по лицу — и она. Я потрогала волосы — и она. С тех пор я стараюсь в зеркала не смотреться. Потом — лагерь. Сначала было страшно тяжело, я просто умирала на общих работах. И вдруг в столовой ко мне подходит друг отца, Сергей Аполлиinarieвич Болдин, бывший полковой врач. Он устроил меня в санчасть медсестрой, спас от смерти. А через каких-нибудь три года мне невероятно повезло: мое дело пересмотрели и меня освободили « за отсутствием состава преступления! Из всего лагеря освободили еще человек 20. Это было после расстрела Ежова и прихода к власти Берии. Мы ехали в Москву и молились за здоровье Берии. Тем не менее, в столице меня не прописали, жить мне было негде, а главное — не на что. Я поехала в Гурьев, к тете Веронике. Она работала хирургом в госпитале, взяла меня к себе ассистентом. Так всю войну я прожила в пыльном Гурьеве. Общалась со ссыльными интеллигентами, казаками и казачками. Там было много рыбы, но мало муки. Ела ложками икру, мечтая о хлебе. Ела верблюжье мясо.

— И вкусно? — спросил Сережа.

— Не помню. Тогда было все равно. Кончилась война вернулся с фронта сын тети Вероники Валентин. Мы сразу полюбили друг друга и вскоре поженились. Семейная жизнь длилась недолго: 9 ноября 1948 года меня снова арестовали. Потом — Валентина. Я была на шестом месяце беременности и на этот раз держалась не так стойко: все подписала. Весь их бред. Вообще второй раз — очень тяжело. Очень. Я боялась за ребенка, но увы, напрасно: он родился мертвым. Лагерь в Мордовии. И снова счастье улыбнулось: устроилась в швейную мастерскую. М-да. О лагерях теперь много пишут, есть, конечно, очень правдивые публикации, но, я вам скажу: представить лагерную жизнь невозможно. Поэтому я о лагере не люблю рассказывать. Не потому, что — неудобно, или — больно, нет. Просто это — бессмысленно. Освободили меня осенью 1954-го. Вернулась в Гурьев. Сутки спала. Потом стала собираться в Игарку — к Валентину в лагерь. Тетя купила на базаре балыка, паюсной икры, меда, орехов, напекла булочек. И вот так сидим вечером, укладываем все это в рюкзак, вдруг — стук в дверь. Тетя пошла открывать — и не вернулась. Я крикнула — не отзывается. Встаю, иду. И вижу — они стоят с Валентином обнявшись. Нас, оказывается, в один день освободили... — Александра Олеговна вытерла выступившие слезы, вздохнула и бодро закончила, — а через год у меня родился вот этот молодой человек!

— Да! — покачал головой Штаубе. — Теперь я знаю, в кого Виктор такой целеустремленный.

— Генрих Иванович, вы не знали Витино отца! — погрозила ему пальцем Александра Олеговна. — Не делайте преждевременных выводов!

Все засмеялись.

— Давайте выпьем за семью Ребровых! — Ольга подняла бокал. — Вы все настоящие герои. Я слушала и... просто... не знаю, что сказать. Вы героиня, Александра Олеговна. Дай Бог вам здоровья.

— Спасибо, милая, — старушка выпила вина. — На самом деле таких судеб в России — миллионы. У меня еще все обошлось благополучно.

— Много, много исковерканных жизней, незаконно репрессированных, — вздохнул Штаубе, — но если говорить об НКВД, то там работали не одни подонки. Там были и честные люди.

— Я таковых не встречала, — тихо сказала Александра Олеговна.

— Уже без пятнадцати двенадцать! — выкрикнул Сережа, посмотрев на часы.

— Шампанское! Где шампанское?

— Надо телевизор включить!

— Так быстро!

— Друзья, без паники, без паники! — Ребров встал, подошел к Александре Олеговне. — Мама, у нас для тебя есть подарок, который ты должна успеть получить в уходящем 1990 году.

— Что же это за подарок?

— Это очень серьезно, Александра Олеговна! — Ольга встала. — Надо успеть!

— Без суеты! — Ребров встал позади старушки. — Мама, закрой глаза.

Старушка закрыла глаза. Ольга взяла ее за левую руку, Штаубе за правую. Ребров вынул из кармана удавку, надел петлю на шею Александры Олеговны.

— Чур, без щекотки! — засмеялась она.

— Хоп, — скомандовал Ребров, резко затягивая петлю.

Александра Олеговна беспокойно зашевелилась, захрипела.

— Руки, руки! — пробормотал Ребров.

Ольга и Штаубе крепко держали старушку. Голова ее мелко затряслась, правая нога стала биться о ножку стула. Зазвенела посуда, опрокинулся бокал.

— Держать! — прошептал Ребров.

Удары ноги стали слабеть, Александра Олеговна выпустила газы. По телу прошла дрожь и оно расслабилось. Через пару минут Ребров отпустил удавку.

— 18 и 6, — улыбнулся Сережа, — комки там бумажные на медведей. И булка.

— Взбднулось старушке... — поморщился Штаубе.

Ребров снял удавку. Труп положили на пол.

— Так. Теперь прошу минуту внимания, — выпрямился Ребров. — Во-первых, всем переодеться. Во-вторых, помнить о разделении труда, не мешать друг другу. И в-третьих, господа. От нашей точности, профессионализма, спокойствия в сегодняшнем деле зависит все. Постарайтесь понять это. Пока все идет по плану, мы на верном пути, обстоя-

ательства благоприятствуют нам. Сорваться мы не имеем права. Двинулись.

Они переоделись в белые халаты, надели резиновые перчатки, отволокли труп в просторную ванную комнату и заперлись. Здесь все было готово к работе: инструменты, посуда, приспособления. Труп раздели. Длинные голубые трусы Александры Олеговны были выпачканы свежим калом.

— Не только пукала! — улыбнулся Сережа.

Ребров и Ольга связали ноги трупа и, при помощи Штаубе, подвесили вниз головой на крюке, укрепленном в потолке над ванной. Сережа поставил в ванну десятилитровый бидон. Ребров включил электропилу, отрезал голову трупа, опустил в подставленный Ольгой целлофановый пакет. Кровь из шеи потекла в бидон.

— Ольга, Владимировна, Сережа, — пробормотал Ребров, точнее подставляя бидон, — сожгите одежду и вещи в камине. Документы положите мне на стол. Через полчаса жду вас здесь.

Забрав одежду, Ольга и Сережа вышли.

— Так. Голова, — Ребров повернулся к Штаубе. Тот протянул ему пакет. Ребров вынул голову, положил на эмалированное блюдо, включил электропилу и разрезал голову вдоль. Штаубе взял половину головы, положил на станину пресса, нажал красную кнопку. Пресс заработал и стал медленно давить половину. Штаубе подставил трехлитровый бидон под желоб. Выжатая жидкость стекла в бидон. Ребров стряхнул выжимки в ведро и положил на станину пресса другую половину. Пресс раздавил ее, жидкость стекла в бидон. Ребров стряхнул выжимки в ведро. Через полчаса вошли Ольга и Сережа. Почти вся кровь из трупа стекла в бидон. Ребров взял электронож, отрезал часть ягодицы, передал Ольге, которая сразу же опустила мясо в электромясорубку, которая перемолола мясо в фарш, который упал в заборник соковыжималки, которая отжала из фарша сок, который стек в десятилитровый бидон. Ребров отрезал новый кусок и передал Ольге. Сережа следил за мясорубкой, Штаубе — за соковыжималкой. Менее чем за три часа мясо и внутренности трупа были переработаны. Ребров распилил скелет на небольшие части, из которых Ольга и Штаубе отжали на прессе сок. Когда все было кончено, сок и кровь перелили в тридцатилитровый бак и перенесли его в гостиную. Потом тщательно вымыли ванну, посуду, оборудование и инструменты. Выжимки вывалили в сад под яблони и забросали снегом. Затем все переоделись и собрались в гостиной. Ребров подошел к баку, снял крышку:

— Двадцать восемь литров. Вы оказались правы, Генрих Иванович.

— У меня глаз наметан, — усмехнулся Штаубе, усаживаясь за стол и наливая себе водки.

— Ой, как я устала, — Ольга опустилась на ковер рядом с баком.

— Уже четыре часа? Давайте хоть шампанского выпьем.

— Нужно залить, а потом уже пить шампанское. Сережа! Принеси

чемодан.

Сереза принес коричневый чемодан с металлическими углами, поставил рядом с баком. Ребров отпер маленьким ключом левый замок чемодана и осторожно вынул его: замок оказался массивной резиновой пробкой. Сереза вставил в отверстие широкую воронку, Ребров и Штаубе подняли бак и перелили его содержимое в чемодан.

— Вот так, — Ребров вставил пробку на место и запер, — теперь можно и шампанского...

Штаубе откупорил бутылку, наполнил четыре бокала.

— Первый раз в жизни Новый год не отмечала, — Ольга взяла бокал, посмотрела сквозь него на свечи.

— И я! — Сереза отпил из бокала.

— Поздравляю, друзья, — устало улыбнулся Ребров, — теперь у нас есть жидкая мать.

— И с Новым годом.

— Ура!

Они чокнулись и выпили.

— Кто будет баранину? — спросила Ольга.

Сереза и Штаубе подняли руки.

— А я пожалуй спать пойду, — Ребров потер виски.

— Иди, Витя. Ты бледненький, устало выглядишь.

— Переволновались, поди?

— Да... как-то все вместе. И сердце покалывает, — он взял мандарин, посмотрел на него и положил на место. — Жидкую мать — в малый подвал. И всем спокойной ночи.

Он вышел.

— Ребят, пойдете в каминную, — предложила Ольга, — а то здесь прохладно. На огне баранину согреем, на шкурах поваляемся.

— Идея не плоха, — Штаубе налил шампанского, — только я сперва жидкую мать отнесу.

— Осилите один?

— Я, голубушка, вас могу до вахты донести и обратно! — обиженно воскликнул Штаубе.

— Правда? — улыбнулась Ольга.

Штаубе швырнул в огонь кость, облизал пальцы и потянулся к бутылке с водкой:

— Оленька... еще по одной.

— Мы не против, — Ольга лежала на медвежьей шкуре и ела грушу. Сереза спал на диване укрытый пледом.

— Этих людей тоже надо понять, — Штаубе передал Ольге рюмку, — что ж это — работали честно, перевыполняли план, жили впроголодь, защищали Родину, а потом им говорят: ваша жизнь, балбесы, — ошибка, вы не светлое будущее строили, а хуевый сталинский лагерь, который называется Союз Советских Социалистических Республик! С чем вас,

сбена мать, и поздравляют благодарные потомки!

Он рыгнул, выпил, вытер губы полотенцем.

— Не знаю, — Ольга выпила, откусила от груши, — мне Инка Бесяева рассказывала, как ее с двумя подругами на цековскую дачу возили и чем это кончилось.

— Чем?

— Трупом. Старший тренер «Спартака» по гимнастике взял свою любовницу — Инночку и двух ее подружек. И на дачу к зав. отделом ЦК. Там еще был зам. Тяжелникова и какой-то хуй из ЦК ВЛКСМ. Выпили, закусили, потом в баньку. Стали трахаться. И этот хуй комсомольский захлебнул девчонку спермой. Насмерть. А потом...

— Сриз форпи на ященковое! Есть партаппаратчики, а есть рядовые коммунисты, хули тут неясного! Ельцин же тоже был коммунистом!

— А мне Ельцин не нравится. У него лицо тяжелое какое-то...

— Главное, чтоб человек дело делал. Для честного коммуниста это значит — думать о нуждах народа, помогать налаживать производство, заботиться о неимущих. А для партаппаратчика главное — карьера, власть, подхалимаж! Он, пиздюк, готов начальству в жопу червем вползти и через рот вылезти! Таких надо давить, как гнид. А честный коммунист никому не помеха. Даже собственникам.

— У меня папаша был честным коммунистом, — Ольга размяла папиросу, закурила, — все воевал с партначальством. Два выговора и два инфаркта.

— Или вот говорят: Сталин, Сталин! Злодей и убийца. А то, что он аграрную страну превратил в индустриальную — забыли. Культ личности — это правильно, на хуй это нужно. Но дисциплина нашим разбегаям нужна, как хомут для бешеной лошади! Они без дисциплины вон что творят: убивают, поджигают, рэкетнируют! Он бы им показал — рэкет! Такой бы, блядь, рэкет устроил, что срали бы и ссали со страху без продыха! В Сибири бы на лесосплаве рэкетировали!

— Мой папаша тоже Сталина уважал, но не за индустриализацию, а за Отечественную войну...

— За войну?! Да за это его живьем сварить и собакам выбросить! Он, гад рябой, армию обезглавил, Тухачевского с Якиром расстрелял, пересажал честных командиров! Такую сволочь, как Мехлиса, приблизил!

Позволил немцам в первый день всю авиацию разбомбить на хуй! Ольга вздрогнула, папироса выпала из ее пальцев. Она закрыла лицо руками и всхлипнула.

— Что? Что такое? — наклонился к ней Штаубе.

— Не хочу я... не хочу... жуок... — простонала она.

— Да бросьте вы, — он положил ей руку на плечо, — вам — и бояться?

— Я не боюсь! Я не хочу, чтобы Нина!

Штаубе вздохнул, поднял папиросу и бросил в огонь:

— Ольга Владимировна, Нина человек подготовленный. Соколов-то не лучше, правда?

— Я не хочу... не хочу! — всхлипывала Ольга.

— Жуок не вчера придумали, что ж теперь мучиться? Выпейте-ка лучше, да гоните тоску-печаль. Нам без анестезии нельзя.

Он разлил остатки водки по рюмкам, приложил горлышко бутылки к губам и подул. Бутылка отозвалась протяжным звуком.

Неделя прошла в подготовке к Делу №3. 8 января в 9.12 утра все собрались в кабинете Реброва.

— Попрошу всех перевести часы, — сказал Ребров, — сейчас 11 часов 28 минут.

Он подождал, пока Штаубе, Сережа и Ольга переводили стрелки ручных часов, и продолжил:

— Итак, Дело №3. От его исхода зависит наше будущее. Оступиться мы не имеем права. А также не имеем права на малодушие, нерешительность, непрофессионализм. В 12.10 мы входим в министерство. В 12.30 мы должны выйти из него с готовым результатом. В 12.45 — завод. Дальнейший график времени зависит от обстоятельств. Вопросы есть?

— Можно я понесу? — спросил Сережа.

— Нельзя, — Ребров встал. — Ну, двинулись.

— С Богом, — пробормотал Штаубе.

Они спустились вниз, оделись и вышли из дома.

— Опять подтаяло, — Ольга сощурилась на тусклое солнце.

— Щас бы пухляка закатать, — сказал Сережа.

— Пухляки... все впереди... — рассеянно произнес Штаубе.

Они сели в машину и поехали. В 12.02 Ребров свернул с Садового кольца на Малую Бронную, въехал во двор дома №8 и заглушил мотор.

— Генрих Иваныч, вы третий, — сказал Ребров, забирая у Штаубе дипломат.

— Я все прекрасно помню! — раздраженно ответил Штаубе.

— Ну если кто под ногами запутается! — Ольга шлепнула Сережу по шапке. — Дыши ровно, следи за мамой. Убью!

Они вышли из машины, прошли по улице Жолтовского, свернули направо и оказались у здания министерства Специальных Работ. Ребров подошел к массивной двери, потянул за ручку и вошел. Он был одет в серую дубленку, пьжиковую шапку и светло-серый мохеровый шарф; в левой руке он нес черный «дипломат». За ним вошла Ольга в длинном синем дутом пальто, с продолговатой дамской сумкой. Вслед за ней вошел, опираясь на палку, Штаубе в зимней форме полковника Инженерных войск с коричневым портфелем в руке. Сережа следовал за ним в своей обычной одежде. Они прошли тамбур и оказались в большом вестибюле с мраморными колоннами. Справа в застекленном кабинете сидел вахтер, возле широкой парадной лестницы прохаживался милиционер. В вестибюле находилось еще несколько человек.

— Ну, что же ты оробел? — Штаубе повернулся к Сереже. — Ты же про министерство спрашивал? Вот это и есть дедушкино министерство!

Они подошли к вахтеру.

— К Злотникову, — Ребров подал вахтеру Ольгин и свой паспорта. Вахтер выписал два пропуска.

— А мы к Николаю Николаевичу Артамонову по старой дружбе! — Штаубе протянул свой паспорт. — Не успел десять лет назад уйти на пенсию, как все в родном министерстве изменилось. Даже вахта! Была деревянная — стала стеклянная!

Вахтер улыбнулся:

— Мальчик с вами?

— Со мной, суворовец!

Вахтер выписал пропуск, вернул паспорт. Все четверо, не торопясь разделались в гардеробе и прошли мимо милиционера к лифтам. Когда вошли в кабину, Ребров нажал кнопку 2:

— Ольга Владимировна, только после «хоп».

Они вышли на втором этаже и двинулись по широкому, обитому дубом коридору, который заканчивался просторным холлом. Красная ковровая дорожка вела к главной двери:

Министр специальных работ

РАДЧЕНКО

Валерий Павлович

В холле были еще пять дверей:

Первый заместитель министра

МАЗДРИН

Юрий Прокофьевич

Заместитель министра

СМИРНОВ

Николай Игоревич

Заместитель министра

ШУШАНИЯ

Георгий Автандилович

Заместитель министра

НИКУЛИН

Виктор Николаевич

Заместитель министра

БОДРЯГИН

Михаил Михайлович

Ребров подошел к двери кабинета Никулина, открыл и вошел первым. В приемной сидела секретарша.

— Здравствуйте, — громко произнес Ребров.

— Здравствуйте, — ответила секретарша.

Штаубе, Ольга и Сережа тоже вошли.

— Виктор Николаевич у себя?

— Вам назначено? — смотрела на них секретарша.

Штаубе улыбнулся:

— Голубушка, старым друзьям не назначают. Их приглашают в гости.

— Все ясно, — улыбнулась она, снимая трубку телефона, — а как доложить?

— Доложите «хоп», — сказал Ребров, отступая в сторону. Ольга вынула из сумки свой пистолет с глушителем и дважды выстрелила в голову секретарши. Секретарша откинулась в кресле. Ребров взял из ее руки трубку, положил на рычажки, выдвинул средний ящик стола, нашел ключи, бросил Штаубе. Штаубе запер на ключ входную дверь. Ребров вошел в кабинет помощника замминистра. В кабинете сидели помощник и машинистка.

— Здравствуйте, товарищи. Хоп, — проговорил Ребров и шагнул в сторону. Ольга быстро выстрелила в головы сидящих. Помощник схватился руками за лицо, встал и упал на пол. Машинистка со стоном сползла со стула. Ольга подбежала к ним и выстрелила. Ребров вышел в приемную:

— Присмотр и давление.

Штаубе открыл дверь главного кабинета, пропуская Реброва. Ребров вошел. Никулин сидел за столом и что-то диктовал сидящей напротив стенографистке.

— Здравствуйте, Виктор Николаевич. Хоп по ней, — громко произнес Ребров. Ольга дважды выстрелила в голову стенографистки. Стенографистка вскрикнула и упала головой на стол. Никулин смотрел на стенографистку.

— Виктор Николаевич, позвоните Колосову, скажите, чтобы водитель Якушев немедленно поднялся в приемную к министру, — проговорил Ребров.

Никулин смотрел на стенографистку. Кровь из разможенной головы текла на стол.

— Вы поняли, что я сказал?

Никулин посмотрел на Реброва. Ольга навела на него пистолет.

— Звони, еби твою! — процедил Штаубе. — Мы ждать не будем!

Никулин снял трубку, нажал кнопку селектора:

— Борис... Борис Ильич. Да. Тут... это. Найди Якушева, водителя. Пусть он к Валерию Пальгчу поднимется. Да. Срочно. Да.

Он положил трубку.

— Теперь минуту внимания, — Ребров в упор взглянул в глаза Никулину, — сейчас вы пойдете с нами к Радченко и поможете в одном несложном деле. Оно займет не более 15 минут. Ваша жизнь зависит

от его благополучного исхода. Для этого от вас, Виктор Николаевич, требуется совсем немного: полное повиновение, адекватность ситуации и легкое умственное напряжение. Вы поняли? Никулин смотрел на него.

— Вы поняли? — повторил Ребров. Ольга приставила дуло ко лбу Никулина.

— А вот... это не надо, — отстранился Никулин, — я понял.

— Двинулись, — выпрямился Ребров.

Никулин выбрался из-за стола, пошел к двери.

— Войдите первым. Держитесь естественной.

Ольга сменила обойму, сунула пистолет в сумочку. Они вышли в холл, Штаубе запер дверь, отдал ключи Сереже. Из кабинета Смирнова вышли двое и, переговариваясь, покинули холл. Никулин вошел в приемную министра. Ребров, Штаубе, Ольга и Сережа вошли за ним. В приемной сидели помощник министра, секретарша и посетитель.

— Здравствуйте, — вяло произнес Никулин.

— Хоп, — Ребров оттолкнул Никулина в сторону. Ольга выстрелила по головам сидящих. Штаубе запер входную дверь. Ребров кивнул на дверь с табличкой РЕФЕРЕНТ. Никулин перешагнул через ноги посетителя, приблизился к двери.

— Стоп. Сколько там человек?

— Пять... нет... семь, — Никулин смотрел на табличку.

— Откройте дверь и попросите троих выйти сюда.

Никулин взялся за ручку двери, потянул, приоткрыл:

— Петр... Сергеич, можно вас попросить... на минуту... и переводчиков тоже...

— А сам отвали, — пробормотала Ольга, становясь за дверь. Никулин отошел к столу помощника. Едва референт вошел, Ольга выстрелила ему в висок, прыгнула вправо и выстрелила в головы следующих за референтом переводчиков. Оттолкнул падающих, она вбежала в кабинет референта и открыла беглый огонь по оставшимся четырём сотрудникам. Один из них успел вскрикнуть. Ольга сменила обойму, добила дергающуюся машинистку и вышла.

— Вперед! — кивнул Ребров Никулину.

Никулин вошел в кабинет министра, отделенный от приемной двумя массивными дубовыми дверями. Вслед за Никулиным вошли Ольга, Ребров и Штаубе. Радченко говорил по телефону, сидя за огромным столом красного дерева.

— В чем дело? — спросил он, прикрыв трубку ладонью. — Почему без доклада?

— Валерий... Павлович... это... — произнес бледный Никулин и упал на колени. Его вырвало на ковер. Ольга трижды выстрелила в один из шести телефонов министра.

— Что? Что? Что?! — бросив трубку, Радченко стал приподниматься из кожаного кресла.

— Спокойно, Валерий Палыч, — сказал Ребров, кивнув Штаубе, — сейчас товарищ полковник все разъяснит.

Оставив портфель на ковре, Штаубе подошел к Радченко, вынул из кармана кителя кастет с двумя рядами стальных шипов и ударил министра по лицу. Радченко упал в кресло, схватился руками за лицо.

— Где фундаменты? — Штаубе прислонил палку к столу и присел на край. — Орел или Красноярск?

— Терехова, — пробормотал Никулин, вытирая рот.

— Хоп, — кивнул Ребров на Никулина. Ольга выстрелила ему в затылок.

Орел или Красноярск? — наклонился Штаубе к сопящему Радченко и ударил его кастетом по прижатым к лицу рукам.

— Орел... Орел... — простонал Радченко.

Из приемной выбежал Сережа:

— Там стучат!

— Это Якушев! — Ребров с Ольгой выбежали и вернулись с Якушевым и Леонтьевым. Якушев злобно толкнул Леонтьева, тот упал, приподнялся и стал раздеваться трясущимися руками.

— Карта в спецхране? — спросил Штаубе.

Радченко слабо кивнул. Зазвонил телефон.

— Это говно в ноябре еще... гад! — Якушев пнул Леонтьева.

— Сколько километров от Красноярска? — Штаубе убрал кастет в карман, слез со стола.

— Семьдесят... — произнес Радченко.

— Какое направление?

— Запад... западное...

— Ориентиры?

— Я... там не был... не помню без карты... — всхлипнул Радченко, — не надо только... убивать...

— Ну что там рядом? — Ребров раскрыл «дипломат». — Река? Деревня?

— Так там это на Чулыме, ну, когда Ачинск проедешь, станция Козулька, — быстро забормотал голый Леонтьев, — а потом направо и километров, ну, полста и Чулым начнется, и по Чулыму немного и через сопку там...

— А Терехов? — Ребров вынул из «дипломата» электронож, поискал глазами розетку.

— Терехов... — пожал плечами Леонтьев и облизнул пересохшие губы. Плачущий Радченко открыл свое окровавленное лицо:

— Терех... хов... Терехов уже... уже...

Ребров и Штаубе переглянулись.

— Ах, еби твою! — радостно хлопнул в ладоши Штаубе.

— Хоп, — командовал Ребров, втыкая штепсель в розетку. Ольга выстрелила в голову Леонтьева, он упал на ковер. Ребров и Штаубе перевернули его на спину и Ребров стал вырезать электроножом часть

груди.

— Когда мне доложили... я не поверил... — всхлипывал Радченко, вытирая лицо рукавом, — я был уверен... что это просто провокация. Наглая... провокация...

— Время? — Ребров опустил вырезанный кусок в подставленный Штаубе целлофановый пакет.

— 30, — Ольга взглянула на часы.

— Быстро! — Ребров уложил пакет в «дипломат», Штаубе вынул из своего портфеля папку с документами, раскрыл перед Радченко, протянул ручку:

— Давай.

Радченко подписал.

— Да не капай ты, мудака! — Штаубе оттолкнул его голову и промокнул пресс-папье две упавшие на документ капли крови.

— Быстро, быстро! — Ребров ждал с протянутой рукой. Штаубе передал ему папку, Ребров убрал ее в «дипломат»:

— Хоп, хоп.

Ольга выстрелила в голову Радченко.

— Паридное? — спросил Якушев.

— Ни в коем случае, — на ходу ответил Ребров.

Они прошли в комнату отдыха министра, открыли дверь и по лестнице спустились во внутренний двор министерства. Здесь стояли десятка два машин. Они сели в черный ЗИЛ-110, Якушев завел мотор.

— Перегрузил быстро? — спросил Ребров.

— Сразу после вас, — Якушев завел машину, подъехал к воротам и посигналил. Ворота стали медленно отворяться.

— Время, время! — дернулся Ребров.

— Успеваем, — Штаубе плонул на испачканную кровью руку и стал вытирать ее платком. Они выехали на Малую Бронную, свернули на Садовое, доехали до площади Маяковского и повернули на улицу Горького.

— Генрих Иваныч, дайте мне ваш сегмент, — не оборачиваясь, попросил Ребров.

Штаубе вынул из кармана кителя сегмент и передал. Ребров приложил свой сегмент к сегменту Штаубе, нажал, соединяя замки. Красные шкалы совпали на 8, 3, черные на 8, 7. Ребров взглянул на часы, посчитал на микрокалькуляторе, сдвинул сегментные зубцы:

— 27, 10, 6.

— Ну и слава Богу! — Штаубе забрал у него сегмент. — Вы всегда хотите прямо... что-то идеальное!

— Идеального нам не видеть, как своих ушей! — раздраженного вздохнул Ребров.

— Побойтесь Бога, Виктор Валентиныч!

— Витя, а там поддержка потребуется? — расстегнув жакет, Ольга засовывала в патронташ новые обоймы.

— Нет.

— С Сергеевым осторожней, — сказал Якушев, — он мог с Леонтьевым в Уренгое снюхаться. И Павлов тоже.

— Мне по шет? — Сережа вертел кубик Рубика.

— Да, да. И держись попроще.

В 12.49 они подъехали к главным воротам завода «Борец». Якушев дал сигнал. Вахтер выплянул в окошко и скрылся. Ворота поехали в сторону.

— Если Шагин отвертелся — ты поведешь, — сказал Ребров Якушеву.

— А ЗИЛ?

— Я сам.

Машина въехала на территорию завода и остановилась возле литейного цеха. Не успели они выйти из машины, как к ним подошли Сергеев, Бармин и Хлебников.

— Здравствуйте, товарищи! — бодро произнес Сергеев.

— Здравсьте, — сухо кивнул Ребров и, не подав руки, направился ко входу.

— А что же... вы так одеты легко? — неловко улыбаясь, Сергеев помог Штаубе вылезти из машины. — Так и простудиться недолго...

— Ничего, щас согреемся, — не взглянул на него, Штаубе захромал за Ребровым.

Ольга обняла Сережу и они прошли мимо встречавших. Опредив Реброва, Бармин открыл дверь. Ребров, Штаубе, Ольга и Сережа вошли в широкий грязный коридор, миновали тамбур и оказались в литейном цеху, большую часть которого занимала дуговая электросталеплавильная печь, возле которой сустились человек десять рабочих. Еще человек пятнадцать стояли возле двухметровой опоки. Сунув руки в карманы брюк, Ребров посмотрел на печь, повернулся к Сергееву:

— Докладывайте.

Сергеев кашлянул.

— Значит, Леонид Яковлевич, вчера в 12.45 мы получили 280 коробок игл для одноразовых шприцов западногерманской фирмы «Браун». По 22000 игл в каждой коробке. Общее количество полученных игл составило 6160000. Сразу же нами были организованы распечатывание и загрузка игл в ванну печи. Загрузка велась непрерывно в три смены и была завершена сегодня к 9.40. А в 10.00 печь была пущена. В данный момент все готово к отливке.

Ребров взглянул на часы:

— Покажите образец иглы.

— Пантелеев! — крикнул Хлебников.

Молодой рабочий поднес пустую картонную коробку с наклейками «Braun» и «всесоюзный Детский фонд им. В.И.Ленина». На дне коробки лежала упакованная игла. Ребров взял ее, распечатал упаковку, снял пластмассовый колпачок, посмотрел, потом бросил в коробку:

— Приступайте.

Сергеев махнул рукой оператору. Заработал мотор, печь стала медленно наклоняться. Вновь прибывшим раздали каски с защитными темными стеклами.

— Щас железо потечет? — спросил Сережа у седоусого рабочего, помогающего ему надеть каску.

— Потечет! — усмехнулся рабочий. — Только не железо, а сталь!

— А сталь лучше железа?

— Лучше! — рабочий положил руку на плечо Сережи. — Смотри! Раздалась команда по радио, послышался удар, и сталь хлынула в ковш.

— Во здорово! — закричал Сережа.

— Хочешь быть сталеваром? — наклонился к нему рабочий.

— Хочу!

Когда вся сталь вытекла, ковш подъехал к опоке и началась отливка.

— Когда будет готова? — спросил Ребров, снимая каску.

— Часов через десять, — Сергеев взял у него каску.

Ребров кивнул, повернулся к Хлебникову:

— Так, товарищ секретарь. Теперь пойдем с тобой разбираться.

Они вышли из цеха, поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в большой кабинет секретаря парткома. Сидящий за столом Павлов встал, подошел к Реброву. Ребров молча подал ему руку, повернулся к Сергееву:

— Заприте дверь и опустите шторы.

Хохлов запер дверь, Бармин опустил шторы. Сергеев сел за свой рабочий стол, Ребров, Штаубе, Ольга, Сережа, Бармин, Хлебников, Хохлов, Павлов, Козлов, Гельман и Вырин разместились за длинным столом для заседаний. Штаубе открыл портфель, достал конверт и передал Сергееву. Сергеев взял конверт, вынул из него пачку долларов:

— 3?

— 3500, — ответил Штаубе.

— Деловые! — усмехнулся Сергеев, убирая деньги в стол.

— Иван Иванович, я убедительно прошу вас не опоздать, — сказал Ребров.

— Успеется, — Сергеев посмотрел на часы, — давай-ка сперва твоего архаровца заслушаем.

Все посмотрели на Сережу.

— Вставай, друг ситный, — Сергеев снял очки, стал протирать их платком, — расскажи нам о своих похождениях.

Сережа встал и, опустив голову, заговорил:

— Ну я сразу после звонка поехал. Электричкой. До Вишняков доехал, а там автобусом. До этой... до водокачки.

— До бойлерной, — подсказал Ребров.

— Ага. А там улицу нашел, пошел и дом номер семь нашел. Потом постучал и вошел. А там тетенька открыла. А я сказал: я от Афанасия

Федоровича. А она говорит: проходи. А там еще дяденька был и старенькая такая бабушка. Она там это, ну, все время плакала. И так вот руками все делала...

— Короче, — Сергеев надел очки.

— Ну а потом я сумку им дал. Тетеньке. А он у нее отнял. И говорит: пошли под землю.

— Куда?

— Ну это там такой подвал у них. Мы туда спустились. А там баня и бассейн. И комнаты разные. И там был дяденька такой...

— Горбатый?

— Ага. И у него еще нос такой, ну...

— Перебитый.

— Ага. И там еще две тетеньки были. А тот первый дяденька дал сумку этому горбатуму. А горбатый вынул баттик из сумки и надел на талпык.

— Что, он талпык заранее приготовил? — Сергеев посмотрел на Штаубе. Штаубе опустил глаза.

— Ага, заранее. Он на столе лежал. Ну и рычаг перевел и потекло в стакан. А тетенька держала. А потом они проверили на шар.

— И сколько?

— 7,8.

Сергеев вздохнул:

— Ну, ну. Дальше.

— А потом горбатый стал бить того первого дяденьку. А дяденька встал на колени и говорит: это Пастухов. А тетенька первая тоже на колени встала. А потом они меня бить стали. И спрашивали про Пастухова и про тот... про лабораторию.

— А ты?

— Ну я... плакал.

— А что ты им сказал? — спросил Павлов.

— Я сказал, что Пастухов уехал, а пробы готовил Самсиков. А они меня раздели и стали топить в бассейне. И тетеньки помогали. И я это... ну... я сказал.

— Про Пастухова?

Сережа кивнул. Присутствующие неодобрительно зашевелились.

— Эмоции после, — Сергеев глянул на часы. — Ну? Заложил ты, значит, Пастухова, и потом?

— А потом они меня одели, он деньги пересчитал, положил в сумку. А тетенька та — первая, ромб завернула в такую, ну, специальную бумажку, и тоже в сумку мне положила. А потом горбатый говорит: вот тебе леденец на дорогу. И заставил меня это... ну... переднее место у него сосать...

Сережа замолчал.

— Понятно, понятно, — Сергеев снова взглянул на часы, — заложил Пастухова, пососал переднее место, взял сумочку и поехал. Садись.

Женя! Пойди, пожалуйста, скажи чтобы начали разбивать опоку. Только поаккуратней.

Хозлов быстро вылез из-за стола и вышел.

— В общем так, друзья, — Сергеев хлопнул ладонями по столу, — наш бизнес закончен. Никаких дел с вами больше иметь мы не-же-лаем. Сегодня же я звоню Пастухову, и сегодня же, прямо сейчас, после того, как вы отсюда уберетесь, я распоряжусь о закрытии северного. Все! — он встал.

— Иван Иванович, но мы компенсируем, мы... — начал Ребров.

— Все! Все! — махнул рукой Сергеев, направляясь к выходу. — Забирайте отливку и убирайтесь.

Он вышел, члены заводской администрации стали выходить следом. Штаубе ударил Сережу по щеке. Сережа заплакал.

— А вот это уж лишнее, — покачал головой Павлов. — Легче всего — выпороть ребенка. Кто это сказал, не помните? Горький.

Все вернулись в цех. Шестеро рабочих разбивали кувалдами опоку, установленную на стальной платформе. Вскоре опока треснула и развалилась на куски, обнажив раскаленную, яркокрасную отливку.

— Докладывайте, — сказал Ребров.

— Значит, — кашлянул Сергеев, — силами нашего предприятия и при помощи сотрудников Государственного Зоологического музея была произведена отливка из нержавеющей стали по форме увеличенной в 10000 раз личинки чесоточного клеща. Вес отливки: 1800 кг.

Сергеев кивнул Козлову, он развернул бумажку, стал читать:

— Чесоточный клещ (*Asarus sige*). Самки 0,3 мм длиной, тело округлое, с короткими ногами, покровы кожистые, бороздчатые. Самец вдвое меньше. Самка питается кожей, прогрызая в ее роговом слое извилистые ходы до 15 мм длиной, которые различаются через поверхность кожи в виде сероватых линий. Яйца 0,1 мм откладываются в ходах, над ними самка обычно выгрызает вентиляционные отверстия. Вылупившаяся из яйца личинка лишена половых признаков и трех последних сегментов брюшка, все шесть ног ее недоразвиты. Личинка развивается во взрослого клеща в две стадии, становясь сначала протонимфой, затем телеонимфой. Личинки и протонимфы живут в ходах, питаются остатками изгрызенной самкой кожи и тканевой жидкостью. Сами они ходов не прогрызают. Протонимфы превращаются в телеонимф, которые выползают на поверхность кожи обычно ночью, когда больной спит. Здесь часть их превращается в самцов, которые спариваются с женскими телеонимфами — будущими самками. Оплодотворенные телеонимфы вгрызаются в кожу и превращаются в самок. Самцы проводят...

— Достаточно, — прервал его Ребров. — Давайте грузить.

Сергеев махнул рукой, платформа, подцепленная краном, стала подниматься. Рабочие уже успели убрать куски опоки и срезать с отливки литники, прикрывшись от жара щитами.

— Леонид Яковлевич, только тут с шофером неприятность случилась, я вам забыл сказать, — озабоченно нахмурился Сергеев.

— Что такое?

— Они машину еще давно прислали, а шоферу вдруг плохо стало: рвота, чуть сознание не потерял. Сказал, утром консервы ел. Ну, мы скорую вызвали. А вас кто-нибудь из наших повезет — Белкин или Саша Егоров.

— У нас свой шофер найдется, — Ребров двинулся вперед, к раскрывающимся воротам цеха.

— Как хотите, — злобно пробормотал Сергеев.

Кран вынес платформу из цеха и она повисла над кузовом грузовика.

— Майна! — крикнул усатый рабочий и платформу опустили в кузов.

К Реброву подошел Якушев.

— Поведешь МАЗ. Товарищ полковник дорогу покажет, — сказал Ребров. Якушев кивнул и полез в кабину. Штаубе сел с ним.

Ребров подошел к ЗИЛу и сел за руль. Ольга и Сережа сели сзади.

— А как же... — нахмурился побагровевший Сергеев.

— Вот так, товарищ Сергеев, — Ребров опустил стекло, — ты думаешь, я всю жизнь в кабинете просидел?

Хохлов дважды подмигнул Реброву. Ребров завел мотор, резко развернул машину и повел к воротам, сигнала. МАЗ тронулся следом.

— Поддержка, знедо по девятке, Сереже взять соф, — не оборачиваясь сказал Ребров.

Ворота окрылись, Ребров свернул налево и резко прибавил скорость.

— Ну что, прав я оказался? — усмехнулся Якушев, выезжая из ворот.

— Засранцы пастуховские! — засмеялся Штаубе. — Все замазаны! И Павлов, и Сергеев, и Толстожопый! Ну и мудаки! Свет таких не видывал!

— Теперь понятно, почему Радченко сдал в спецхран.

— Ну, козлы! Ну, мудилы! — смеялся Штаубе. — Бармин клялся-божился, что Лебедев в Уренгой не сунется! А с шофером! Дуболомы!

В 14.02 МАЗ подъехал к «Универсаму» на Голубинской улице. Огромная толпа шумно втискивалась в только что открытые двери магазина.

— Внимание, товарищи! — раздался голос в мегафоне. — Повторяю! Продуктовые посылки буду выдаваться при предъявлении двух документов: удостоверения участника войны — раз! талона Черемушкинского райисполкома — два! При отсутствии одного из этих документов посылка выдаваться не будет!

— Что это они с опозданием... — зевнул Штаубе.

— Как всегда, — Якушев объехал толпу, развернулся и стал задом подъезжать к воротам внутреннего двора магазина.

— Откуда посылки-то? — Штаубе вынул сегмент, сдвинул зубцы на

2 пункта.

— ФРГ. Хотели к Рождеству, а потом почему-то перенесли.

— Еще бы им не перенести! — усмехнулся Штаубе.

Якушев трижды посягнул, ворота открыли. Весь внутренний двор «Универсама» был заполнен людьми, которые расступились, пропуская грузовик. МАЗ осторожно въехал и остановился перед кучей из кусков сливочного масла.

— Давай сразу! — сказал Штаубе Якушеву, вылез из кабины и двинулся через толпу.

Кузов МАЗа стал подниматься. К Штаубе подошли две сорокапятiletние женщины, близнецы Маша и Марина, одетые в одинаковые серые ватники, синие платки и резиновые сапоги. Обе держали на тарелках по стакану с прозрачной жидкостью. Штаубе посмотрел в глаза женщин, взял стакан с тарелки Марины, стал подносить к губам и вдруг выплеснул в лицо Маши. Маша дико закричала и, схватившись за лицо, упала ничком.

— Вот так, вот так! — Штаубе бросил стакан на грязный снег, поднял другой и понюхал.

— И еще на курву, — прохрипел полный мужик, склоняясь над Машей с трехлитровой бутылью. Кто-то выгнул резиновую пробку, дымящаяся кислота потекла на голову Маши. Марину ударили железной трубой по голове, она упала рядом с Машей.

— Вот так, вот так! — Штаубе плюнул в стакан и с силой бросил его в лицо близстоящего человека. Человек схватился за лицо и отвернулся. В это время багрово-красная, окутанная паром отливка съехала с кузова в кучу масла и с шипением стала погружаться в нее. — Вот так, вот так! — Штаубе сделал рукой сложное движение.

Одиннадцать человек подняли квадратную бетонную плиту и положили на Машу и Марину. Шестнадцать человек поднесли и поставили на плиту массивный негоряемый шкаф. Штаубе подсадили, он влез на шкаф, выпрямился, опираясь на палку. Все стихли. Штаубе вынул из кармана кителя бумажку, развернул, посмотрел, потом скомкал и бросил.

— Вот так, — устало произнес он, опершись обеими руками на палку, — на одной ноге, с подпоркой... Знаете, нам трудно представить современную жизнь без резины, без каучука. Мы носим прорезиненные плащи и резиновые галоши, пользуемся резиновыми штангами и прорезиненными водолазными костюмами. Без каучука не могут существовать автомобильный транспорт, авиация, электротехника, машиностроение. Каучук — это шины, изоляция проводов, баллоны аэростатов, тысячи, тысячи незаменимых вещей. С другой стороны — многолик мир синтетических смол. И, пожалуй, одни из самых удивительных среди них — ионообменные смолы, или просто иониты... — он помолчал, сосредоточенно нахмурившись, провел рукой по лицу. — Кто из нас, стоя у карты, не мечтал: хорошо бы поехать на Кавказ, в Арктику,

в Антарктиду, в пустыню Каракум, или, например, в Кельн. Конечно, это очень интересно. Но познакомьтесь с биографиями великих путешественников и вы узнаете, что они задолго до дальних экспедиций много путешествовали по своим местам. В родном краю, в котором на первый взгляд все известно, всегда окажется много нового и интересного для исследователя. Главное в путешествии — это умение видеть и наблюдать. Например, здесь неподалеку на столбе у автобусной остановки висит объявление: «Молодая семья снимет квартиру за хорошую плату. Порядок и чистоту гарантируем. Телефон: 145 18 06». И я вспомнил Дмитрия Ивановича Менделеева. Органическая геология — удивительная наука. Она скромная, скромнейшая труженица. Или генерал-лейтенант Карбышев. Отважного советского генерала фашистские звери пытали в застенках многих концлагерей. В ночь на 18 февраля 1945 года фашисты вывели его во двор тюрьмы в лагере Маутхаузен и при двенадцатиградусном морозе обливали холодной водой до тех пор, пока тело советского патриота не превратилось в глыбу льда. Или поздний триас, брахиоподы, коммунистический инвентарный номер... как, собственно, и то, что по мере приближения температуры любого тела к абсолютному нулю изменение его энтропии, при изменении его любого свойства, тоже стремится к нулю. Но... нет!!! Нет!!! Не-е-ст! Ебаны! Не-ет! Она хлюпала! Пиздой своей вонючей! Когда варили живьем ее троих детей! Живьем! Так полагают измененное? Нет?! Я спрашиваю вас! Так полагают про общее? Про сваренных детей?! Про ебаную? Как? Не слышали? Антонина Львовна Мандавошина! Трясла мандой сначала под Харьковом! Потом на Волоколамском направлении! Потом в столице нашей Родины городе-герое Москве! Жевала говно лет двадцать в комитете блядских, ссанных, сраных, хуесосовых советских матерей-дочерей! Трижды тридцать три раза распробованных! Задроченых до крови! Она показывала свою кислую, лохматую, червивую пизду! Медали, блядь! Ордена! Звания и заслуги! Почет, блядь! Уважение! Да я срал и ссал на твой горб! Я срал и ссал на твои сисяры потные! Я срал, ебал и ссал на мать твою, мокрожопую! Я срал и ссал на медали! Я срал и ссал на орден! Я срал на вареных детей! Я срал! Я срал! Сра-а-а! Сра-а-а-а!!! — он закрыл рукой свое побледневшее лицо, помолчал, пожал плечами и заговорил вполголоса. — Его я тоже не понимаю. Совершенно. Ну, правда, епггэть, договорились с хозяевами, заплатили главному архитектору, заплатили сестре, выставили ванную в кухню, она позвала детей, Нине 9 лет, Саше 7, Алеше 3, напоили их кагором, вымыли, обрили, он их забил, потом выпотрошили, порубили и варили шесть часов, к утру было готово, он принес те самые солдатские миски и стали разливать, разливать, разливали часа два, триста семнадцать мисок, на доски поставили на веранде, легли спать, а в час он позвонил в часть и вот на ужин прислали две роты новобранцев, и я подумал, если она говорит, что он их забил, а он говорит, что живьем варил, значит он — говноборок! Говноборок! Говноборок! Говноборок! Хуило!

Так бор нет? Хуило! Так бор нет? Хуило! Так бор нет? Хуило! Так бор нет? Хуило! Хуило!

Он прыгнул вниз на снег. Его подхватили, помогли встать. Штаубе вытер вспотевшее лицо платком:

— Стол.

Принесли стол, накрыли белой скатертью.

— Ключ.

Подошла старушка, развязала узелок, вынула и передала ключ. Штаубе отпер несгораемый шкаф:

— Вынимайте, кладите на стол.

Из шкафа вынули верхнюю половину распиленного трупа мужчины и положили на стол.

— В бараке его прозвали Гундосом, — заговорил Штаубе, глядясь в бледное лицо трупа, — всю жизнь он страдал тяжелой формой гайморита. Стамеску мне и молоток.

Ему передали узкую стамеску и деревянный молоток. Несколькими ударами Штаубе вскрыл гайморовы полости на лице трупа. Из пробоин медленно потек зеленоватый гной.

— Левая и правый! — громко сказал Штаубе. Слева к столу подошла девушка, справа подошел юноша. Они быстро разделись догола. Наклонившись над трупом, Штаубе высосал гной из левой гайморовой полости, подошел к девушке, прижался губами к ее губам и выпустил гной из своего рта ей в рот. Затем он высосал гной из правой гайморовой полости трупа, подошел к юноше и выпустил гной ему в рот.

— Передавайте, — сказал Штаубе и пошел сквозь толпу к служебному входу. Две очереди стали выстраиваться к юноше и девушке. У служебного входа стояли грузчик и продавщица. Расступившись, они пропустили Штаубе в полутемный коридор. Ребров протянул ему бутылку с раствором марганцово-кислого калия. Штаубе схватил бутылку, отхлебнул, тщательно прополоскал рот и выплюнул.

— Веревки не выбрали, — сказал Ребров.

— Я не Олег Попов! — раздраженно ответил Штаубе и, полоща рот, двинулся по коридору.

— Я предупреждал, — Ребров пошел за ним, разминая папиросу.

Продавщица и грузчик заперли дверь на задвижку.

— Направо, Генрих Иванович, — подсказал Ребров, и они вошли в помещение, уставленное бочками с соленьями. В углу над двумя раскрытыми посылками сидели, закусывая, Ольга, Сережа и Якушев.

— Блядь! — Штаубе швырнул бутылку в угол. — Весь рот себе сжег...

Он сбросил камень с крышки бочки, двинул крышку, зачерпнул в пригоршню капустного рассола и жадно выпил. Продавщица заперла дверь и опустила на колени. Грузчик растянул ватник, задрал гряз-

ный свитер. На его животе и груди были следы недавно заживших ожогов. Продавщица всхлинула и беззвучно заплакала.

— Да... антипоследнее... — Штаубе взял у Сережи надкусанный батон салами, откусил.

— Что теперь показывать, — усмехнулся Якушев, жуя галету.

— Одежда? — спросил Ребров у продавщицы. Она показала на деревянный ящик в углу.

— Генрих Иванович, займитесь одеждой, — Ребров дал грузчику 100 долларов, вынул из бумажника дестнитку, встал на колени перед продавщицей, надел одну петлю на два ее передних верхних зуба, другую петлю — на два передних верхних своих. Сережа подошел, завел шарие и осторожно опустил на еле заметную дестнитку. Шарие покатились по дестнитке, слабо жужжа.

— Ахаран, ахаран, ахаран, — произнес Ребров, не двигая зубами.

— Хатара, хатара, хатара, — ответила продавщица. Шарие подкатилась к ее губе, затем двинулась назад к губе Реброва. Штаубе вынул из ящика ворох одежды, снял с себя форму полковника и переоделся в свитер и шерстяные брюки.

— Агаках, агаках, агаках, — произнес Ребров.

— Ханака, ханака, ханака, — ответила продавщица. Шарие подкатилась к середине дестнитки, затем двинулась к губе продавщицы. Штаубе надел полушубок, валенок и шапку-ушанку. Дверной замок слабо щелкнул, дверь распахнулась, отбросив продавщицу. В помещение ворвались четверо с автоматами, в бронежилетах:

— КГБ! Всем лежать!

Ребров, грузчик, Якушев и продавщица повалились на пол. Штаубе поднял руки вверх.

— На пол! — его толкнули, он упал, оттопырив ногу.

Ольга пришла к себе Сережу, ущипнув его:

— Милые! Милые! Они украли нас с сыном! Они мучили нас! Господи!

— Мамочка! Мамочка! — зарыдал Сережа, обняв ее за шею.

Вошли еще двое с пистолетами и наручниками.

— Арестуйте, свяжите их скорее! Скорее! — рыдала Ольга, заслоня Сережей сумку. — Там еще трое! В кабинете товаровед! Они пошли пить! Скорее!

— Успеем, — спокойно произнес человек в кожаной куртке, с пистолетом, — только сначала отпусти сопляка. Ты ему такая же мама, как я папа. Считаю до одного.

Сережа отошел в сторону.

— А теперь — на пол, руки за голову.

Ольга легла на мокрый от рассола пол. Всем, кроме Сережи, надели наручники.

— Новиков со мной, остальные к товароведу, — приказал человек в кожаной куртке. Один автоматчик остался с ним, остальные вышли.

— Иглы, что ли? — человек в кожаной куртке кивнул на ящик с одеждой. Автоматчик повернулся к ящику, человек в кожаной куртке выстрелил ему в затылок.

Автоматчик упал. В коридоре раздалась длинная автоматная очередь.

— Ага, — человек в кожаной куртке навел пистолет на дверь.

— Полет, — раздалось за дверью.

— Союз, — ответил он, впуская автоматчика. — Ну?

— Есть такое дело! — нервно улыбнулся автоматчик и дал очередь ему в лицо. Кровавые ключья брызнули на стену, человек в кожаной куртке упал, успев выстрелить. Автоматчик выгашил из кармана его куртки ключ, подмигнул Сереже:

— Шас сделаем... Где ваши?

Сережа показал на Реброва, Ольгу и Штаубе. Автоматчик кинул ключ Сереже и тремя короткими очередями пристрелил Якушева, грузчика и продавщицу.

— Зачем Галю?! — Ольга приподнялась на колени. — Патроны девать некуда? Мудак! Тьфу! — она плюнула в автоматчика.

— Уходите через зал, на заднем и в винном все обложено, — пробормотал автоматчик, сменил рожок и выбежал. Сережа снял с Ольги наручники, вдвоем они освободили Реброва и Штаубе. Из пробитой бочки тек капустный сок, шарие каталась по полу, мягко жужжа.

— Ой... не могу, простите... — Штаубе шагнул в угол, расстегнул брюки и присел, подхватив полы полушубка. Его прослабило. Ребров поднял шарие, снял с зубов продавщицы дестнитку:

— Тогда быстро.

— Какой гад! — Ольга вынула пистолет из сумки, сунула за пояс, запахнула шубу. — Вот вам и Злотников!

— Злотников пашет на Пастухова, — Штаубе палкой поддел слетевшую с головы грузчика вязаную шапочку, подтерся ей. — Один говнюк напиздел, а другие поверили...

— Быстро! Быстро! — Ребров выглянул за дверь. Штаубе подтянул штаны, захромал к двери. Они вышли и двинулись по коридору. Возле кабинета товароведа лежали убитые автоматчики и человек в штатском. Чуть поодаль лежала полная продавщица в белом халате со страшной рубленой раной в пол-лица; ее пальцы сжимали кусок арматуры, ноги в войлочных ботинках слабо подрагивали, подплывая мочой. Возле двери в зал стояли автоматчик и молодая продавщица с окровавленным топором в руке.

— Давайте, пока они не прочухались, — автоматчик оттянул дверную задвижку. Ольга плюнула ему в лицо.

— Дура! — засмеялся он, вытираясь. Продавщица зло посмотрела на Ольгу, открыла дверь. Ребров, Ольга, Штаубе и Сережа вошли в зал. Здесь было много народа: выстроившись в три длинные очереди, участники войны получали посылки гуманитарной помощи. Слева у прилавков дрались, слышались крики женщин и мужская брань; у стены

лежала женщина, дружинник и милиционер подносили ей нашатырь; у выхода шел обмен продуктами из только что полученных посылок. Ребров протискивался сквозь толпу, прокладывая дорогу остальным.

— Сынок, помоги! — низкорослый, полный инвалид на костылях схватил Реброва за руку. — Мне одному не уволочь! Помоги, Христа ради!

— Не Христа ради, браток, — Штаубе подхватил посылку инвалида с одного края, Ребров с другого, — а ради славы советского солдата!

— Вот спасибо, братцы, вот спасибо! — взволнованно улыбаясь, инвалид ковылял за ними. — Ты где воевал, друг?

— 1-ый Белорусский, — Штаубе шел, бодро опираясь на палку, — начал под Прохоровкой, кончил Берлином.

— На рейхстаге расписался?

— И расписался и насрал между колоннами. От души.

— Танкист?

— Никак нет. Бог войны.

— Артиллеристы, Сталин дал приказ! А как же!

— Артиллеристы, зовет Отчизна на-а-ас! — пропел Штаубе; Ребров, Ольга и Сережа громко подхватили:

— Из сотни тысяч батарей, за слезы наших матерей, за нашу Родину — огонь, ого-о-оны!

Перед ними расступились. Они вышли из магазина.

— А теперь, слышь, немец посылки шлет! — оживленно засмеялся инвалид.

— Да. Хочет колбасой рот заткнуть, — Штаубе настороженно огляделся. — Ну и хуй с ним...

Они бросили посылку на снег, прошли сквозь собравшуюся у магазина толпу и сели в красный «Москвич» с черно-желтой инвалидской наклейкой. ЗИЛ стоял у газетного киоска, возле него суетились милиционеры и люди в штатском. Ребров завел мотор, вырулил на Голубинскую и осторожно поехал.

— Проскочили? — Ольга переложила пистолет в сумку, достала портсигар.

— Не торопитесь, Ольга Владимировна, — покосился в окно Штаубе, — у них пиздюли не залежатся.

— Сережа, ты челнок не потерял? — Ребров облизал пересохшие губы.

— Неа, — Сережа вынул челнок.

— Дай-ка мне, — Ольга взяла челнок, сунула в карман шубы, закурила. — Витя, а почему ты про Злотникова не сказал?

— Потому что Радченко Соловьеву не знал лично.

— И вы до конца не были уверены? — повернулся к нему Штаубе.

— И я до конца не был уверен.

— Значит это... крест?

— Значит это крест, — Ребров взял у Ольги папиросу, затянулся.

— Век живи, век учишь! — зло усмехнулся Штаубе. — А здоровьем расплачивайся!

— У нас не было выбора, Генрих Иванович. Риск был оправдан, мы же смотрели по сегментам.

— Что сегменты... по раскладке выпала восьмерка. Тут не знаешь, чему верить...

— Верьте инструкции, Генрих Иванович. Внимание всем: на вокзале быть чрезвычайно осмотрительными.

— Мимикрия? — спросила Ольга.

— 6, 3. И легче, легче...

— Куда уж легче! — пробурчал Штаубе, отворачиваясь.

В 14.55 они подъехали к Казанскому вокзалу.

— Носильщик! — крикнул Ребров, вылезая из кабины. От группы носильщиков отделился один и подвез тележку к машине.

— 56-ой поезд, пожалуйста, — Ребров открыл багажник.

— «Енисей»? Сделаем... — носильщик вынул из багажника и поставил на тележку металлический ящик с промежуточным блоком, чемодан с жидкой матерью и рюкзак. Ребров взял «дипломат», Штаубе — портфель. Носильщик быстро повез тележку.

— Давайте мороженое купим! — Сережа взял Ольгу за руку.

— Мороженое, Сережа, зимой не едят, — сухо проговорил Ребров. Когда подошли к подъезду, ушедший вперед носильщик обернулся:

— Какой вагон-то?

Ребров достал билеты:

— Седьмой. Места 9-12.

У вагона их встретила кудрявая татарка-проводница, с улыбкой посмотрела билеты:

— До Красноярска? Вот молодцы! А то все самолетом, да самолетом. Никак брильянты везете? — она кивнула на металлический ящик, с которым возился носильщик.

— Хуже. Киноаппаратуру, — Ребров взял у нее билеты.

— Кино про нас снимать? — засмеялась она, обнажив золотые зубы. — Давно пора!

Носильщик занес вещи в купе, Ребров дал ему 6 рублей. Через 9 минут поезд тронулся.

— Слава Тебе, Господи, — перекрестился Штаубе.

— Поехали! — Сережа сдвинул оконную занавеску.

В дверь постучали.

— Открыто! — громко сказал Ребров. Вошла проводница, присела на край дивана.

— Разместились нормально? — не переставала улыбаться она, раскладывая на коленях кожаную папку с карманчиками для билетов.

— Вполне, — кивнул Ребров, отдавая ей билеты.

— Дорогуша, как у вас обстоит дело с ресторацией? — спросил Штаубе.

— Получше, чем у вас в Москве, — она свернула билеты и засунула в карманчик, — икорка, балычок, солянка, цыплята-табака. Коньяк, шампанское.

— Отлично! — Штаубе шлепнул себя по колену.

Ребров дал ей 10 рублей:

— За постель и за чай.

— Сдачи не надо, — улыбнулась Ольга.

— Спасибо, — проводница убрала деньги, — а вы без шуток кино снимать едете?

— Без шуток.

— Про любовь?

— Про экологию.

— У-у-у-у. Я-то думала!

— Не нравится тема? — Ребров переглянулся с Ольгой.

— В зубах навязло, — проводница встала. — Будто в Сибири уж и чистого воздуха нет! Поезжай в тайгу, да дыши, сколько влезет. Я вам через полчаса чаек организую...

Она вышла. Штаубе сразу запер дверь:

— Все! Жрать! Умирать!

— В ресторан? — рассеянно потрогал усы Ребров.

— У нас полно продуктов, какой еще ресторан! — Ольга потянула из-под столика рюкзак.

Через час трапеза была закончена. Сережа помог Ольге собрать в пакет куриные кости, яичную шелуху, хлебные корки. Вошла проводница со второй порцией чая.

— Отлично! — Штаубе вытирал руки салфеткой.

— Я чай могу тоннами пить, — сказал Сережа.

— На здоровье! — засмеялась проводница, расставляя стаканы.

— Дорогуша, сколько же нам пилить до Красноярска? — Штаубе налил себе в чай коньяку из серебряной фляжки.

— Почти трое суток.

— С ума сойти, — покачала головой Ольга, — устанешь ехать...

— Да ничего не устанете, — проводница взяла у нее пакет с мусором, — в Горьком и Казани все походят, одни с вами поедем, хоть в футбол играй. Будем чай гонять, и в подкидного резаться.

— Ну, ну! — подмигнул ей Штаубе. Она вышла. Все посмотрели на Реброва.

— Иро, иро... — устало пробормотал он, расстегивая ворот рубашки.

— Мое дело — предупредить, — Штаубе отхлебнул чай, — с голутвинским тоже было иро.

— Ну хватит, хватит, хватит! — Ольга ударила ладонью по столику, расплескивая чай. — Вам приятно? Мне сидеть, хлопать глазами и повторять: ах, как вам приятно!?

— Да при чем здесь — приятно? — поморщился Штаубе.

— Скажите, я вам случайно не дочь, Генрих Иванович? Или может

— невестка? Или мачеха? Вы мне поплакать разрешите? Поприсесть? Или — так? — она сделала руками сложное движение.

— Ольга Владимировна... — вздохнул Ребров.

— Иро для вас, как для меня — моя болезнь! Как та самая больница, на «Соколе»? А я — медсестра?! Уборщица? Двигайся, двигайся, Оленька!

— Мы вместе работали! Я цифры с потолка не брал! — раздраженно выкрикнул Штаубе.

— Значит брали мы с покойной Галей?! Написали от фонаря и подсунули! Здорово!

— Да вы вообще тут ни при чем!

— Конечно ни при чем! Я нигде ни причем! Мое дело нажимать на курок и на раскладке реветь белугой! Оленька, толкни треугольничек! Оленька, поставь на 18! Все! Все! Все! — оттолкнув Сережу, она бросилась к двери, но Ребров схватил ее за руку, притянул к себе, зажал рот. Ольга рыдала, вырываясь. Сережа навалился ей на ноги. Штаубе сунул ей в рот горлышко фляги, она поперхнулась коньяком и долго судорожно кашляла.

— Еще, — сказала она успокоившись и сев рядом с Сережей. Штаубе передал ей флягу. Вытерев слезы, она жадно отпила, дала Реброву. Он понюхал, глотнул, передал Штаубе, который завинтил фляжку.

— Спать, Ольга Владимировна, — Ребров погладил ее руку. — Спать всем. Восстанавливаться.

Ольга проснулась от крика Сережи, выхватила из-под подушки пистолет и навела на дверь. В купе было темно. Поезд быстро шел, вагон сильно качало. Спящий на верхней полке Сережа застонал и слабо вскрикнул. Ольга посмотрела вниз. Ребров и Штаубе спали. Она убрала пистолет, сбросила одеяло и перебралась на полку к Сереже.

— Вози... возили! — пробормотал Сережа, дернулся и проснулся. — Кто это?

— Это я, милый.

— Оль, я боюсь, — Сережа прижался к ней.

— Миленький мой, ты весь дрожишь...

— Мне приснилось... страшное... будто на даче вы меня послали в этот... в подпол ползть, достать там жезл, ну он на раскладке провалился... и я полез, а вы мне кричите, куда лезть... а там ходы такие, земля, тесно, и на меня личинка навалилась и душит. Липкая, жирная, как свинья...

— Маленький, — Ольга гладила его вспотевший лоб, — нет никакой личинки.

— Мы что... едем?

— Мы едем, едем, едем в далекие края. Спи, — она посмотрела на светящийся циферблат. — Третий час.

- Оль, а мы в Сибирь едем?
- В Сибирь.
- А она большая?
- Очень.
- А ты там была?
- Один раз. В Магадане, на сборах. Правда, летом.
- Оленька.
- Что, милый?
- Пососи у меня.

Ольга потрогала его напрягшийся член, поцеловала в висок:

— Сейчас?

— Ага... — он сбросил одеяло, стянул трусы. Ольга легла грудью на его колени, взяла член в рот, стала ритмично двигаться. Он помогал ей, глядя в темный потолок. Вскоре он вздрогнул и замер. Ольга вытерла ладонью губы, поднялась и поцеловала его в горячую щеку:

— Маленький... покормил свою Оленьку. Больше кричать не будешь?

Он покачал головой.

— Тогда я к себе пойду. Тебе спать не холодно?

Он покачал головой, Ольга перебралась на свою полку, накрылась одеялом:

— Качает, как на пароходе! Держись за подушку.

Сереза спал.

Проснулись рано. Завтракали, когда поезд долго стоял в Казани.

— Пятьдесят лет прошло, а рожи все те же, — прихлебывая чай, Штаубе смотрел на идущих по перрону.

— Вам приходилось здесь бывать? — спросил Ребров.

— А как же! — он сделал плаксивое выражение лица и заговорил с сильным татарским акцентом:

— Эвакуация школы-интерната №18 имени товарища Макаренко, нам, братаны, все равно: санатория, крематория, лишь бы бесплатна! Пожили тут шесть месяцев, потом в Ашхабад переехали. Там неделю кровавым поносом исходил.

— Вы в интернате учились? — спросил Сереза, очищая вареное яйцо. — А родители?

— Убили родителей, Сереза.

— Немцы?

— Цыгане. 6 июля 1941 года убили моих родителей, — Штаубе допил чай, — а убить родителей, Сереза, величайший грех.

Поезд тронулся. Вскоре вошла проводница с чаем:

— Ну вот! На весь вагон всего десять пассажиров осталось. Давайте пустые стаканчики...

Когда она ушла, Ольга заперла купе, положила пистолет на стол, достала из рюкзака ветошь, масло и шомпол. Ребров залез на верхнюю

полку и углубился в свои записи. Штаубе бросил в стакан с чаем два кусочка сахара, помешал ложкой:

— Давно хочу спросить у вас, Ольга Владимировна, каков калибр вашего пугача?

— 9 миллиметров, — быстро ответил Сережа, — ударно-спусковой механизм самовзводный, затвор свободный, предохранитель флажкового типа, магазин на десять патронов, прицел типа «стриж», рукоятка буковая штучной работы.

— Слыхали, товарищ Ребров? — Штаубе привстал на ноги, проговорил со сталинским акцентом. — А ми с вами нэ довърям нашей маладежи!

Ребров не ответил.

— Тогда второй вопрос: отчего вы, дорогуша, когда ведете, так сказать, огонь, держите его не двумя руками, как наши славные полицейские, а одной?

— Меня так учили, Генрих Иванович, — Ольга сняла затвор, — менты двумя руками держат, потому что из их дубин иначе не попадешь. Макар на десять шагов дает разброс до полуметра. Они у них коротухи, не пристреляны, не сбалансированы, отдачей руку вывихнешь. А я из своего на десять шагов лампочку «миньон» бью...

— Стоп, стоп! — воскликнул Ребров. — Как называлась борисовская станция?

— Карпилово, — ответил Штаубе.

— Гениально! — засмеялся Ребров. — У меня по сетке сходится на синей.

— Не может быть! — приподнялся Штаубе.

Ребров показал ему потрепанную тетрадь:

— Сороковка. А по раскладке, как вы помните, было 7.

Штаубе взял тетрадь, пошевелил губами:

— Сороковка... так...

Ольга навинтила на шомпол ерш:

— Ну и что? Все равно придется отработать.

— Зато не придется тащиться в Красноярск. Выйдем на семидесятом километре.

— В Тарутино?

— В Козульке.

Ольга капнула на ерш масла, ввела шомпол в ствол:

— Знаешь, когда котенок найдет черепаху без панциря, он сначала понюхает, а потом уж носом коснется. Или когда из-за посуды дерутся: один топчется, топчется, машет шлангом с металлической муфтой, а другой, хоть на керское наступил, но не упал, а прыгнул и решетку выставил. Просто и надежно.

Часы Реброва показывали 23.46, в купе горела синяя лампа. Ольга и Сережа спали на верхних полках. Штаубе разлил остатки коньяка в

два стакана:

— Частная собственность, Виктор Валентинович, это всего лишь предлог. Партийный аппарат — страшная силища, конечно, но не беспредельная. Сейчас это особенно заметно. Да и что вы знаете о немцах? Газовые камеры для недочеловеков? Гороховый суп с сосисками? Когда нас гнали, что пел гармонист? Не горюйте, новобранцы, все равно убьют германцы!

— Я не склонен рассматривать партаппарат как исключительно реакционную силу, — Ребров взял стакан, выпил залпом, откусил от яблока. — В сегодняшней ситуации коммунисты способны на позитивные, по-настоящему демократические ходы. И наоборот — демократы, или вернее — квазидемократы демонстрируют тоталитарный подход к проблеме власти. Немцы же меня не пугают, но и не успокаивают. Вспомните Геббельса-студента: зло есть не что иное, как несоответствие между бытием и долженствованием.

— Значит, по-вашему, Сталин — мерзавец, а не великий реформатор?

— Для духовного подъема и национального возрождения России Сталин сделал больше всех русских правителей вместе взятых. Как христианин и человек здравомыслящий я приветствую реформы Сталина. Как экономист и геополитик я так же приветствую их. Но как русский интеллигент, я не могу не осудить эти реформы. И заметьте — реформы! Но не Сталина. Вспомните Бердяева: русский коммунизм с одной стороны — явление мировое и интернациональное, с другой — русское и национальное. Ленин, увы, этого не понимал.

— Зато он прекрасно понимал контрпартнерство Германии.

— О чем Сталину приходилось только догадываться. Смутно, но догадываться.

— И все-таки я Сталина ненавижу, — Штаубе выпил свой коньяк, — его непоследовательность, мягкотелость, нежелание проявить характер в решении важнейших вопросов, его ставка на союз интеллигенции и крестьянства в противовес пролетариату... говнюк, ебанный говнюк! Самое гадкое, когда гениальный человек не способен распорядиться своим талантом. Обезглавить Красную Армию в начале тридцатых было бы величайшим благом, но делать это в 37-ом или в 40-ом — величайшее преступление! Ликвидация зажиточного крестьянства, ограбление крестьянских хозяйств, насаждение колхозной барщины — все это гениально, здорово, но...

— Но проводить это в конце 20-х — абсурдно! — усмехнулся Ребров.

— Конечно! Подожди лет десять, дай сиволапым зажиреть, дай им набить закрома...

— А потом уже — грабы! Если б он начал это хотя бы в 36-ом, эффект от раскрестьянивания был бы в пять, в десять раз больше. Русское крестьянство начало обретать экономическую независимость, пожалуй, только в 910 году, потом — война, революция, идиотская

продразверстка Ленина-Троцкого, затем короткая пауза — и коллективизация...

— А национальный вопрос?! Задумано, как всегда у Сталина гениально, проведено в жизнь — самотеком! А вы ругаете Бисмарка!

— Не Бисмарка, а прусских филистеров, выхолостивших и извративших его идеи. Молотов и Бухарин такие же филистеры, заслуживающие всеобщего презрения. Сталину серьезно мог помочь не Каганович, а Зиновьев. Сложись его судьба по-иному, мы бы жили в другом государстве. Путь Зиновьева в лабиринтах власти так же трагичен, как путь Гимmlера: светлый луч, тонущий в жестких бюрократических структурах.

— Поразительно! — Штаубе чистил яблоко перочинным ножом. — Никто из этих индюков не позволил себе протянуть руку направо, коснуться надежного плеча, посоветоваться! Что это, ебена мать? Эгоизм или страх?

— Обтростон, — ответил Ребров после непродолжительного раздумья.

Поезд стал тормозить, за окном замелькали огни города.

— Свердловск, — Штаубе посмотрел в окно.

— Вы и здесь были?

— Ни разу! — засмеялся Штаубе, — 66 лет потребовалось, чтобы доехать! Вот вам и Россия! Давайте выпьем за это!

— За дорогу, длиной в 66 лет?

— За нее! — Штаубе достал из рюкзака бутылку водки, стал открывать. — Мне всегда нравились эти сумасшедшие российские расстояния. Они как-то... возбуждают, правда?

— Меня наоборот — угнетают. Кстати, Генрих Иванович, вы смотрели по полосе?

— А как же! Еще утром, когда вы умываться пошли. Конус в допуске.

— Сколько?

— 4, 7. Корень не виден.

Ребров удовлетворительно кивнул, пододвинул стакан:

— Что ж, в таком случае и выпить не грех.

В 9.12 стуком в дверь разбудила проводница. Ребров открыл, она вошла, поставила на стол чайник и стаканы:

— С добрым утречком! Что ж вы Омск проспали? Там на перроне такая торговля шла, рехнуться можно! Шапки волчьи по сто рублей, платки пуховые всего за четвертной, валенки белые... как с ума посходили! Вот что снимать надо!

— Ничего, в другой раз... — хрипло пробормотал Штаубе, поднимая с пола протез.

— А это что за река? — Сережа посмотрел с верхней полки.

— Иртыш.

— А почему она не замерзла?

— Течет быстро, поэтому и не замерзла. Я через полчаса вам еще чаю принесу.

Она вышла, громко хлопнув дверью.

— Как здесь топят жарко! — Ольга откинула одеяло, потянулась.

— Пар костей не ломит, Оленька, — сидя на диване, Штаубе налил в стакан чаю, отхлебнул. — Ах, славно.

Ребров оделся, достал свой «дипломат», открыл, понюхал пакет с частью груди Леонтьева.

— Что, протухла? — спросил Штаубе.

— Нет. Все в порядке, — Ребров убрал «дипломат», взял полотенце, тюбик с пастой, зубную щетку. — После завтрака бросим на малой разметке. Сережа — разводящий.

Обедали в полупустом вагоне-ресторане. В ожидании десерта Ольга раскладывала на столе пасьянс «Могила Наполеона», Ребров курил, глядя в окно, Сережа вертел кубик Рубика, Штаубе читал вслух из «Князя Серебряного»:

«Множество слуг, в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах. Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распушенные хвосты качались над каждым блюдом, в виде опахала. За павлином следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Обед продолжался. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных уток и куриц с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью черную и курячью шафранную. За ухой подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерок с шафраном. Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, вечерние почки и караси с бараниной. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном». Вот так, Ольга Владимировна. А вы говорите — неплохая кухня.

— Не сложилось, — Ольга стала собирать карты.

Официантка принесла кофе и засохшие пирожные. Ребров сразу расплатился, дав рубль на чай.

— Об это зубы сломаешь, — Ольга откусила от пирожного и выльнула.

— Раздадите нищим на полустанках, — зевнул Штаубе.

Поезд стал тормозить.

— Это Новосибирск, — Ребров взглянул на часы. — Надо бы выйти

воздуха глотнуть.

— Я — спать, — Штаубе встал, опираясь на палку.

Вернулись в купе, Штаубе лег с книжкой, Ольга, Ребров и Сережа оделись и вышли на перрон.

— Холодно как! — Сережа прижался к Ольге.

Проводница стояла рядом, лузгая семечки:

— Разве ж это холодно? Всего 28 градусов. Холодно, когда под сорок.

К ней подошел мужик в драном полушубке:

— Хозяюшка, продай водки.

— Мы водкою не торгуем, — сплюнула она шелуху.

— Тридцатник дам.

Она отвернулась. Мужик отошел, скрипя валенками. К проводнице подошел дед в ватнике, развязал холщовый мешок:

— Ну-к, милая, глянь-ка!

В мешке лежала свиная голова.

— Съюдню наварить — до масленицы не съядишь! — улыбался дед.

— Когда резали? — проводница потрогала голову.

— Завчера. Бери с мешком на здоровье.

Проводница подумала, вынула из кармана бутылку водки и дала старику.

— Ну и вот! — он спрятал ее за пазуху и отошел.

— Стоянка — пятнадцать минут! — проводница подмигнула Сереже, подхватила мешок и полезла в вагон.

— А вокзал ничего, — Ольга смотрела на здание вокзала, — лучше, чем у нас в Норильске. Зайдем?

— Воздержимся, — Ребров закурил.

— Ах, Витенька, какой ты осторожный! — Ольга взяла у него изо рта папиросу, затянулась и, запрокинув голову, выпустила дым вверх.

За 72 километра до Ачинска на станции Боготол в вагон №7 подсели трое железнодорожных рабочих в ватниках и желтых безрукавках.

— А в депо баили, что ты в декретном! — улыбнулся старший из них проводнице. — Думаем, неуж последняя землячка с «Енисея» сбежала? Никто чаем не напоит!

— Напою, только валенки обейте! — усмехалась проводница.

Стоящий в коридоре Ребров подмигнул Ольге. Она взяла сумочку, открыла, вынула зеркальце и помаду и стала красить губы.

— Вы, Оленька, и без этого — София Лорен, — заметил лежащий напротив Штаубе.

— Капиталистическое по семерке, — сказала Ольга. Штаубе с кряхтением приподнялся. Сережа проворно слез с верхней полки, сунул кубик Рубика в рюкзак.

— У тебя опять полным-полна коробочка? — спросил проводниц рабочий помоложе.

— Да всего двенадцать человек! Занимайте любое купе, я сейчас чаю принесу.

— Вот это — дело! — рабочие вошли в первое купе.

Ребров вошел в свое купе и сел у открытой двери.

— А я-то думала, вы опять в Зерцалах подсядете, — проводница наливала кипяток из тендера.

— Так тут заносы были — не расхлебаешь! С обеда чистили. В Вагине три поезда встало.

Ребров посмотрел на часы:

— 22.16. На 17 минут опаздываем. Всем собираться.

В Ачинске вошли двое пассажиров: мужчина в полушубке и кубанке, с чемоданом, и женщина с двумя сумками, в белой дугой куртке.

— Отгос, — тихо произнес Ребров, бледнея.

В 23.51 проехали Тарутино, Ребров кивнул. Ольга вынула из сумочки пистолет, оттянула затвор:

— Всем на пол. Тут перегородки — пальцем проткнешь.

— Оленька, мне кажется они в бронежилетах, — пробормотал Штаубе, устраиваясь на полу.

— Спасибо! — нервно усмехнулась Ольга, прыгнула в коридор и дважды выстрелила в стоящего у окна рабочего. Он стал падать, двое других выскочили в коридор с пистолетами в руках, открыли огонь.

— Лягай! — крикнул позади Ольги человек, севший в Ачинске, она бросилась на пол, стреляя по рабочим. Человек в кубанке дал длинную очередь по рабочим из автомата, они повалились на пол. Позади упавших, в тамбуре показался милиционер с автоматом, Ольга и человек в кубанке выстрелили, он упал. Из купе №8 высунулся мужчина с пистолетом и выстрелил в женщину в белой куртке, стоявшую с автоматом спиной к человеку в кубанке. Пронзительно вскрикнув, она ответила длинной очередью, мужчина стал оседать в дверном проеме, его спутник начал стрелять из-за него, но успевшая встать Ольга вцепилась ему в голову две пули, а человек в кубанке щедро добавил из автомата. Продолжая вскрикивать, женщина села на пол, выронив автомат.

— Василию, шо, зацепило? — переступив через ее ноги в унтах, человек в кубанке двинулся по вагону, добывая пассажиров. — У, блядovня! Поганцы!

Ольга рванула дверь второго купе, выстрелила в лицо спящей женщины, бросилась к купе проводницы: та сидела на полу, держась за простреленную кисть, рядом валялся хрипящий «воки-токи». Ольга разнесла его пулей, навела пистолет на проводницу:

— Как насчет чайку?

Покончив с пассажирами, человек в кубанке запер дверь тамбура, вернулся к раненой подруге:

— Где тебя, Василию?

— Дай... — женщина икнула, изо рта ее хлынула кровь, заливая белую куртку.

Ребров и Штаубе высунулись из купе.

— Шо ж вы гады, поховалися, як пацюки, а бабу воевать выставили?!
— злобно повернулся к ним человек в кубанке.

— Так надо, — пробормотал Ребров.

— Так надо! А ну помогите хлопцу! — он сменил рожок, подошел к купе проводницы, возле которого стояла Ольга. — Ага. Вот она, гарна дивчина — не пришей к пизде рукав! Сколько лягавых в поезде?

— Не знаю, — морщилась от боли проводница, — они тут... и в первом вагоне. Я ж ни при чем...

— И это тоже ни при чем? — Ольга показала дулом на «воки-токи»

— Это ихнее, — проводница всхлинула, — они заставили. Говорил. — мать убьют...

— Не пизди своим ребятам, — усмехнулась Ольга.

— Микола... Ми... кола, — хрипела раненая женщина. Ребров поднял ее голову.

— Шо, Василю? — подошел Микола. — Царапнули, гады? Ничо, доведем, лепило выходит.

— Микола... скажи Скобе... пускай мою долю не вкладывает...

— Так ты ж сама все скажешь, друг дорогой. Мы с тобой на такие гастроли. Забуримся — оторвать и засохнуть!

Кровь снова хлынула изо рта женщины, она закашляла. В ближнем тамбуре раздался свист, Ольга дернулась.

— Спокойно, це Марик, — Микола ответно свистнул. В тамбуре показался Марик в зимней форме железнодорожника, с пистолетом в руке. Переступив через труп милиционера, он поднял его автомат, осмотрелся:

— Ну как тут?

— Та все путем. Тильки Ваську зачепило.

— Багаж цел?

— Цел пока, — Ребров отпустил голову затихшей женщины.

— Корень у просеки тормознет, — Марик убрал пистолет в карман.

— Це розумно, — кивнул Микола.

— А Козулька? — спросил Ребров.

— В Козульке вас ждуть с гостинцами, — усмехнулся Марик и кивнул Миколе: — Готовь шутиху.

— Ща зробим! — Микола выволок из купе две сумки, набитые бидонами с бензином и толовыми шашками.

— Давайте багаж, — Марик, Ребров и Ольга вынесли все из купе в тамбур. Микола стал разматывать бикфордов шнур.

— А это кто? — заглянул Марик к проводнице.

— Верный друг милиции, — усмехнулась Ольга, застегивая шубу.

— Ага, — Марик на секунду задумался, потом оторвал от простыни кусок, — а ну, давай твою болячку.

Девушка протянула руку, он быстро перевязал ее, с силой затянул узел. Она вскрикнула.

— Не бойсь, — он вытер испачканные кровью руки о пододеяльник.
— А теперь — шевели копытами. С нами пойдешь. Как чрезвычайный и полномочный представитель ментов.

— Дяденька, не надо! — поползла на коленях девушка. — У меня в Красноярске мать больная, отец, инвалид войны!

— Будешь умницей — увидишь своих инвалидов. Это что у тебя?
— он пнул сапогом мешок со свиной головой.

— Кабан, — всхлипывала проводница.

— Чай где?

— Тут наверху.

Он открыл шкаф, стал вынимать пачки чая, сахара и печенья и класть их в мешок с головой.

— Зроблено, — Микола показал конец шнура.

— погоди, — Марик выволок мешок в коридор. — Все в тамбур!

— Сережа, шапку! — Ольга толкнула мальчика, он побежал и вернулся с шапкой на голове.

Поезд стал резко тормозить.

— Запалишь, когда рукой махну! — Марик открыл дверь, морозный воздух ворвался в тамбур. — Давайте, господа! Тут снег глубокий.

Первым прыгнул Ребров с промежуточным блоком, потом Ольга с жидкой матерью, за ними Сережа с рюкзаком и Штаубе. С головы поезда трижды посигналили фонарем, Марик ответил карманным фонариком, махнул Миколке:

— Пали!

— Палю! — Микола поджег шнур, выбежал в тамбур, подтолкнул автоматом проводницу. — А ну прыгай, коза!

Проводница спрыгнула, Микола и Марик последовали за ней. Вагоны дернулись, резко набирая скорость. Поезд ушел.

— Ебанный в рот! — Штаубе вытер снег с лица, заворочался в сугробе.
— Приехали...

Кругом было темно. Мутная луна слабо высвечивала опушку леса и невысокие сопки вдаль.

— Как мать? — Ребров вытащил из снега промежуточный и поставил на еле заметные шпалы.

— Нормалек! — Ольга с трудом подняла чемодан, крикнула:

— Сереж! Как вы там?

— О'кей! — крикнул Сережа.

Минут через пять подошли Марик с тремя автоматами, Микола с мешком и прихрамывающая, плачущая проводница. Марик осветил фонариком:

— Как багаж?

— Все цело, — ответил Ребров.

— Палку потерял! — Штаубе рылся в сугробе. — Посвети!

Марик осветил:

— Поздновато тормознули. Придется до просеки пехом драть.

— Долго? — осматривался Ребров.

— Меньше километра.

— Нет ни хуя! — Штаубе приподнялся с колена. — Сереж, ты хоть помоги!

В направлении ушедшего поезда слабо и коротко вспыхнуло, донесся взрыв.

— О! Це в голове! — улыбнулся Микола. — Наша пыхнет побогаче. Вскоре яркая вспышка озарила горизонт.

— О це добре! — шелкнул языком Микола. — А то я вже завалался. О! Бувайте здоровы! — он снял кубанку и поклонился зареву.

— Палка... палка самшитовая, — не унимался Штаубе, — с 58-го года!

— Найдем мы вам новую палку, — Марик выключил фонарь. — Пойдемте, время дорога.

Штаубе плюнул, выбрался из сугроба, подхватив «дипломат» Реброва и свой портфель. Марик взял у Ольги чемодан с жидкой матерью, Микола и Ребров подняли ящик с промежуточным блоком. Двинулись по занесенному снегом железнодорожному пути. Минут через двадцать сзади свистнули.

— Стоп, — Марик поставил чемодан и ответно свистнул. Их догнали двое в форме железнодорожников; у одного на груди висел автомат Калашникова с обрезанным стволом, другой нес небольшую сумку.

— Это ж надо, Марик, я там твой бинокль забыл! — заговорил, улыбаясь и тяжело дыша тот, что с автоматом. — Когда байду перетаскивали, я его снял, щоб не болгался, а потом тот поце со шпалером навалился, короче, пока мы его с Корнем уговорили, я ж просто совсем натурально забыл про бинокль!

— Бинокль... — Марик потряс уставшей рукой. — У нас вон Коля Василя забыл.

— Шо такое? Грохнули?

— Та зачепило ее, Лютик, — Микола громко высморкался, вытер руку о полушубок. — Они ж, гады, понапхались там, як черви в падали, не побачишь виткеда шмальнут! Тильки я першого пришил, два других повьлезло, пид сердце ему и вlepили.

— Еб твою... — качнул головой Корень.

— А я ж ему так две понюшки и не отдал! — вздохнул Лютик.

— Мне отдашь, — устало усмехнулся Марик. — Вы в ресторан, конечно, не заглянули.

— Да ну когда ж нам было заглядывать, Марик!

— Скоба с нас шкуру спустит.

— Ресторан! — зло усмехнулся Корень. — Ладно, что живыми выбрались. Дайте закурить кто-нибудь.

Ольга раскрыла портсигар, протянула. Корень, Лютик и Микола взяли по папиросе.

— Закурим, когда в лес войдем, — Марик поднял чемодан. Подо-

ждите, тут же рукой подать...

Прошли еще метров двести по дороге, свернули влево, по глубокому снегу пересекли неширокую просеку и вошли в лес. Закурили. Марик свистнул. Невдалеке раздался ответный свист.

— О! — щелкнул языком Микола. — Добре, шо догадался...

Прошли еще немного.

— Ку-ку! — из-за толстой сосны вышел парень в долгополой шубе, большой мохнатой шапке, с двустволкой за плечом. Рядом стояли две едва различимые в темноте лошади, впряженные в пару саней.

— Притопали! — засмеялся парень. — А я слышал, как жажнуло!

— Здорово, Витя, — морщась, Марик опустил чемодан. — Фу, ебеньть... ну и багаж у вас, плечо вывихнешь...

— Мы не нарочно, — сказал Сережа.

— Ну как там, нормально все? Довезли?

— Василя убило, — Марик зажег погасшую папиросу.

— Во бля! Ментов много было?

— До хуя.

— Это были вовсе не менты, — проговорил тяжело дышащий Ребров.

— А кто ж? — повернулся к нему Люсик. — КГБ, что ль?

— И не КГБ.

— А кто ж це був?

— Потом, все потом, — устало махнул Ребров.

— Ну, тогда поехали, — Марик подошел к лошадям. Проводница упала на колени:

— Дорогие, родненькие мои, отпустите! Я же ничего вам не сделала, я и не знаю ничего! Они ж мне не сказали — кто они и откуда, вошли и пистолет наставили! Отпустите!

Она зарыдала.

— А ну лезь в сани, коза! — пнул ее Микола.

— Вы же меня убьете! Ребята, милые! Не надо! Я вам денег пришло! Отпустите, не убивайте! Я ребенка жду!

— Кому ты нужна — убивать тебя! — усмехнулся Марик, снимая одеяло с лошадиной спины. — Мы баб не убиваем. Поедем слегка, да отпустим. Ребенка не заденем. Садись, не тяни резину.

Рыдающая проводница села в сани. Рядом с ней сели Марик, Ольга с Сережей и Ребров с жидкой матерью. Остальные, подхватив багаж, разместились на вторых, более просторных санях.

— Вить, езжай первым, — Марик разобрал мерзлые вожжи, дернул, лошадь потянула сани влево.

— Н-но! — Витя стегнул лошадь вожжами, сани со скрипом выехали на недавно проложенную колею. — Слышь, там в низине снегу навалило, я через камень ехал.

— Один хрен, — Марик обмотал низ лица шарфом, набросил на ноги одеяло, — давай через камень.

Поехали. Колея петляла меж деревьев, лошади тащили сани, увязая

по колени в снегу. Луна вышла из-за облаков и осветила старый заснеженный хвойный лес.

— Долго ехать? — спросил Ребров.

— Часа три, — ответил Марик, сдвигая шарф. — Тайгу проедем, потом нормальная дорога пойдет.

Минут сорок ехали молча за переполненными санями Вити, где шел непрерывный оживленный разговор. Зажатая между Ольгой и Ребровым проводница периодически начинала плакать, потом затихала. Впереди лес пересекли столбы с натянутой колючей проволокой.

— Это что? Лагерь? — спросила Ольга.

— Там написано, — усмехнулся Марик, поднимая воротник.

Подъехали ближе. На столбах виднелись одинаковые металлические щитки:

Проход запрещен!
Радиоактивное заражение местности!
Опасно для жизни!

Сани проехали меж двух столбов с перекушенной и обмотанной вокруг них проволокой.

— А тут правда опасно для жизни? — спросил Сережа.

— Зимой не опасно, — Марик закурил.

— А почему?

— По кочану! — быстро ответил Ребров. — По витишгу.

Сережа замолчал. Ольга обняла его, прижала к себе и надвинула ему шапку на глаза:

— Спи, младенец мой прекрасный.

— Сама ты спи! — пробурчал Сережа.

Спустились с сопки и выехали на широкую, заваленную снегом дорогу с еле заметными следами саней.

— Це не дуже поганый шлях! — крикнул Микола. — Марик, догоняй!

Витя свистнул, стегнул лошадь, она тяжело потрусилась по снегу. Марик стегнул свою, сани дернулись, лошадь побежала. Дорога пролегла по краю большой сопки, рядом с ней тянулись сильно покосившиеся и попадавшие телеграфные столбы с порванной, спутавшейся проволокой. Луна светила ярко.

— Машины тут не ходят? — спросила Ольга, подмигнув Реброву.

— Двадцать семь лет, — ответил Марик.

— У меня рука болит! Я умру! Мне же нужно в больницу! — зарыдала проводница.

— Кровь течет? — Ольга помогла ей вынуть раненую руку из-за пазухи железнодорожной шинели. Белая материя почти вся пропиталась кровью.

— Я ее не чувствую! Она как немая! — плакала девушка.

— Да не ной ты, скоро доедем, — Марик ежась, сплюнул окуроч,

— у нас доктор лучше любой больницы.

— Давай еще шарфом перетянем у локтя, — Ольга сняла свой шарф и стала перевязывать ей руку.

Дважды дорогу перегораживали глубокие рвы, которые приходилось обезжать по лесу.

— Вот так, бля! — Марик вел лошадь под уздцы, помогая ей выбраться из снега. — А под Козулькой вообще все перепахано, пешком не пройдешь. Два ряда колючки...

Проехали еще километров 25, дорога обогнула крутую сопку и сползла в широкую долину, почти все пространство которой занимал покинутый город.

— А ну, Лена, поссы с колена! — крикнул Витя, вытянув лошадь вожжами. Сани понеслись под гору. Микола засвистал. Марик стал нахлестывать свою лошадь, поспевая за ними. Проехали скопище ржавой заснеженной техники, обогнули развалившийся и проросший ельником кинотеатр «Саяны» и покатали по улице Чехова. По краям улицы тянулись трехэтажные кирпичные дома с выбитыми окнами и провалившимися крышами. Здание магазина утопало в елках и кустах; сквозь крышу стоящего возле него автобуса рос кедр. Свернули налево и поехали по широкой улице Ленина.

— А как этот город назывался? — спросил Сережа.

— Как и река. Чулым — Марик снял с лица шарф. — Повезло вам, господа, с попутным ветром. Если б с сопки потянуло — пиздец. Пришлось бы Скобе нас из саней ломами выковыривать.

Подъехали к пятиэтажному зданию горкома партии, Микола свистнул. Дубовые створы главного подъезда отворились, из проема вышел человек в пальто, шляпе и с двустволкой:

— Але, але и он замерз. Как спичечки.

Не обращая на него внимания, Витя и Марик спрыгнули с саней, взяли лошадей под уздцы и ввели в вестибюль горкома.

— Делали-о вон как, — усмехнулся человек в шляпе, запирая дверь на засов, — але, але и ладно.

В мерзлом вестибюле горели две керосиновые лампы. Выбрались из саней, стали снимать багаж.

— Воды согрел? — спросил Марик человека в шляпе.

— Воды согрел, воды согрел, воды согрел, — он стал распрягать лошадь.

— Ой! Спишу не разогнешь! — потянулся Витя.

— А это что такое? — Сережа подошел к вахтерскому столу, на котором лежал мертвый заяц размером со свинью. Горбатая спина зайца была покрыта шишкообразными наростами, темная от крови морда щерилась желтыми передними зубами.

— Дары природы. Саблезубый заяц, — кашлянул Марик, подхватывая мешок. — Толяп, ты не перекармливай.

— Корми, корми, а все равно — але, — человек в шляпе завел

лошадь за стойку гардероба, поставил перед ней ведро с водой.

— Знедо не первое! — зашипел Ребров на Ольгу.

— Стерильный! Тоже мне! — фыркнула на него Ольга.

Взяли багаж и спустились в подвал. Марик высветил фонарем стальную дверь, постучал.

— Кто? — слабо донеслось из-за двери.

— Балдох! — крикнул Марик.

Массивная дверь отворилась, дохнув теплом и светом.

— Как лучшее! — усмехнулся Киселек, опуская ствол автомата и отступая в сторону. — Буерцы, еби вашу...

— Ах ты, дубинчик, ах ты, попрыгуша-лягуша! — Лютик дохнул ему в лицо.

— Киселек, а я березу видел, — подмигнул ему Витя, внося чемодан с жидкой матерью.

— Та уси побачили ту березу! — засмеялся Никола.

— Буерцы, буерцы! — улыбался Киселек, запирая дверь.

В подвальном помещении было до духоты натоплено, матовые плафоны на потолке светили ровно, стены были обшиты полированным деревом. Стали раздеваться в небольшой гардеробе.

— Господи, неужели в тепле? — Штаубе размотал шарф. — И сортир теплый?

— А как же, — Марик стаскивал с себя тесную шинель железно-дорожника. — Пока солярки хватит — ради Бога.

Ольга помогла раздеться бледной, покачивающейся проводнице.

— Трюх, трюх к начальнику, — кивнул Киселек.

Ступая по синей ковровой дорожке, двинулись по коридору. У всех обитателей подвала были аккуратно выбриты макушки голов.

— Трюх, — Киселек остановился у двери с табличкой «2-ой секретарь», постучал.

— Иди воруй! — закричали за дверью.

— Еб твою мать! — Марик переглянулся с Кисельком. — Он что — уже?

— Мужик мужика на доске не возит! — засмеялся Киселек и открыл дверь. Вошли в просторный кабинет, сплошь заваленный всякой всячиной. В углу на матрасе сидел голый Скоба и смотрел видео. Рядом с ним лежал большой станковый пулемет с заправленной лентой. Голова у Скобы была обрита, на макушку был прилеплен круглый пластырь. Он неотрывно смотрел в телевизор, который показывал «Касабланку».

— Трюх, трюх, кто в теремочке живет? — проговорил Киселек.

— Иди воруй! — закричал Скоба так громко и протяжно, что его потное, татуированное тело затряслось.

— Миш, мы тут гостей привели, — осторожно заговорил Марик.

— Иди вору-у-уй! — закричал Скоба.

— Пухначев и Манзелинцев, — громко произнес Ребров.

— Иди вору-у-уй!

— Средмашевские разработки, проект №365, — продолжал Ребров.
 — Иди вору-у-уй! Иди вору-у-уй! Иди вору-уй! — Скоба вскочил и навел на Реброва пулемет. Марик оттолкнул Реброва в сторону, схватил Миколу за волосы и швырнул его в противоположный угол кабинета:

— Серый!

— Иди вору-у-у-уй! — нажал на гашетку Скоба. Крупнокалиберные пули искромсали тело Миколы.

— Смотри, задень мне только проводку, — раздался спокойный голос в селекторе, стоящем на захлапленном столе.

— Иди воруй? — Скоба бросил пулемет, понюхал свои пальцы.

Ноги проводницы подкосились, она упала на пол.

— Марик, кого? — спросили в селекторе.

— Миколку, док, — Марик снял с селектора засохший кусок хлеба и бросил на пол, — он Василя подставил.

— Иди вору-у-уй! — заревел Скоба.

— Я вам всегда говорил, что хохлы люди не надежные, — продолжал голос. — Сколько денег?

— Тыщи две, док.

— Поздравляю, — усмехнулся голос, — а поесть?

— Да тоже немного, — вздохнул Марик, — док, тут девка вполне ебательна. Она шас отрубилась ненадолго.

— Понятно, — зевнул голос. — Ладно, заходите по одному. А Сусанин — марш, марш на кухню.

Корень подхватил мешок и, недовольно бормоча, вышел.

— Иди воруй! Воруй! Воруй! — кричал Скоба.

— Пухначев и Мензелинцев! — Ребров подошел к столу, наклонился к селектору. — Пухначев и Мензелинцев!

— Ну слышали уже, что вы кричите, — раздалось в ответ, и селектор выключили.

— Миш, ты скажи тогда Толяпе, пусть этого пидера сволокет наверх, — Марик кивнул на подплывающий кровью труп.

— Иди воруй! — резко выкрикнул Скоба, прыгая на матрац.

Вышли в коридор, прошли немного и остановились у двери с табличкой «1-ый секретарь».

— Первый зайнька, — Киселек погладил макушку Марика, — прыг, прыг.

Марик вошел, Киселек закрыл за ним дверь:

— Второй зайнька будет как у мамки. Побрызгай.

Вторым вошел Витя.

— Третий пукало залезет и все! — засмеялся Киселек, обнажая выбитые зубы.

— Так я ж охуеваю, Кисель, — взволнованно пробормотал Лютик, входя.

— А после и батончики, — усмехнулся Киселек, скрываясь за дверью

вслед за Лютиком.

— Что вы делаете?! — зашипел побледневший Штаубе на Реброва.

— Витя, Витя! — Ольга сжала его руку. — Они могут ничего не знать! Зачем нам тянуть? Делай мост, милый!

— Не мешайте, — Ребров освободил руку и открыл дверь. Они вошли в просторный чисто убранный кабинет. За рабочим столом сидел док. Рядом с его креслом на коленях стоял Киселек что-то бормочущий и хватающий дока за колени.

— Руки, руки, — док шлепнул его по руке, протер ему спиртом выбритую макушку, подождал минуту, смазал макушку зеленоватой жидкостью.

— Птичкину, птичкину, миленький... — бормотал Киселек, вздрагивая.

Стоящий рядом Коля стал придерживать его голову. Док запустил руку в резиновой перчатке в десятилитровую стеклянную банку, покопался в прелой листве и вынул толстого голубовато-серого слизняка.

— Птичкину, птичкину, птичкину! — затрясся Киселек. Док посадил слизняка ему на макушку. Коля поднял всхлипывающего Киселька с колен и подвел к длинному столу, за которым неподвижно сидели рядом Марик, Лютик и Витя. Слизняки на их макушке еле заметно шевелились. Коля посадил Киселька рядом с Витей.

— Дай на четверых пока, — сказал док, снимая перчатку с руки.

Коля вынул из потрепанного тубуса две метровые спицы, протер их спиртом. Сидящие за столом подняли левые ладони. Проткнув их по очереди в точке хэ-гу, Коля нанизал ладони на спицу. Сидящие подняли правые ладони. Коля нанизал их на другую спицу.

— Дай тридцать, чтоб не ныли потом, — док обвязывал горло банки марлей.

Коля включил реостат, отрегулировал, подсоединил его клеммы к концам спиц. Сидящие за столом затряслись. Слизняки на их головах стали розоветь. Когда они стали цвета спелой вишни, Коля выключил реостат. Сидящие бессильно повалились на стол. Коля надел резиновую перчатку, снял слизняков с их голов, сложил в банку синего стекла и закрыл крышкой. Док тем временем вырезал из перцового пластыря четыре кружка, подошел к сидящим, Коля протер их макушки спиртом, док налепил на них круглые пластыри. Пока Коля вынимал из рук спицы, док достал из сейфа конусообразный войлочный футляр, закрытый на миниатюрный висячий замок. Отперев замок, он открыл футляр и вынул узкую золотую пирамиду, вершина которой была из серебристо-зеленого металла. Набрав шприцем из пузырька прозрачной жидкости, док с силой воткнул иглу в вершину и выпустил жидкость в пирамиду.

— Ну, не, неваляшки... — Коля стал шлепать сидящих по щекам.

— Па-а-а-адем! Ждать не будем.

Они постепенно очнулись.

— Быстро, быстро! — док хлопнул ладонью по столу. — Кто клин сосет?

— Я, — прошептал Киселек.

— Я, — прошептал Лютик.

— Трение?

— Я, — прошептал Витя.

— Я, — прошептал Марик.

Док передал пирамиду Кисельку, который сразу же стал сосать вершину. Коля протянул Вите и Марику две одинаковые эбонитовые палки. Витя и Марик встали на колени друг против друга, уперлись лбами и стали быстро тереть палками шеи.

— Док, можно я по-белому сегодня? — спросил Коля.

— погоди, сейчас с бабой поможешь, — док убрал шприц и пузырьки.

— В столярке опять? — тоскливо спросил Коля.

— Да, да, — док вышел в коридор.

— Слушайте! Вы нам, наконец, уделите внимание? — двинулся за ним Ребров.

— Да, да, пойдете, сейчас... — док прошел по коридору, отпер ключом дверь столярной мастерской, вошел, включил свет. Ребров, Штаубе, Ольга и Сережа вошли за ним. Коля привел пошатывающуюся проводницу и стал быстро раздевать ее.

— Сейчас, сейчас, — док успокаивающе кивнул Реброву, взял ремень и стянул голые локти девушки у нее за спиной. Девушка вскрикнула.

— Не бойсь, больно не будет, — Коля расстегнул ее черную юбку.

— Я беременна! — заплакала девушка.

— То-то я смотрю, живот... — Коля дернул юбку.

— У меня мать больная, ребята, отец инвалид! Вы меня отпустите?

— Отпустим, — кивнул док, роясь в инструментах.

— Ваш... этот сказал — поедем и отпустим, а ребенка не заденем... ребята, я денег пришло! — зарыдала она.

— Поедем и отпустим, это точно. Ребенка не заденем. Это я гарантирую. Давай, — док подошел к столярному станку.

Коля подволок голую девушку, они быстро зажали ее голову в деревянный тиски. Она громко закричала.

— Да не бойсь ты, не больно ведь, — Коля слегка ослабил зажим.

Док приложил к затылку девушки электрорубанок, включил. Девушка завизжала. На пол посыпалась костная стружка.

— Все, все, — он выключил рубанок, осмотрел отверстие в затылке и стал расстегивать брюки. Девушка визжала, кровь тонкой струйкой протекла по ее спине.

Док приспустил брюки, стянул трусы и направил свой напрягшийся член в отверстие:

— Милая...

Член вошел в череп девушки, выдавив часть мозга. Девушка замычала, засучила голыми ногами.

— Милая, милая, милая, — док задвигался, облокотившись на станок. Девушка мычала. Кровь и мозговое вещество стекали по спине. Ноги ее судорожно задергались, в промежности показалась кровь, она выпустила газы.

— Милая, милая, ми-и-ила-а-ая, — застонал док, прижимаясь лицом к станку.

— Мы ебем наверняка, — улыбнулся Коля, перебирая инструменты.

Док громко застонал и замер. Девушка молча дергалась. Док поднялся, член его с чмокающим звуком вышел из черепа. Он подошел к табуретке, на которой стояла кастрюля. Коля подал ему обмылок и скупно полил воды из бутылки.

— Ой, ой... — вздохнул док, неторопливо обмывая член.

— Птичьи гнезда! — засмеялся Коля.

— Пухначев и Мензелинцев! — выкрикнул Ребров, теряя терпение.

— Пух-на-чев! Мен-зе-лин-цев!

— Который раз вы это повторяете? — усмехнулся док.

— Любезный, мы что вам — бедные родственники?! — дернулся Штаубе. — Попрошайки?! Я вам в отцы гожусь!

— Мы уже час потеряли!

— Вам все равно до рассвета ждать придется, — док вытер член поданным Келей полотенцем. — Ночью к ангарам не пройти.

— А с фонарями? — спросил Ребров.

— Костей не соберете. Там все на соплях, все валится.

— А как же... какого хуя мы надрывались?! — воскликнул Штаубе.

— Не надо при мне выражаться, — поморщился док, застегивая штаны. — Грудь у вас?

— У нас.

— Покажите.

Ребров открыл «дипломат», вынул пакет с частью груди Леонтьева, протянул доку. Док развязал пакет, посмотрел:

— Так. Шрамик, волосики, сосочек. Под Новый год лично целовал... Коль, это вместе с чувихой — наверх.

Он бросил пакет на пол. Коля разжал тиски станка, труп повалился на пол.

— Еще б чуть-чуть и родила! — Коля подмигнул Ольге и развел ноги трупа. В окровавленных гениталиях виднелась головка ребенка.

— Где промежуточный? — док вышел в коридор.

— Вон там, — Ребров двинулся за ним. Возле комнаты Скобы ползали Марик и Витя. Из открытой двери доносился плач Толяпы.

— Сюда, — док поднял промежуточный, вошел в комнату связи и поставил ящик на стол. — Ой, ну и машина...

— Больненько... больничко... — плакал Толяпа.

— Открывайте, — док отпер несгораемый шкаф.

Ребров открыл промежуточный. В дверь вползли Марик и Витя. Док вынул из шкафа блин и патрон, стал свинчивать.

— Господи, — пробормотал Штаубе, — а я думал... господи!

Ребров повернул рычаг поперечной подачи сдвинул гнек на 3, перевел рейку на 2. Марик поцеловал сапог дока.

— Пшел, — док отпихнул его сапогом.

— Больнаааа! Боольнааа! — закричал Толяпа.

— Заприте дверь, — пробормотал док, подходя и склоняясь над промежуточным.

Ольга заперла дверь. Док вставил блин в осевое гнездо, стал осторожно поворачивать. Ребров тронул рычаг продольной подачи. Гнек завращался, блин стал погружаться в гнездо.

— И без всякой электроники, — усмехнулся док, — только не форсируйте.

— Как же! — радостно бормотал Ребров, — 6, а потом 8 и на параклит.

Марик подполз к доку и поцеловал его сапог. Ребров перевел подачу на 6.

— Иди воруй! Иди воруй! — застучал в дверь Скоба.

Блин погрузился до красной риски, Ребров перевел подачу на 8, оттянул параклит.

— Иди воруй! Иди воруй! — стучал Скоба.

— Сволочь... завтра пошло лес валить! — крикнул док.

Марик подполз к ногам Ольги. Блин погрузился до главной отметки. Ребров снял подачу, перевел гнек на 0 и облегченно выдохнул:

— Хоп.

Ольга потянулась к сумке, но Марик схватил ее за ноги, дернул. Она упала, Витя схватил сумку.

— Стоять, — док выхватил из кармана пистолет, навел на Реброва, попятился к двери, отпер. В комнату с оружием в руках ворвались остальные обитатели подвала.

— А, блядище! Задержалась, падло! — Марик боролся с Ольгой, выкручивая ей руку.

— Руки за голову! — скомандовал Толяпа и молниеносным ударом сбил Реброва с ног.

Штаубе и Сережа подняли руки.

— Во, — Витя вынул из ольгиной сумки пистолет, протянул Толяпе. Толяпа, не глядя, сунул пистолет за пояс, оттолкнул Штаубе, подошел к промежуточному:

— Ну?

— Все, все сделали, — замахал руками док, — кончай их на хуй.

— А замок?

— Что замок? Замок сами откроем.

— Ты?

— Ну... все вместе. Откроем, откроем.

— Откроем? Ай-яй-яй... — Толяпа удивленно покачал головой и ударил дока ногой в грудь. Док полетел на пол.

— Ген, про замок пацан знает, — сказал Скоба, — Леонтьев на него указал.

— Сходи под хуй со своим Леонтьевым, — Толяпа закрыл промежуточный. Марик заломил Ольге руку и сел ей на ноги:

— Вот так, стерва.

Толяпа схватил Сережу за волосы:

— Ну? Скажешь про замок?

— Хуй тебе! Хуй тебе! — закричал Сережа, вырываясь.

Толяпа швырнул Сережу на пол:

— И не только хуй. Яйца, глаза, уши — все отдашь, пока не скажешь. Тащите его в душевую. А этих обшмонать и в кондей. Рыба, Вальтик — отвечаете за них.

Киселек и Лютик уволокли Сережу.

— Не скажет ваш выпиздень — станем из вас кишки тянуть, — Толяпа пнул сапогом Ольгу. — А тебе я пизду разорву. Лично.

Реброва, Ольгу и Штаубе обыскали и втолкнули в темную пустую кладовую. Витя запер их на ключ, Корень притащил скамью, приставил к двери. Они сели на скамью.

— Он мне сломал что-то, — Ребров в темноте ощупывал себя, — ой, больно...

— Так просрать! — выдохнул Штаубе. — Все просрать и просрать в одну минуту! Ольга Владимировна, где вы были со своей реакцией?

— А вы где были... гады, гады, гады! Витя! Как же так?! Почему они не знали? Витя! Витя!

Ребров молчал. Донесся душераздирающий крик Сережи.

— Гады! Гады! — Ольга заколотила в дверь. — Козлы ебены! Отпустите его!

— Отпустим, — донеслось из-за двери. — Выпотрошим и отпустим.

— Мудак вонючий! Говно!

— Будешь твякать — выгоню на мороз.

Сережа закричал.

— Гады! Что они с ним сделают! Витя! Ну что ты сидишь! — она толкнула его в темноте.

— А! — вскрикнул Ребров. — Больно... Наверно это Голубев. Да. Я не проверил по раскладке его ряды. Он мог знать Леонтьева. 62,1 это не клэно, это, погоди... нет! — он подполз к двери. — Погодите! Откройте! Его нельзя трогать! Нельзя разрушать!

— Влипли, влипли! Тыфу, ебанный ты в рот! — плевался Штаубе. — Мордой и в говно! На тебе! Дышите глубже, мудаць!

— Сереженька... гады! Он не знает ничего! Козлы тупые! Вы же все погубите! Открой, козел!

— Я вот тебе открою, — отозвался жующий Витя.

— Все! На хуй... — Штаубе задрал штанину и стал наощупь отсте-

гивать протез. — Взорвусь на хуй. Хватит.

— Как? Что вы? — рассеянно спросил Ребров.

— У меня граната в протезе. Давайте все разом. Сил нет... на хуй эти фундаменты...

— Какая граната? — Ольга коснулась потной головы старика.

— Обычная... хуй ее знает какая, давайте, милые. Все равно помирать, Оленька...

— Подождите... где?

— Тут, в основании, проволоку удалить, а в трубке шнурок... милые, давайте головами на протез, а я за шнурок дерну.

— Ну-ка, дайте, — Ольга забрала у Штаубе протез, зашептала: — Какое оружие у этих двух?

— У одного пистолет, у другого... не помню, Оленька, миленькая, они вам пизду разорвут, а нас в мозги выебут, давайте взорвемся!

— Тише, не орите. Ползите в дальний угол, Витя быстро туда. Уши заткните, рты откройте.

— Оля, Оля!

— Ползите, я ждать не буду! — она вставила трубку протеза в дверную ручку, постучала в дверь. — Ребят, простите меня! У меня для вас очень важное сообщение!

— Слушаем вас, товарищ баба! — усмехнулся Витя.

Ольга вытянула проволоку, дернула за шнурок и бросилась в угол. Взрыв разнес дверь. Ольга выбежала в задымленный коридор, выхватила из кармана изуродованного взрывом Вити пистолет Макарова. В противоположном конце коридора из душевой выбежали Марик, Киселек и Коля. Стоя на коленях, Ольга открыла огонь. Марик упал, Киселек и Коля ответили из автоматов. Ольга бросилась в противоположную кладовую комнату. Ребров схватил за ногу дергающегося, окровавленного Корня, втянул в кладовую. Штаубе выгацил у него из-за пояса наган, стал стрелять, высовываясь из-за двери. Автоматная очередь вспорола дверной косяк над его головой. Штаубе спрятался.

— Бросьте мне, не переводите патроны! — крикнула Ольга. Штаубе бросил ей наган.

— Бегите к лестнице! — Ольга выпустила из нагана четыре пули, одна из которых попала Коле в грудь. Штаубе запрыгал в прихожую, махая пустой штаниной. Ребров, хромя, бросился за ним. Толяп дал длинную очередь, две пули попали Реброву в правый бок, у Штаубе на левой руке отлетел указательный палец. Ольга бросила опустевший наган, выстрелила из пистолета. Пуля разорвала Толяпе щеку.

— Мочить! Мочить! Мочить! — закричал он, скрываясь в одной из комнат. В коридоре появился Скоба с пулеметом. Ольга бросилась в прихожую, к двери, вверх по лестнице. Штаубе тащил за руку Реброва:

— Ну, ну!

Ольга схватила Реброва за другую, они поволокли его наверх.

— Промежуточный... делать надо по 19... — кашлял Ребров.

— Да ебись в рот ваш промежуточный! Из нас решето сделают!

— Спрячьтесь возле лошади, там темно! Они все за мной наверно, а вы в подвал! Ольга побежала на второй этаж. Штаубе с Ребровым скрылись в вестибюле. Скоба первым выбежал из подвала на лестницу и дал очередь.

— Соси хуй, козел! — закричала сверху Ольга.

Скоба, Киселек и Лютик ответили огнем. Куски мрамора и штукатурки полетели вниз.

— Хули шмадите в молоко, давай за ними! — крикнул Толяпа.

Скоба, Киселек и Лютик побежали вверх.

— Иди в буфет и встань там у лестницы, — сказал Толяпа доку. Док побежал направо от вестибюля. Толяпа оторвал от рубашки кусок, приложил к щеке:

— Ебать тебя...

Взял автомат левой рукой и пошел налево по коридору. Ольга вбежала на четвертый этаж, пронеслась по коридору и встала за колонной в холле. Вокруг было холодно, но не темно: луна светила сквозь большие, полуразбитые окна холла. Ольга вынула обойму сосчитала патроны: два в обойме, один в стволе. Быстро прицелилась в углы окна, прошептав:

— Тук, тук, тук.

На лестнице послышался шорох. Ольга сняла сапоги, взяла в левую руку. Киселек осторожно двигался вдоль стены коридора, держа автомат наготове. Дойдя до первой двери, он распахнул ее ногой, вбежал, осмотрел комнату и сразу выбежал. Когда он приблизился к холлу, Ольга издала громкий гортанный звук и бросила сапоги налево. Киселек дал очередь в сторону упавших сапог, Ольга прыгнула из-за колонны направо, выстрелила. Пуля попала Кисельку в левое плечо, он закричал, нажал на спусковой крючок. Ольга сделала два стремительных прыжка, выстрелила. Пуля попала ему в левый бок, он кричал, ведя стволом за Ольгой, она прыгнула за колонну, пули разнесли мраморную облицовку. Киселек упал на колени, потом вскочил, побежал, упал за другую колонну, хрипло позвал:

— Батон! Вася!

Ольга снова издала гортанный звук, выбежала из-за колонны. Киселек выстрелил, Ольга прыгнула вправо, влево, вправо, подбежала к его колонне, встала за ней. Киселек подтянул под себя ноги, приподнялся на колени. Ольга пронзительно закричала, выглянула из-за колонны слева, он выстрелил, она прыгнула вправо, изогнулась, вытянула руку и выстрелила ему в лицо. На лестнице послышался топот. Ольга бросила пистолет, схватила автомат, пробежала по коридору, прыгнула в открытую дверь. Скоба и Лютик подошли к трупам. Скоба присел, повернул к свету изуродованное лицо трупа:

— Даешь по кабинетам, я прикрою.

Лютик стал по очереди осматривать комнаты. Когда он заглянул в

библиотеку, Ольга закричала. Лютик дал очередь по стеллажам с книгами. Стоящая за шкафом Ольга нажала спуск: длинная очередь прошла шкаф, Лютика, окно в холле. Ольга побежала в глубь библиотеки. Скоба переступил через дергающегося Лютика и открыл огонь из пулемета. Ольга бросилась на пол. Скоба двинулся по проходу между стеллажей, стреляя короткими очередями. Крупнокалиберные пули кромсали книги, лента волочилась по полу. Лежа за поваленным стеллажом, Ольга взяла покрывную толстым слоем пыли книгу, бросила через проход. Скоба замер, присел на корточки. Ольга взяла другую книгу, кинула подальше. Скоба снял со стеллажа книгу, кинул. Ольга взяла книгу, села, навела автомат на проход. Скоба брал книги и кидал вперед. Одна из них попала в Ольгу. Ольга кинула свою книгу. Скоба дал длинную очередь веером, прислушался. Ольга сложила губы трубочкой и издала мягкий тонкий звук. Скоба двинулся по проходу. Пулеметная лента шуршала по полу. Ольга замолчала. Скоба остановился. До Ольги оставался один стеллаж.

— Знаешь, я ни хера с бабами не могу, — сказала она. Скоба шагнул к ней из прохода, навел пулемет:

— Ну-ка.

Ольга бросила автомат, встала:

— Они всегда первыми.

— А ты думала — рябью? — злобно усмехнулся Скоба. — Платочница хуева! Ну-ка топай сюда.

Ольга прошла по проходу к двери:

— Можно я сапоги надену?

— Иди! — он подтолкнул ее стволом пулемета. Они вышли в холл. Ольга нашла сапоги, стала натягивать.

— Про Сашку сама придумала, или хреновья твои подучили?

Ольга молчала.

— Топай прямо.

Она пошла по коридору, дуя на озябшие руки. Возле запасной лестницы остановилась.

— Топай вниз, — подтолкнул ее Скоба. Ольга опустилась на колени:

— Погоди...

— Ну!

— Погоди... я не могу так. Погоди! Там послонная окраска! Я же не могла все придумать! Нельзя ведь сразу!

— Вали вниз! — Скоба толкнул ее ногой. — Спой мне еще про шкалу!

— Я не могу сразу! — зарыдала Ольга. — Там метки! Я не машина!

— Вали, не теряй время!

Ольга стала спускаться по темной лестнице, Скоба двинулся за ней.

— Там метки! Нельзя! Нельзя! — рыдала она.

Едва они прошли третий этаж, сзади раздалась автоматная очередь:

— Ложись!

Пули сбили с потолка штукатурку. Ольга бросилась на пол.

— Свои, — Скоба повернулся к Толяпе и дал длинную очередь. Толяпа перелетел через перила, рухнул на ступени.

Ольгин пистолет выскочил у него из-за пояса, закувыркался вниз по ступеням.

— Там еще один! — закричала Ольга.

Скоба посмотрел вверх. Ольга вскочила, прыгнула через перила вниз.

— Сидеть! — Скоба открыл огонь. Ольга прыгнула на площадку, подняла пистолет, побежала вниз. Снизу раздалась автоматная очередь, пули просвистели рядом с Ольгой. Она бросилась за угол.

— Сидеть, блядь! Сидеть, платочница! — Скоба спускался по лестнице, непрерывно стреляя. Ольга сняла пистолет с предохранителя. Снизу дали очередь, пули ударили в стену рядом. Скоба замер. Стреляные гильзы прыгали по ступеням. Снизу свистнули. Скоба ответно свистнул. Кровь Толяпы закапала с третьего этажа вниз, замерзая на лету. Лыдинки сыпались в темноте возле ольгиных ног. Ольга прыгнула вправо, упала, перекатилась в коридор. Сверху и снизу стали стрелять. Она вскочила, понёслась по коридору.

— Размажу, блядь! Сидеть! — закричал Скоба.

Добежав до конца, Ольга распахнула торцевую дверь и оказалась в большом зале для заседаний. Стекла в широких окнах были выбиты, сугробы покрывали ряды гнилых кресел. Увязая по коленям в снегу, Ольга пробежала по проходу, вспрыгнула на подиум, перемахнула через провалившийся стол с ключьями истлевшего красного сукна и встала за массивный мраморный бюст Ленина. Скоба вбежал, дал очередь веером, Ольга дважды выстрелила из-за ленинского плеча: первая пуля срикошетила от пулемета Скобы, вторая попала ему в правое бедро. Он закричал, бросился в сугроб, привстал и открыл огонь. Мраморные осколки полетели от бюста, Ольга бросилась на пол, проползла до развалившегося рояля, стала целиться, но прямо перед ней из гнилых обломков вывалилась огромная, бутристая крыса с коротким, но необыкновенно толстым хвостом, тяжело прыгнула с подиума и не торопясь побежала. Ольга вскочила, и, визжа, стреляла в крысу до тех пор, пока пистолет не шелкнул, выбросив ствол.

— Вот спасибо, — раздался сзади голос дока, — одной тварью меньше.

Ольга обернулась. Док вышел из пролома в заднике, навел на нее автомат:

— Вася! Свои.

— Размажу, блядь! Размажу, пизда! — Скоба выбрался из сугроба, захромая к подиуму.

— Не надо, Витя! — закричала Ольга, с ужасом глядя за спину дока. Док оглянулся, Ольга прыгнула к нему, схватила автомат за ствол, задрала вверх, очередь ударила в потолок. Другой рукой Ольга вцепи-

лась в лицо дока, они упали.

— Мне, мне, бяды! — Скоба дохромал до подиума, отбросил пулемет, полез на борющихся. Док ударил Ольгу кулаком по голове, но выпустил автомат, Ольга рванулась в сторону, Скоба схватил ее за ногу, дернул к себе, она скользнула по мерзлому вспученному паркету. Скоба навалился, впился зубами в ее щеку, она закричала, нащупала спусковой крючок, ткнула дулом в локоть Скобы: его рука отлетела в зал, он закричал, изо рта вывалился кусок ольгиной щеки, Ольга вырвалась, док ударил ее ногой в лицо, она отлетела к бюсту, выронив автомат, док бросился к нему.

— Бляа-а-а-ады! — Скоба схватил пулемет за ствол, размахнулся, Штаубе трижды выстрелил в него из пистолета, Скоба с криком упал с подиума, док бросился за бюст, Ольга вцепилась в него, Штаубе запрыгал к бюсту, док выстрелил, очередь разорвала свитер у Штаубе под мышкой, Штаубе выстрелил, падая, пуля попала доку в плечо, Ольга схватила его за рот, потянула вниз, док упал, ударил ее автоматом, Штаубе дополз до бюста, выстрелил, пуля оторвала у дока подбородок, задела ольгину руку, Штаубе схватил дока за голову, стал бить об угол бюста:

— Не дыши! Не дыши! Не дыши!

Ольга схватила автомат, оттолкнула Штаубе, выстрелила доку в лицо, мозг и кровь брызнули на бюст.

— Там Виктор чуть живой, — Штаубе бросил пустой пистолет, встал, оперевшись о бюст.

— А Сережа?..

— Живой, снять надо, пошли.

Они сползли с подиума, обнявшись двинулись по проходу, но Штаубе упал:

— Ебанный ты... Оленька, идите, я доползу.

Ольга повесила автомат на шею, зачерпнула снега, приложила к разорванной щеке:

— Лезьте мне на спину.

— Да нет, не надо...

— Лезьте, ну, лезьте! Лезьте! — закричала она. Штаубе повис на ней, она пошла. Миновали дверь, коридор. В вестибюле спугнули двух огромных крыс, объедающих труп проводницы, спустились в подвал. Гольий Сережа висел в душевой на крюке, воткнутом под ключицу. Ребров сидел в углу, зажимая свои раны.

— Я держу, — Штаубе обнял сережины ноги. Ольга перестрелила веревку, Сережа свалился в руки Штаубе.

— Сереженька, — Ольга вытянула крюк, Сережа застонал.

— У меня... плывет, — бледный Ребров закрыл глаза, потряс головой. — Малую раскладку... быстро.

Ольга принесла портфель, вынула развертку, расстелила на полу. Штаубе передал Реброву эбонитовый шар, Ребров выпустил его из

окровавленных пальцев. Шар остановился на «службе». Ольга положила одну пластину на 3, другую на 7. Штаубе тронул жезлом красное. Ольга подтянула Сережу в развертке, стала шлепать по щекам:

— Сереженька, раскладка, Сереженька...

Сережа открыл глаза. Кровь текла из-под ключицы тонкой стружкой. Ольга вложила мелок ему в руку, он провел им по «стене-затвору» и выронил. Ребров сдвинул сегмент к «большому», тронул шар. Шар показал «доверие». Ольга переставила правую пластину на 29. Штаубе прошел кольцом красное. Ольга вложила мелок в сережину руку. Сережа поместил «стену-дом». Ребров ткнул пальцем в «нед-корень», сдвинул сегмент к «пресечению», тронул шар. Шар показал «паузу». Ольга переставила левую пластину на 2. Штаубе тронул жезлом желтое. Сережа потерял сознание. Ольга тряхнула его:

— Сереж! Последний круг.

Штаубе шлепнул его по иссеченным ягодицам:

— Не подводи, немного осталось.

— Мне... совсем плохо, торопитесь... — Ребров лег на спину.

Ольга стала бить Сережу по щекам:

— Ну! Ну! Ну!

— Будите... его, — тяжело выдохнул Ребров и закашлял.

Ольга открыла душ, подволокла Сережу. Холодная вода потекла по его лицу, Штаубе тряс его ноги, пачкая кровью, текущей из отстрелянного пальца:

— Вставай, миленький! Вставай, Христа ради!

Сережа не шевелился. Штаубе впился зубами в его ногу, Ольга била по щекам, брызгая водой.

— Крюк... — сказал Ребров, глядя в потолок.

— Ага... — Ольга бросила Сережу, связала перестрелянную веревку морским узлом, Штаубе воткнул крюк Сереже в рану, под ключицу, Ольга потянула веревку:

— Милый, пожалуйста, Сереженька!

Сережа закачался над полом. Штаубе схватил его за мошонку:

— Проснись, стервец!

Сережа застонал. Ольга опустила его, подтянула к развертке, Штаубе положил мелок ему на ладонь.

— Сережа, я прошу тебя, — проговорил Ребров, приподнимаясь.

Сережа сжал мелок:

— Спина... больно...

Ольга повернула его мокрую голову к развертке. Сережа уронил руку с мелком на «стену-выход». Ребров оттянул по семи, сдвинул сегмент на поле, тронул шар. Шар показал «прыжок».

Штаубе перекрестился, отшвырнул жезл. Ольга выдернула крюк из-под сережиной ключицы. Ребров встал, держась за стену:

— Генрих Иваныч... найдите там фомку... или стамеску.

Штаубе запрыгал в коридор. Ольга подобрала Сережину одежду,

стала натягивать на него свитер.

— Не надо, — Ребров шатаясь вышел в коридор.

Ольга потащила Сережу за ним. Ребров вошел в кабинет дока, схватился за письменный стол, стал отодвигать, закашлял, брызгая кровью.

— Ну что ты, мудака! — Ольга бросила Сережу, оттолкнула Реброва, отодвинула стол.

Вошел Штаубе, опираясь на две лопаты. За поясом у него торчали две стамески.

— Спина... — слабо заплакал Сережа.

— Третья паркетина от угла, — Ребров перевернулся на спину. — Промежуточный, жидкую мать...

Ольга выбежала. Штаубе загнал стамеску в паркет, отковырнул паркетину: в проеме показался металл.

— Есть, — Штаубе стал быстро разбивать паркет. Ольга приволокла ящик с промежуточным блоком и чемодан с жидкой матерью, бросилась помогать Штаубе. Под паркетом оказался большой стальной квадрат, притянутый восемью мощными болтами. Штаубе и Ольга вывинтили болты, поддели стальной лист стамесками, сдвинули. Под ним был люк с винтовой задвижкой и четырехзначным наборным замком.

— Витя! — Ольга толкнула Реброва, он подполз к люку:

— 4242.

Штаубе набрал, отвернул задвижку, потянул:

— Помоги.

Ольга вцепилась в кольцо задвижки. Люк медленно открылся.

— Витенька! Витенька! — Ольга бросилась целовать бледное лицо Реброва.

— Там ступени, — Штаубе заглянул вниз, — и темно. У этих гадов где-то фонарик был.

— Момент! Я помню! — Ольга выбежала и вернулась с электрическим фонарем Марика.

— Вниз, вниз... — бормотал Ребров.

Ольга спустилась по ступенькам в просторный бункер, светя фонариком, крикнула:

— А тут подвал и нет ничего!

— Вниз... — Ребров закашлялся. Штаубе подволок Сережу к люку, Ольга поднялась, приняла его. Потом спустили Реброва, промежуточный и жидкую мать.

— Сегменты, — пробормотал Ребров.

— Чьи? — Ольга и Штаубе переглянулись.

— Все.

Ольга вынула из кармана свой и сережин, Штаубе забрал у Реброва, пошарил в карманах:

— Есть.

Ребров прижался лицом к бетонному полу:

— Разложите по углам... в порядке иерархии. Большой шкалой к

центру бункера... красным краем к правым сторонам... ко всем правым...

Ольга и Штаубе двинулись к углам.

— Они мне ноги отрезали? — приподнялся на руках Сережа. — Где мои ноги?!

— Здесь, здесь, — бормотал Штаубе.

— Дестнитку... через концевое...

— Крестом?

— Да.

Через минуту дестнитка была продета во все четыре сегмента. Ольга достала шарие, пустили по нитке. Шарие покатились, мягко жужжа.

— Пльвет... там я дальше не знаю... — шептал Ребров, — но там... там просто уже...

— Вы это корректируйте, Штаубе следил фонарем за шарием.

— Ноги... ноги! — плакал Сережа, трогая в темноте свои голые ноги.

— Натянули слабо, — бормотал Штаубе.

Шарие остановилось.

— Витя! Что теперь? — Ольга склонилась над подрагивающим шарием.

— Я... точно не знаю... — шептал Ребров.

Штаубе осветил пол под шарием, тронул еле заметный выступ, который оказался стальной пластиной, замаскированной под бетон. Штаубе сдвинул пластину. Под ней была замочная скважина.

— Ключ?

— На... шее... — прошептал Ребров.

Сережа рыдал.

— Ключ! Ключ! — закричала Ольга.

— На шее... — шептал Ребров.

Она бросилась к нему, пошарила на шее, сняла цепочку с плоским длинным ключом, передала Штаубе. Он вставил ключ в скважину, повернул. Послышалось гудение, пол дрогнул и поехал вниз.

— Едем, Витя! — Ольга гладила его по голове. Спуск в бетонную шахту был долгим: освещенное отверстие люка сузилось, превратилось в слабый огонек, он пропал во тьме. Пол остановился. Ольга посветила фонарем: кругом бетонные стены, в одной из них металлический щит с замочной скважиной. Штаубе вынул ключ из скважины в полу, передал Ольге. Она вставила ключ, повернула.

Щелкнула пружина, щит сдвинулся, открыв металлическое углубление со сложным профилем и множеством отверстий.

— Витя, смотри! — Ольга светила в углубление.

Лежащий на полу Ребров не отвечал.

— Виктор Валентиныч... — подполз к нему Штаубе, — коррекция.

Ребров молчал. Штаубе перевернул его на спину. Ольга посветила: полуприкрытые глаза Реброва были неподвижны.

— Витя! Витя! Витя! — Ольга стала бить его по щекам.

— Холодно... — плакал Сережа.

— Погоди, я понял, — Штаубе подполз к ящику с промежуточным блоком, — посвети-ка...

Ольга посветила. Штаубе открыл ящик, стал вывинчивать крепежные винты.

— Оль, оль, мне гвозди вбиты! — зарыдал Сережа, подползая к ее ногам. — Оль, ты не скажешь? Не скажешь?

— Отстань! — крикнула Ольга.

Сережа рыдал, зажав себе рот. Штаубе стал вынимать промежуточный из ящика:

— Помогите...

Ольга помогла ему.

— Догадался, додумался, старая жопа! — засмеялся Штаубе. Они поднесли промежуточный к стене и вставили в углубление. Профиль промежуточного совпадал с профилем углубления. Штаубе повернул рычаг поперечной подачи, сдвинул гнек на 3, перевел рейку на 5, оттянул параклит:

— Что на раскладке было перед «прыжком»?

— «Пауза».

Штаубе тронул рычаг продольной подачи. Гнек завращался. Штаубе перевел параклит на автореверс, сдвинул рейку на 7. Когда красные риски параклита и гнека совпали, он потянул кольцо. Раздался свист; все оси погрузились в гнезда, стена задрожала и поехали вправо. Как только она достигла крайнего положения, послышалось гудение движка, в открывшемся пространстве вспыхнул свет. Штаубе вцепился в чемодан с жидкой матерью, пополз с ним вперед. Ольга поволокла Сережу и Реброва. Они оказались в просторном бетонном бункере. Посередине стояли четыре разделочных пресса ПРМ-118. В пол была вмонтирована никелированная воронка.

— Господи, помилуй... Господи, помилуй... — крестясь, Штаубе подполз к воронке, подтянул чемодан с жидкой матерью, стал стамеской срывать замок.

— А вы взорваться хотели! — нервно засмеялась Ольга и разрыдалась.

— Все, все, Господи, все... — Штаубе вытянул пробку, наклонил чемодан. Бурая жидкость потекла в раковину.

Ольга разделась, стянула с Сережи свитер. Мальчик закричал.

— Милый, потерпи немного... нет! Я не верю! Сереженька! Витя! А вдруг не сработает?! За что! За что же нам?! — рыдала Ольга.

— Все, все... — Штаубе бросил опустевший чемодан, стал раздеваться.

Ольга подняла Сережу, положила его на станину пресса.

— Оль, уже? — спросил он.

— Да, милый, — она вложила его неподвижные, посиневшие ноги в крепежные углубления. — А руки — туда...

Сереза сунул руки в крепежные отверстия.

— Раньше времени тоже... не надо... — голый Штаубе подполз к Реброву, принялся развязывать шнурки на его ботинках.

— Штаубе, милый, я не могу! — засмеялась Ольга, размазывая кровь по лицу. — Мы пришли!

— Не надо раньше... помогите мне...

Вдвоем они раздели Реброва, уложили на станину.

— Там рычаг... — Штаубе полез на свой пресс.

— Я знаю, — Ольга повернула красный рычаг на прессе Реброва, потом на прессе Серези.

Штаубе дотянулся до своего рычага, повернул:

— Быстро надо...

Ольга бросилась к своему прессу, легла, повернула рычаг. Прессы заработали. Их головки стали опускаться, раскрываясь.

— Олы! — позвал Сереза.

— Молчи! Молчи! — радостно плакала Ольга.

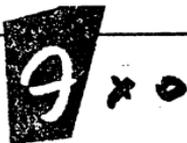
— Вот... — Штаубе закрыл глаза, облизал потрескавшиеся губы.

Граненые стержни вошли в их головы, плечи, животы и ноги. Завращались резцы, опустились пневмобатареи, потек жидкий фреон, головки прессов накрыли станины. Через 28 минут спрессованные кубики и замороженные сердца четырех провалились в роллер, где были маркированы по принципу игральных костей. Через 3 минуты роллер выбросил их на ледяное поле, залитое жидкой матерью. Сердца четырех остановились:

6, 2, 5, 5.







М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
/1826 — 1889/

ВОЙНЫ ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ (фрагмент)

Бородавкин, застегнутый на все пуговицы и полный отваги, выехал на белом коне. За ним следовал пушечный и ружейный снаряд. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих...

Так начался тот замечательный ряд событий, который описывает летописец под общим наименованием «войн за просвещение».

Первая война «за просвещение» имела, как уже сказано выше, поводом горчицу и началась в 1780 году, то есть почти вслед за прибытием Бородавкина в Глупов.

Тем не менее, Бородавкин сразу палить не решился; он был слишком педант, чтобы впасть в столь явную административную ошибку. Он начал действовать постепенно и с этой целью предварительно созвал глуповцев и стал их заманивать. В речи, сказанной по этому поводу, он довольно подробно развил перед обывателями вопрос о подспорьях вообще и о горчице, как о подспорье, в особенности; но оттого ли, что в словах его

Сатирический роман «История одного города», откуда взят отрывок, был издан в 1870 г. и сразу обвинен в глумлении над настоящим и историей России. При Сталине ходил стишок: «Салтыковы-щедрины нам поласковой нужны. И такие гоголи, чтобы нас не трогали». Сегодня такие «ласковые» гоголи не только «их» не трогают, но и орут в сторону тех, кто хотел бы тронуть: «Раздавите гадину!» И тем не менее рискуем в нашей постоянной рубрике предоставить слово классике.

было более личной веры в правоту защищаемого дела, нежели действительной убедительности, или оттого, что он, по обычаю своему, не говорил, а кричал, — как бы то ни было, результат его убеждений был таков, что глуповцы испугались и опять всем обществом пали на колени...

Между тем не могло быть сомнения, что в Стрелецкой слободе заключается источник всего зла. Самые безотрадные слухи доходили до Бородавкина об этом крамольничьем гнезде. Явился проповедник, который перелагал фамилию «Бородавкин» на цифры и доказывал, что ежели выпустить букву *p*, то выйдет ббб, то есть князь тьмы. Ходили по рукам полемические сочинения, в которых объяснялось, что горчица есть былие, выросшее из тела девки-блудницы, прозванной за свое распутство горькою — оттого-де и пошла в мир «горчица». Даже сочинены были стихи, в которых автор добирался до градоначальниковой родительницы и очень неодобрительно отзывался о ее поведении. Внимая этим песнопениям и толкованиям, стрельцы доходили почти до восторженного состояния. Схватившись под руки, они бродили вереницей по улице и, дабы навсегда изгнать из среды своей дух робости, во все горло орали.

Бородавкин чувствовал, как сердце его, капля по капле, переполняется горечью. Он не ел, не пил, а только произносил сквернословия, как бы питая ими свою бодрость. Мысль о горчице казалась до того простою и ясною, что непринятие ее нельзя было истолковать ничем иным, кроме злонамеренности. Сознание это было тем мучительнее, чем больше должен был употреблять Бородавкин усилий, чтобы обуздывать порывы страстной природы своей.

— Руки у меня связаны! — повторял он, задумчиво покусывая темный ус свой. — А то бы я показал вам, где раки зимуют!

Но он не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии есть все-таки сечение, и это сознание подкрепляло его. В ожидании этого исхода он занимался делами и писал втихомолку устав «о нестеснении градоначальников законами». Первый и един-

ственный параграф этого устава гласил так: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит».

Однако ж, покуда устав еще утвержден не был, а следовательно, и от стеснений уклониться было невозможно. Через месяц Бородавкин вновь созвал обывателей и вновь закричал. Но едва успел он произнести два первых слога своего приветствия («об оных, стыда ради, умалчиваю», — оговаривается летописец), как глуповцы опять рассыпались, не успев даже встать на колени. Тогда только Бородавкин решился пустить в ход настоящую цивилизацию.

Ранним утром выступил он в поход и дал делу такой вид, как будто совершает простой военный променад. Утро было ясное, свежее, чуть-чуть морозное (дело происходило в половине сентября). Солнце играло на касках и ружьях солдат; крыши домов и улицы были подернуты легким слоем инея; везде топились печи, и из окон каждого дома виднелось веселое пламя.

Хотя главною целью похода была Стрелецкая слобода, но Бородавкин хитрил. Он не пошел ни прямо, ни направо, ни налево, а стал маневрировать. Глуповцы высыпали из домов на улицу и громкими одобрениями поощряли эволюции искусного вождя.

— Слава те, господи! кажется, забыл про горчицу! — говорили они, снимая шапки и набожно крестясь на колокольню.

А Бородавкин все маневрировал да маневрировал и около полден достиг до слободы Негодницы, где сделал привал. Тут всем участвующим в походе роздали по чарке водке и приказали петь песни, а ввечеру взяли в плен одну мещанскую девицу; отлучившуюся слишком далеко от ворот своего дома.

На другой день, проснувшись рано, стали отыскивать «языка». Делали все это серьезно, не моргнув. Привели какого-то еврея и хотели сначала повесить его, но потом вспомнили, что он совсем не для того требовался, и простили. Еврей, положив руку под стег-

но, свидетельствовал, что надо идти сначала на слободу Навозную, а потом кружить по полю до тех пор, пока не явится урочище, называемое «Дунькиным врагом». Оттуда же, миновав три поверки, идти куда глаза глядят.

Так Бородавкин и сделал. Но не успели люди пройти и четверти версты, как почувствовали, что заблудились. Ни земли, ни неба — ничего не было видно. Потребовал Бородавкин к себе вероломного жида, чтоб повесить, но его уже и след простыл (впоследствии оказалось, что он бежал в Петербург, где в это время успел получить концессию на железную дорогу). Плутали таким образом среди белого дня довольно продолжительное время, и сделалось с людьми словно затмение, потому что Навозная слобода стояла въяве у всех на глазах, а никто ее не видел. Наконец, спустились на землю действительные сумерки, и кто-то крикнул: «Грабят!» Закричал какой-то солдатик спяна, а люди замешались и, думая, что идут стрельцы, стали биться. Бились крепко всю ночь, бились не глядя, а как попало. Много тут было раненых, много и убиенных. Только когда уж совсем рассвело, увидели, что бьются свои с своими же и что сцена этого недоразумения происходит у самой околицы Навозной слободы. Положили: убиенных похоронив, заложить на месте битвы монумент, а самый день, в который она приходила, почтить наименованием «слепорода» и в воспоминание об нем учредить ежегодное празднество с свистопляскою...

На седьмой день выступили чуть свет, но так как ночью дорогу размыло, то люди шли с трудом, а орудия вязли в расступившемся черноземе. Предстояло атаковать на пути гору Свистуху; скомандовали: «В атаку!», передние ряды отважно бросились вперед, но оловянные солдатки за ними не последовали: И так как на лицах их, «ради поспешения», черты были нанесены лишь в виде абриса и притом в большом беспорядке, то издали казалось, что солдатки иронически улыбаются. А от иронии до крамолы — один шаг.

— Трусые! — процедил сквозь зубы Бородавкин, но явно сказать это затруднился и вынужден был отступить

от горы с уроном...

Войско было окончательно деморализовано. Когда вылезли из трясины, перед глазами опять открылась обширная равнина и опять без всякого признака жилья. По местам валялись человеческие кости и возвышались груды кирпича; все это свидетельствовало, что в свое время здесь существовала довольно сильная и своеобразная цивилизация (впоследствии оказалось, что цивилизацию эту, приняв в нетрезвом виде за бунт, уничтожил бывший градоначальник Урус-Кугуш-Кильдибаев), но с той поры прошло много лет, и ни один градоначальник не позаботился о восстановлении ее. По полю пробегали какие-то странные тени; до слуха долетали таинственные звуки. Происходило что-то волшебное, вроде того, что изображается в 3-м акте «Руслана и Людмилы», когда на сцену вбегает испуганный Фарлаф. Хотя Бородавкин был храбрее Фарлафа, но и он не мог не содрогнуться при мысли, что вот-вот навстречу выйдет злобная Наина...

Только на осьмой день, около полден, измученная команда увидела стрелецкие высоты и радостно затрубила в рога. Бородавкин вспомнил, что великий князь Святослав Игоревич, прежде нежели побеждать врагов, всегда посылал сказать: иду на вы! — и, руководствуясь этим примером, командировал своего ординарца к стрельцам с таким же приветствием.

На другой день, едва позолотило солнце верхи соломенных крыш, как уже войско, предводительствуемое Бородавкиным, вступало в слободу. Но там никого не было, кроме заштатного попа, который в эту самую минуту рассчитывал, не выгоднее ли ему перейти в раскол. Поп был древний и скорее способный поселять уныние, нежели вливать в душу храбрость.

— Где жители? — спрашивал Бородавкин, сверкая на попа глазами.

— Сейчас тут были! — шамкал губами поп.

— Как сейчас? куда же они бежали?

— Куда бежать? зачем от своих домов бежать? Чай, здесь где-нибудь от тебя схоронились!

Бородавкин стоял на одном месте и рыл ногами

землю. Была минута, когда он начинал верить, что энергия бездействия должна восторжествовать.

— Надо было зимой поход объявить! — раскаивался он в сердце своем: — тогда бы они от меня не спрятались!

— Эй! кто тут! выходи! — крикнул он таким голосом, что оловянные солдатики — и те дрогнули.

Но слобода безмолвствовала, словно вымерла. Вырывались откуда-то вздохи, но таинственность, с которою они выходили из невидимых организмов, еще более раздражала огорченного градоначальника.

— Где они, бестии, вздыхают? — неистовствовал он, безнадежно озираясь по сторонам и, видимо, теряя всякую сообразительность. — Сыскать первую бестию, которая тут вздыхает, и привести ко мне!

Бросились искать, но как ни шарили, а никого не нашли. Сам Бородавкин ходил по улице, заглядывая во все щели, — нет никого! Это до того его озадачило, что самые несообразные мысли вдруг целым потоком хлынули в его голову.

«Ежели я теперича их огнем разорю... нет, лучше голодом поморю!...» — думал он, переходя от одной несообразности к другой.

И вдруг он остановился, как пораженный, перед оловянными солдатами.

С ними происходило что-то совсем необыкновенное. Постепенно в глазах у всех солдатики начали наливаться кровью. Глаза их, доселе неподвижные, вдруг стали вращаться и выражать гнев; усы, нарисованные вкривь и вкось, встали на свои места и начали шевелиться; губы, представлявшие тонкую розовую черту, которая от бывших дождей почти уже смылась, оттопырились и изъявляли намерение нечто произнести. Появились ноздри, о которых прежде и в помине не было, и начали раздуваться и свидетельствовать о нетерпении.

— Что скажете, служивые? — спросил Бородавкин.

— Избы... избы... ломать! — невнятно, но как-то мрачно произнесли оловянные солдатики.

Средство было отыскано.

Начали с крайней избы. С гиком бросились «оловян-

ные» на крышу и мгновенно остервенились. Полетели вниз вязки соломы, жерди, деревянные спицы. Взвились вверх целые облака пыли.

— Тише! тише! — кричал Бородавкин, вдруг заслышав около себя какой-то стон.

Стонала вся слобода. Это был неясный, но сплошной гул, в котором нельзя было различить ни одного отдельного звука, но который всей своей массой представлял едва сдерживаемую боль сердца.

— Кто тут? выходи! — опять крикнул Бородавкин во всю мочь.

Слобода смолкла, но никто не выходил. «Чаяли стрельцы, — говорит летописец, — что новое сие изобретение (то есть усмирение посредством ломки домов), подобно всем прочим, одно мечтание представляет, но недолго пришлось им в сей сладкой надежде себя утешать».

— Катай! — произнес Бородавкин твердо.

Раздался треск и грохот; бревна одно за другим отделялись от сруба, и по мере того, как они падали на землю, стон возобновлялся и возрастал. Через несколько минут крайней избы как не бывало, и «оловянные», ожесточившись, уже брали приступом вторую. Но когда спрятавшиеся стрельцы после короткого перерыва вновь слышали удары топора, продолжавшего свое разрушительное дело, то сердца их дрогнули. Выползли они все вдруг, и старые и малые, и мужеск и женск пол, и, воздев руки к небу, пали среди площади на колени. Бородавкин сначала было разбежался, но потом вспомнил слова инструкции: «при усмирениях не столько стараться об истреблении, сколько о вразумлении» — и притих. Он понял, что час триумфа уже наступил и что триумф едва ли не будет полнее, если в результате не окажется ни расквашенных носов, ни свороченных на сторону skulls.

— Принимаете ли горчицу? — внятно спросил он, стараясь, по возможности, устранить из голоса угрожающие ноты.

Толпа безмолвно поклонилась до земли.

— Принимаете ли, спрашиваю я вас? — повторил он, начиная уж закипать.

— Принимаем! принимаем! — тихо гудела, словно шипела, толпа.

— Хорошо. Теперь сказывайте мне, кто промеж вас память любезнейшей моей родительницы в стихах оскорбил?

Стрельцы позамялись; неладно им показалось выдавать того, кто в горькие минуты жизни был их утешителем; однако после минутного колебания решились исполнить и это требование начальства.

— Выходи, Федька! небось! выходи! — раздавалось в толпе.

Вышел вперед белокурый малый и стал перед градоначальником. Губы его подергивались, словно хотели сложиться в улыбку, но лицо было бледно, как полотно, и зубы тряслись.

— Так это ты? — захохотал Бородавкин и, немного отступя, словно желая осмотреть виноватого во всех подробностях, повторил: — так это ты?

Очевидно, в Бородавкине происходила борьба. Он обдумывал, мазнуть ли ему Федьку по лицу или наказать иным образом. Наконец, придумано было наказание, так сказать, смешанное.

— Слушай! — сказал он, слегка поправив Федькину челюсть. — Так как ты память любезнейшей моей родительницы обесславил, то ты же впредь каждый день должен сию драгоценную мне память в стихах представлять и стихи те ко мне приносить!

С этим словом он приказал дать отбой.

Бунт кончился, невежество было подавлено, и на место его водворено просвещение. Через полчаса Бородавкин, обремененный добычей, въезжал с триумфом в город, влача за собой множество пленников и заложников. И так как в числе их оказались некоторые военачальники и другие первых трех классов особы, то он приказал обращаться с ними ласково (выколов, однако, для верности, глаза), а прочих сослать на каторгу.

В тот же вечер, запершись в кабинете, Бородавкин писал в своем журнале следующую отметку:

«Сего 17-го сентября, после трудного, но славного девятидневного похода, совершилось всерадостнейшее и

вождеденнейшее событие. Горчица утверждена повсеместно и навсегда, причем не было произведено в расход ни единой капли крови».

«Кроме той, — иронически прибавляет летописец, — которая была пролита у околицы Навозной слободы и в память которой доднесь празднуется торжество, именуемое свистопляскою...»

Очень может статься, что многое из рассказанного выше покажется читателю чересчур фантастическим. Какая надобность была Бородавкину делать девятидневный поход, когда Стрелецкая слобода была у него под боком и он мог прибыть туда через полчаса? Как мог он заблудиться на городском выгоне, который ему, как градоначальнику, должен быть вполне известен? Возможно ли поверить истории об оловянных солдатиках, которые будто бы не только маршировали, но под конец даже налились кровью?

Понимая всю важность этих вопросов, издатель настоящей летописи считает возможным ответить на них нижеследующее: история города Глупова, прежде всего, представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще. Но этого мало. Бывают чудеса, в которых, по внимательном рассмотрении, можно подметить довольно яркое реальное основание. Все мы знаем предание о бабе Яге костяной ногой, которая ездила в ступе и погоняла помелом, и относим эти поездки к числу чудес, созданных народною фантазией. Но никто не задается вопросом: почему же народная фантазия произвела именно этот, а не иной плод? Если б исследователи нашей страны обратили на этот предмет должное внимание, то можно быть заранее уверенным, что открылось бы многое, что доселе находится под спудом тайны. Так, например, наверное обнаружилось бы, что происхождение этой легенды чисто административное и что баба Яга была не что иное, как градоправительница, или, пожалуй, посадница, которая, для возбуждения в обывателях спасительного страха, именно этим способом путешествовала по вверенному ей краю, причем забирала встречавшихся по дороге Иванушек и, возвратив-

шись домой, восклицала: «Покатаюся, поваляюся, Иванушкина мяса поевши».

Кажется, этого совершенно достаточно, чтобы убедить читателя, что летописец находится на почве далеко не фантастической и что все рассказанное им о походе Бородавкина можно принять за документ вполне достоверный. Конечно, с первого взгляда может показаться странным, что Бородавкин девять дней сряду кружит по выгону; но не должно забывать, во-первых, что ему незачем было торопиться, так как можно было заранее предсказать, что предприятие его во всяком случае окончится успехом, и, во-вторых, что всякий администратор охотно прибегает к эволюциям, дабы поразить воображение обывателей. Если б можно было представить себе так называемое исправление на теле без тех предварительных обрядов, которые ему предшествуют, как-то: снимания одежды, увещаний со стороны лица исправляющего и испрошения прощения со стороны лица исправляемого, — что бы от него осталось? Одна пустая формальность, смысл которой был бы понятен лишь для того, кто ее испытывает! Точно то же следует сказать и о всяком походе, предпринимается ли он с целью покорения царств или просто с целью взыскания недоимок. Отнимите от него «эволюции» — что останется?

Нет, конечно, сомнения, что Бородавкин мог избежать многих весьма важных ошибок. Так, например, эпизод, которому летописец присвоил название «слепорода», — из рук вон плох. Но не забудем, что успех никогда не обходится без жертв и что если мы очистим остов истории от тех лжей, который нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только большая или меньшая порция «убиенных». Кто эти «убиенные»? правы они или виноваты и насколько? каким образом они очутились в звании «убиенных»? — все это разберется после. Но они необходимы, потому что без них не по ком было бы творить поминки...



ЕВГЕНИЙ ЛУКИН

НАМ ДЕМОКРАТИЯ ДАЛА...

* * *

Бухой водитель вывалил вчера
полкузова бетона в бункера.
Никто не всполошился до утра —
бетон засох. Долбаем бункера.
Растет обломков сизая гора.
Бетон гудит. Долбаем бункера.
Над нами зной звенит, как мошкара.
В глазах — темно. Долбаем бункера.
Глядите все! Поближе, детвора!
Вас это ждет... Долбаем бункера.
Шло казачье на нас, шли юнкера...
Разбили их... Долбаем бункера...

* * *

Посмотри: встает цунами
над скорлупками квартир.
(Так, разделяваясь с нами,
красота спасает мир.)

Стихами нынче зацепить за душу тяжело. Нужда в поэзии из проклятого настоящего, как бы говоря, не вытекает. Поэтому мы были просто изумлены способностью Евгения Лукина плести из поразительно непоэтической злобы дня свои живые поразительно стихи. Родился он в 1957 г. в Оренбурге в актерской семье. С родителями исколесил всю бывшую страну. Школу кончил в Ашхабаде, пединститут — в Волгограде, где ныне и живет. И пишет из своей провинции, на наш взгляд, исключительно, что называется, «по центру». Впрочем, судите сами.

ГЛАСНОСТЬ

Эгоиста эгоист
 обвиняет в эгоизме,
 обвиняет в карьеризме
 карьериста карьерист,
 педераста педераст
 обзывает педерастом,
 и цепляется к блохастым
 кто воистину блохаст,
 лилипута лилипут
 обвиняет в лилипутстве,
 обвиняет в проститутстве
 проститута проститут,
 а который никого
 никогда не обвиняет —
 пусть отсюдова линяет!
 Чтобы не было его!

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

РЕЦЕПТ: берется коммунист,
 отрезанный от аппарата.
 Добавить соль, лавровый лист —
 и кипятить до демократа.
 РЕЦЕПТ: берется демократ,
 замоченный в житейской прозе.
 Отбить его пять раз подряд —
 и охладить до мафиози.
 РЕЦЕПТ: берется мафио...
 И все. И боле ничего.

* * *

Около квартиры
 среди бела дня
 встретят рэкетеры
 бедного меня.
 В шествии победном
 этих белых дней
 стану я не бедным,
 а еще бедней.

В ЧАСОВОЙ МАСТЕРСКОЙ

Будильник отдавали
с такими мне словами:
«Запчасти в Ереване,
а там забастовали...»
Беру его смиренно
и заявляю: «Хрена
получат эти суки
запчасти от базуки!..»

* * *

Пока демократию эту оттащат от пульта,
она наворочает трупов до уровня культа.

* * *

Все шло при нем наоборот,
и очень может быть,
что вздумай он спить народ —
народ бы бросил пить.
Еще предположить рискну,
что в те же времена
затей он развалить страну —
окрепла бы страна.
Попробуй разорить дотла —
эх жили бы тогда!
Но Президент хотел добра.
Вот в том-то и беда.

* * *

Если в зону придет демократия
(как случилось у нас на Руси),
власть возьмет уголовная братия
с преобладающим уголовным мерси.

* * *

Нет, ребята, я считаю, сгоряча
погребли мы Леонида Ильича!
Помер? Мало ли что помер! Что ж с того?
Вон другой Ильич лежит — и ничего.
Тот лежит Ильич, а этот бы — сидел,
оставаясь как бы вроде бы у дел.
И, насупившись, молчал бы, как живой,
покачнешь его — кивал бы головой...
Я не знаю, что за дурость! Что за прыть!
Лишь бы где-нибудь кого-нибудь зарыты!
Ни носков теперь, ни сахара, ни клизм...
А какой был развитой социализм!..

СЕРЫЙ СТИХ

Ты меня сегодня выпер,
ты со мной не выпил старки,
ты, видать, свихнулся, опер,
по причине перестройки!
Я писал тебе о каждом,
я строчил направо слева.
Ночь висела за окошком,
черно-сизая, как слива.
Если кто-то грустен, опер,
и тоска в бровях заляжет
(ты ж меня сегодня выпер!) —
кто тебе его заложит?!
Размагнитились магниты —
ты со мной не выпил старки.
Прибежишь еще ко мне ты
сразу после перестройки!

ЭМИГРАНТ

(Туда)

Приходило добро с кулаками,
вышибало четыре ребра.
Ковыляю, подпершись клюками
в те края, где поменьше добра.
Говорят, что за тем поворотом —
ни борьбы, ни разбитых оков.

И еще говорят, будто зло там —
безо всяких тебе кулаков...

(Там)

Вот он лежит, мурло упрягав,
в ладони, мокрые от слез,
лишен Отчизны и нитратов,
миллирентгенов и берез.
И в полумгле апартамента,
где каждый гвоздик — эталон,
он видит кепку монумента
и отоваренный талон...

НА ДАЧАХ

Утро. За ночь став лохматее,
выхожу дышать простором.
До рассвета Волга (мать ее!)
тарахтела рыбнадзором.
Дачи. Рощи. Степи русские.
И пустые поллитровки.
Сохнут розовые трусики
на капроновой веревке.
Дунет ветер — затрещат они.
Вот рванулись что есть силы —
и забор, вконец расшатанный,
за собою потащили.
Но прищепка жесткой чавкою
держит трусики из принципа.
Не лететь им вольной чайкою
над просторами искристыми.
Мысль: судьба у всех почетная,
не питайте к чайкам зависти,
если призваны подчеркивать
очертанья чьей-то задницы.

ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД (из Генри Лонгфелло)

С мандариновых предгорий
отдаленного Эльбруса,
от платанов и плантаций

черноморских побережий,
субтропической Колхиды
и зеленой Ленкорани
с тарой, яблоками полной,
в боевых мохнатых кепках
через реки и равнины
к волгоградскому базару
шли грузины и армяне,
шли чечены и ингуши,
отличаясь от команчей
только методом разбоя...

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛИРИКА

На столбе у поворота,
чуть меня завидевши,
раскартавилась ворона
на вороньем идише.
Наклонюсь, душой изранен,
за булыгой черною.
Убирайся в свой Израиль,
сионистка чертова!

—

Ноги — кривы. Зубы — редки.
Ликом — бюрократ.
Но встают за мною предки,
как заградотряд.
Морды — сизы. Кудри — сивы.
Складки по брылам.
Говорят: «Спасай Россию,
а не то — стрелям!..»

—

Ну похмелье! Острый нож!
Как ментом, я им заломан!
А газету развернешь —
и рука ползет за ломом.
Значит, я — туды-сюды! —
рвусь к прилавку, холка в мыле,
а тем временем жида
всю страну уже спойли?
То-то Федька-обормот:
морда — чистый рубероид.

Я гадаю, где берет, —
а его евреи поят!
Ну, ребята, черный сон!
Зарубежный сектор Газа!
Ну-ка ты, жидомасон,
подойди сюда, зараза!
Ох, достану-доберусь,
за кадык возьму за узкий...
Значит, спаиваешь Русь?
Ну а я тебе — не русский?!
И запомни, Самуил:
у меня два лома дома.
Чтоб сегодня же спойл!
А иначе жди погрома.

—

«Мой отец был корявым грузчиком,
гнал плоты, выражаясь крепко...» —
И поэтик прозрачной ручкою
ударяет в грудную клетку.
И сублильная грудь поэта
проминается внутрь от стука...
Ах, генетика ты, генетика!
Буржуазная лженаука!

—

Кто мы? В нынешней реальности
так решается вопрос:
будут две национальности —
недоросс и переросс.
Тут, лишившись беззаботности,
кто-то, ясно, заблажит.
Мы и их на две народности —
недождид и переждид.

ВНЕВРЕМЕННОЕ

Что с классиком меня роднило?
Я гимны звучные слагал
и, правя тяжкое кормило,
челна ветрило напрягал.
Но вихорь злой взревел в природе —
и мне, Господнему рабу,
ветрилом хрястнуло по морде,
потом кормилом — по горбу...

ЭТАЖИ

Седьмой. Починяют душ.
 Шестой. Изменяет муж.
 Пятый. Матерный хор.
 Четвертый. Шурует вор.
 Третий. Грохочет рок.
 Второй. Подгорел пирог.
 Первый. Рыдает алыт.
 Все. Долетел. Асфальт.

МОНОЛОГ ПАТРИОТА

Что ты смотришь по-разному?
 Говоришь про топор...
 День Победы я праздновал —
 занеси в протокол!
 Бормотуха — извергнута.
 А напротив в кустах —
 дуб стоит, как из вермахта, —
 весь в дубовых листьях!
 А мильтоны застали на
 том, что сек топором.
 Так ведь я же за Сталина,
 блин, как в сорок втором!
 Я и за морем Лаптева
 их согласен ломать!
 Я ж за Родину — мать его,
 в корень с листьями мать!
 Я их эники-беники
 в три шестерки трэфей!..
 А изъятые веники —
 это как бы трофей...

* * *

Я волнуясь, читая стихи:
 не слова, а прозрачные слезы.
 Все твердят, что пришли от сохи,
 что вчера еще слезли с березы.
 О родной вспоминают стезе,
 где зады поросли лопухами.
 Так и видят себя в картузе

и в рубахе с шестью петухами.
И живут, разрывая сердца,
под трамвайно-троллейбусный грохот.
Эх, найти бы того подлеца,
что насильно отправил их в город!
Я найду его. Зол и речист,
я прорвусь через сто кабинетов.
Я в лицо ему брошу: «Садист!
Ты за что же так мучишь поэтов?
Ты же слышишь, как стонет стило!
Здесь их жизнь и больна, и кабльна!
Отпусти ты их с миром в село,
посади ты их там на комбайны!»

ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЕ

Апостол Петр, спасаясь от креста,
три раза отрекался от Христа.
И все же ты Петра не презирай —
иначе он тебя не пустит в рай.

МИНОР

Пропади оно все пропадом!
Бледен, худ, небогрет,
обмотаю шею проводом
и отрину табурет.
Пожуют глазами-жвачками
участковые: «Висить...»
И придет монтер с кусачками —
провода перекусить.
Снумут, вынесут по дворикам
вдоль таблички «Телеграф».
А записку бросят дворникам,
ни хрена не разобрав...

* * *

Карлу М.

И я бы стал лохмат и гениален,
женясь на баронессе фон Вестфален.

* * *

О рукотворные ручки,
 берущие начало в люке!
 И руки творческие... Чьи?
 Найти бы, вырвать эти руки...

АЛАНУ КУБАТИЕВУ

А ты знаешь ли, что вчера,
 окажись ты случайно близ,
 на тебя в шесть часов утра
 мог свободно упасть карниз?

А ты знаешь ли, что потом,
 отступи ты на два шажка,
 на тебя паровой каток
 мог наехать исподтишка?

А ты знаешь ли, дорогой:
 наступи ты на ветхий люк —
 он под грузной твоей ногой
 провалился бы — и каюк!..

Не понять тебе, сколько раз
 ты избег минут грозowych
 до того, как тебя сейчас
 переехал мой грузовик.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

художника Волгоградского планетария Виктора К.

Когда он выполз — клянусь вам честью:
 меняю облик, роняю челюсть,
 хватаю камень и молча целюсь,
 не будь я Витей!

Встречал я в наших проулках многое,
 однажды видел живого йога я,
 но шестиногое членистоногое
 еще не видел.

И что досадно: близ места адского —
 ни А.Стругацкого, ни Б.Стругацкого.

Никто не даст мне совета братского,
а это значит:
все растолкую (мол, так и так-то),
постигну сущность любого факта,
плюс бездна такта —
все для контакта,
а не контачит!
Кричу: «Здорово!» — не понимает.
Кладу червонец — не поднимает.
Беру обратно — не отнимает
(такие факты).
Другой бы плюнул, другой ушел бы,
другой давно уже вырвал кол бы...
Я хлопнул по лбу
и вынул колбу
(промыть контакты).
В момент промывки и повториши,
про их планету поговорили,
еще купили, еще открыли —
контакт налажен.
Они гуманны — и мы гуманны,
они гурманы — и мы гурманы,
у них стаканы —
у нас стаканы
(не из горла же!).
Общались сутки, а утром ранним
облобызались при расставании.
Не наше пили, не «ративани»,
а их двуокись!
И понял я, когда принял сотую,
что невзначай прогулял работу я.
Но отработаю.
С большой охотой.
Число и подпись.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

Говорят, что варяги тоже были славяне:
уходили в запой, залезали в долги,
выражались коряво, да такими словами,
что тряслись-прогибались в теремах потолки.

Ну а мы-то не знали, кто такие варяги.
Мы-то думали — немцы, приличный народ:

вмиг отучат от браги, уничтожат коряги
и засыпят овраги у широких ворот.

От корявых посадок — неприятный осадок,
вместо храма — с десяток суковатых полен.
Проживи без варягов, если поле в корягах
и под каждой корягой — нетрезвый словен!

И явились варяги. Там такие ребята...
За версту перегаром и мат-перемат...
И от ихнего мата стало поле горбато
и опасно прогнулись потолки в теремах.

...Говорят, что варяги тоже были славяне.
И тогда говорили, и теперь говорят.
И какой тут порядок, если поле в корягах
и под каждой корягой нетрезвый варяг!

МОНАРХУ

Приветствовать монарха стоя?
Не стучать в землю лбом?
Ты отнял самое святое —
свободу быть рабом!

* * *

О величии идей
говорить пока не будем,
просто жалко мне людей,
что попали в лапы к людям.

Как-нибудь в конце концов
мы сведем концы с концами,
а пока что жаль отцов,
арестованных отцами.

Покривив печально рот,
так и ходишь криворотым:
мол, хороший был народ,
уничтоженный народом...

* * *

— Когда в нашем сердце сиял
восторг героических дел,
скажи: ты за правду стоял?
— Дурак! Я за правду сидел.

* * *

Полистаешь наугад —
все расстрелы да застенки.
От Памира до Карпат
нет невъщербленной стенки.
Вот и думается мне:
до чего же я ничтожен,
если в этакой стране
до сих пор не уничтожен!

* * *

Гляжу, от злобы костяной,
на то, что пройдено.
Пока я лялялся с женой,
погибла Родина.
Иду по городу — гляжу:
окопы веером.
Ну я ей, твари, покажу
сегодня вечером!

* * *

Нам демократия дала
свободу матерного слова.
Да и не надобно другого,
чтобы воспеть ее дела.

* * *

Не пойму я что-то схем
битвы двух систем:
почему я стал никем,
если не был всем?

**Из цикла
«РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ПЕСЕНКИ»**

Вам не стыдно, коммунисты?
Что за клоунада?
Ведь и танки были быстры,
и броня — что надо!
Шли армадой по дороге,
траками пылили —
и кого-то там в итоге
насмерть задавили.
Что сказать... Придурковаты.
Да и бестолковы.
То ли дело демократы —
ну хоть из Молдовы!
Не беда, что не картавы, —
но умеют делать!
Как шарахнут по кварталу
с «МиГа-29»!
И — чего-то не хватает.
Вроде бы квартала.
Только туфелька порхает
с выпускного бала.
Ой ты, звонкое монисто,
пушки заряжены...
Сопляки вы, коммунисты.
Мальчики. Пижоны.

—
Послушай, нас с тобой не пощадят,
когда начнут стрелять на площадях.
Не уцелеть нам при любом раскладе:
дошлют патрон — и зла не ощутят.

Послушай, нам себя не убережь.
Как это будет? Вот о том и речь: ·

вокруг тебя прохожие залягут,
а ты не догадаешься залечь.

Минувя улиц опустевший стык,
ты будешь бормотать последний стих,
наивно веря, что отыщешь рифму —
и все грехи господь тебе простит.

Живи, как жил, как брел ты до сих пор,
ведя с собой ли, с Богом разговор,
покуда за стволом ближайшей липы
не перещелкнул новенький затвор.

—

Были гулкие куранты
и граненые стаканы,
ссоры в транспорте до визгу
и купюры цвета беж...
Эмигранты, эмигранты
собирали чемоданы,
выправляли где-то визу
и мотали за рубеж.
Ну, а мы шагали в ногу,
не шурша, не возникая,
что кругом дороговизна
и оклад сто пятьдесят...
Удивительно, ей-богу,
но какая-никакая
у меня была Отчизна
года три тому назад.
КГБ да Первомай,
Конституция — что дышло,
убежавшим — укоризна
и водяра из горла...
До сих пор не понимаю,
как же это вышло:
я — остался, а Отчизна
чемоданы собрала.
Уложила и смоталась
в подмосковные затоны,
в среднерусский конопляник,
где щекочет соловей...
Мне на Родину осталось
посмотреть через кордоны —
я теперь ее племянник,

выбыл я из сыновей.

Отреклась, как эмигрантка,
и раскаянье не гложет:
мол, ребята, не взыщите,
а не будет хода вспять...
Но потом, когда, поганка,
продадут тебя за грошик,
ты же скажешь: «Защитите!..»
И придется защищать.

—

Две границы пройдено.
Клочьями рубаха.
— Здравствуй, тетя Родина,
я — из Карабаха.
Три границы пройдено.
Складками надбровья.
— Здравствуй, тетя Родина,
я — из Приднестровья.
Все четыре пройдено.
Упаду — не встану.
— Здравствуй, тетя Родина,
я — с Таджикистану.
За подкладкой — сотенка.
Движемся — хромая.
Что ж ты, падла-тетенька?
Али не родная?

—

Что ты, княже, говорил, когда солнце меркло?
Ты сказал, что лучше смерть, нежели полон.
И стоим, окружены у речушки мелкой,
и поганые идут с четырех сторон.

Веют стрелами ветра, жаждой рты спаяло,
тесно сдвинуты щиты, отворен колчан.
Нам отсюда не уйти, с берега Каялы —
перерезал все пути половец Кончак.

Что ты, княже, говорил в час, когда затмение
пало на твои полки вороным крылом?
Ты сказал, что только смерд верует в знаменья,
и еще сказал, что смерть лучше, чем полон.

Так гори, сгорай, трава, под последней битвой.
Бей, пока в руке клинок и в очах светло.
Вся дружина полегла возле речки быстрой,
ну а князь — пошел в полон, из седла — в седло.

Что ты, княже, говорил яростно и гордо?
Дескать, Дону зачерпнуть в золотой шелом!..
И лежу на берегу со стрелой в горле,
потому что лучше смерть, нежели полон.

Как забыли мы одно, самое простое —
что доводишься ты, князь, сватом Кончаку!
Не обидит свата сват, и побег подстроит,
и напишет кто-нибудь «Слово о полку».

* * *

Изрек Христос, осмеянный жестоко,
что нет в моем отечестве пророка.
Так даже с этим на Руси не гладко:
пророки есть — с Отечеством накладка.

* * *

Вы, в разврате потонувшие,
отойдите, потому что я
не торгую звонкой лирою —
я чулками спекулирую!

* * *

Мне снятся сны, где все — как наяву:
иду проспектом, что-то покупаю.
На кой я черт, скажите, засыпаю
и снова, получается, живу!

Я эту явь когда-нибудь взорву,
но не за то, что тесно в ней и тошно,
и даже не за подлость, а за то, что
мне снятся сны, где все — как наяву.

УРОК АНАТОМИИ

Кормит мужа хорошо и много,
никаких превратностей не ждет.
Да, через желудок есть дорога.
Рассказать, куда она ведет?

ЛИРИЧ. ДОВЕСОК

Счастье, выглянув едва,
обернулось пьяным бредом.
То ли предали слова,
то ли я кого-то предал.

Цвета крови и чернил
грязь и ржавчина в горниле.
То ль кого похоронил,
то ль меня похоронили.

Безнадежное зеро.
Где же адская бумага,
петушиное перо,
опереточная шпага!..

Год лобви лобой ценой —
вот и все, о чем просил бы...
Как ты выдуман, Хромой,
беспощадно и красиво!

* * *

Мир сотворен. Границы отвердели.
Который раз по счету сотворен?
И, верно, не на будущей неделе
очередной великий сдвиг времен.

И потому-то думается людям,
что неизменен будничны́й уклад.
И мы живем. И мы друг друга судим.
И кто-то прав. И кто-то виноват.

Сумеет ли за малое мгновенье
понять, что ни один из нас не прав,

когда Господь для нового творенья
смешает с глиной контуры держав!..

* * *

Бросьте, это не жестоко —
просто будет больше света.
Потому сегодня столько
ампутированных веток.

Потому не хмурьте лица,
и потом — не в этом дело,
ибо все должно ветвиться
до известного предела.

И в раздвинутых преддверьях
изумленного апреля —
что вы, право, о деревьях?
На себя бы посмотрели!

Запредельно, звонко, резво
полоснет пила по ветви —
и морозные рассветы
серебрят монету среза.

* * *

В южной местности гористой,
на краю пустыни длинной
рассказали гитаристу
про старинные руины.

Рассказали и гортанным
мертвым именем назвали.
И ушел он по барханам
к серым контурам развалин.

Брел по зыби золотистой
просто так, из любопытства —
поглядеть и возвратиться.
Поглядел — не возвратился.

Он нашел меж серых склепов,
 где кончался мертвый город,
 оловянный серый слепок
 с человеческого горла.

Там, в толпе цветасно-тесной,
 там, за белой толщей праха,
 кто-то пел не просто песню,
 кто-то пел не просто правду.

Значит, слово било в сердце,
 убивало, помыкало,
 раз одно осталось средство —
 ковшик жидкого металла.

Но не знал палач усердный,
 запечатав глотку эту,
 что отлил в металле сером
 первый памятник поэту.

Нет ни имени, ни лика,
 в цепких пальцах легковесна
 оловянная отливка,
 отмыкающая песню...

Храмы рухнули. И ныне
 равнодушно смотрят горы:
 что осталось от твердыни?
 Оловянный слепок с горла.

От прославленной столицы —
 слиток серого металла...
 Было страшно возвратиться,
 страшно было взять гитару

и начать, как начинали
 до тебя — отважно, скорбно,
 точно зная, что в финале —
 оловянный слепок с горла.



МИХАИЛ АРМАЛИНСКИЙ

Эротические

сочинения

В ХЛЮПКОЙ ПЛОТИ УЛИПАЯ...

У каждого времени — свои песни. Если десять лет назад в литературе честь имела производственная тема, пять лет назад — правдолюбская, то нынче все, как пионеры, кинулись освобожденной музе завернуть подол. И в точности как раньше в хорошей книжке было невозможно слово «трахаться», теперь уже не можно без него. И это еще в самом мягком, так сказать, переплете.

И так как осадить естественный процесс нельзя, мы, в пользу его скорейшего естественного хода, предлагаем ознакомиться с самым забойным и скандальным в модном жанре: это русский эмигрант из Америки Михаил Армалинский.

Перед соседями по теме у него есть по меньшей мере два преимущества. Во-первых, это подлинный, во всех отношениях, пионер: не из тех, кто просто перестраивался выгод ради в духе времени, — а изнутри, до костей мозга просмоленный этим узнаваемым за сто верст духом узник жанра. И во-вторых — безусловно одаренный, мастерский писатель, хотя и не жалеет ничего святого ради своего скандального словца.

Все сказанное однако ничуть не значит, что мы разделяем этот новый, после агрофильских и тиранофобских

сериалов, культ крайней, с противоположного захода, плоти. Напротив, полагаем, что упертость бесконечной и ненасытной человеческой духовной тяги в конечный производственный или физиологический процесс исходно тупикова и ущербна. Как бы ни был высок половой потолок того же Армалинского, выше него, скача на чреслах, все равно не прыгнуть; и его герои, удовлетворяясь во всех возможных и невозможных плотских формах, в итоге едва ли удовлетворены, мысли их тяготны, судьбы злы. Сама охолощенная до только удовольствия услада, ведущая в крайнем случае не далее аборта, становится самонедостаточной в текущем — как раз для тех, кто упоает на ее самодостаточность — и обреченной в будущем. И откровенный Армалинский чутко подмечает этот феномен, хотя, увязнув в хлюпкой стати, как в болоте конь, не может или не желает оттуда выбираться.

Особо надо сказать о публикуемых нами фрагментах из «Тайных записок А.С.Пушкина». Мы ни на йоту не сомневаемся, что эта громко наскандалившая вещь, поданная как подлинный дневник поэта, чистой воды мистификация. И в этом убеждают не какие-то погрешности против исторических и биографических реалий, напротив, все это освоено и включено в затейливую ткань фантазии весьма, на наш взгляд, ловко. Но слишком прет оттуда, во всех сексуальных аппетитах и пристрастиях, этот самый узнаваемый за сто верст дух самого Армалинского. Это, конечно, его собственная, авторская Песнь Песней, его трагедия, закамуфлированная, как «Песни западных славян» того же Пушкина, под иное имя. Именно в таком, сугубо армалинском качестве мы публикуем этот, полноценно обличающий его лишь опус, заранее отвергая все возможные обвинения в компрометации святого.

Вообще же одному времени окончательно судить, что основательно, что ложно. Оно-то, вероятно, в ходе будущего и покажет, сгинет ли вся эта лабуда, как некто некогда переложил чуждое «либидо», перед лицом иных, подлинно существенных вещей, или, напротив, то подлинно существенное погребется в прорве оной лабуды?

У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО КРЕСЛА

Единственный путь к пизде Глен отыскал в медицине, а именно, в гинекологии. Он потерял веру в то, что какая-либо женщина когда-нибудь заинтересуется им. С детства лицо его было покрыто мерзостными пятнами экземы, и люди избегали смотреть ему в глаза, а смотрели в лоб — единственное место, которое оставалось почему-то чистым. Вот из-за чего до тридцати пяти лет он и остался девственником. Проституток он панически боялся, потому что они были воплощением доступности женщин, которой он вождедел, но и в такой же степени страшился. Свой страх по отношению к проституткам Глен объяснял себе опасностью заражения венерическими заболеваниями. Ему уже вполне хватало экземы, и всякая иная болезнь, даже обыкновенная простуда, вызывала в нем непомерный ужас.

Последние несколько лет Глен в общественных местах всегда носит белую маску. Носил он ее и на приемах в поликлинике, объясняя это гигиеническими соображениями. Маска прятала его лицо, оставляя на виду только лоб. Таким способом он скрывает от пациенток свою болезнь.

Из-за своей профессии и постоянного голода Глен воспринимал женщин прежде всего как гениталии. Женщина для него была символом пизды. Например, когда он видел идущих по улице женщин, он думал так: «Выгуливают пизды».

Гэйл, пациентка Глена, обожала ходить к гинекологам. Почувствовав такое влечение, она сначала убеждала себя, что причиной его является забота о собственном здоровье. Но постепенно ей пришлось признаться, что наслаждение, которое она получает при осмотре врачом ее нутра, является единственной, но вполне основательной причиной. Гэйл не шла на прием к женщине-гинекологу. Она не ходила подолгу к одному и тому же гинекологу-мужчине, а меняла одного на другого, разочаровываясь в них, как в обыкновенных мужчинах. Мужчина влек Гэйл, только если он был гинекологом. Ибо только гинеколог смело давал ей указание раздеться ниже пояса и лечь на гинекологическое кресло, а иными словами — раздвинуть ноги, и тем очаровывал ее своей мужской бесцеремонностью и самоуверенностью. Гэйл сразу становилась мокрой и поначалу стыдилась этого, но потом, наоборот, хотела, чтобы врач заметил ее влажность и по-мужски отреагировал на это.

Ее влек профессиональный опыт обращения с женскими половыми органами, которым обладал всякий гинеколог. Она знала, что он не будет отводить глаза от ее разведенных ног, как это делали многие

мужчины, перед которыми ей приходилось оказываться в подобной позиции. И, как следствие такого опыта и бесстыдства, ей предвосхищалось в гинекологе сексуальное мастерство: уж он-то знает, где находится клитор и сколько наслаждения он приносит женщине. Каждый раз, когда она ложилась на гинекологическое кресло, она ждала, что врач, находящийся в такой удобной позе, прильнет к ее распахнутости ртом и точным попаданием языка доведет ее до оргазма. Однако этого не происходило, и Гэйл записывалась на прием к следующему гинекологу.

Глен был вполне возможным воплощением ее мечты. Он обладал неоспоримой властью над женщинами, и перед ним любая женщина расщепляла ноги. Но на этом, увы, все и останавливалось. Изощреннее пытки было придумать невозможно. Для большинства мужчин главным препятствием при овладении женщиной являются одежда и ее сдвинутые ноги, но после того, как она раздета и ноги раздвинуты — совокупление гарантировано. Для Глена же все было наоборот: женщина раздевалась и раздвигала ноги без всякого сопротивления, но именно после этого совокупления для врача с пациенткой становилось преступлением.

Глен воображал каждую пациентку своей любовницей. Он возненавидел резиновые перчатки, которые он обязан был надевать при исследовании. Он избегал смотреть на лица женщин, поскольку не хотел, чтобы привлекательность или непривлекательность лица оказывала на него влияние и меняла отношение к половым органам женщины. Когда пациентка расслаблялась, развываясь в гинекологическом кресле, ее тело и лицо были не видны, и только пизда открывалась его глазам, носу, губам, языку. Каждая женщина была для него красива, благодаря своей пизде. И не только в красоте было дело, а в нежности, мягкости, то есть во всех тех атрибутах самки, которыми сама-то женщина, выше пояса, быть может, и не обладала.

Он с наслаждением вводил два пальца во влагалище, проверяя его консистенцию, и нажимая другой рукой ей на живот, обласкивал ими матку. Его ноздри расширялись, стараясь уловить запах влагалища, который был, как правило, прибит тщательным подмыванием, которое женщины совершали, к его величайшему сожалению, перед визитом к нему. Он всегда исследовал матку через анальное отверстие, даже когда такой осмотр не требовался с медицинской точки зрения. Это оказывалось неожиданным для многих женщин, не опорожнивших желудок. И поэтому он часто упирался пальцем в фекалии, скопившиеся в прямой кишке. Тут он всегда быстро подносил к носу палец и делал несколько коротких вдохов. После осмотра он делал одно и то же заключение, не высказывая его, конечно, вслух: «К ебле пригодна».

В течение всего приема член его находился в состоянии эрекции, и после последней пациентки он уходил в туалет и там онанировал. Часто он делал это по два-три раза за время приема. Именно в работе

Глена и состояла его половая жизнь.

В первый раз Гэйл пришла на прием к Глену по рекомендации подруги. Одной из самых важных тем в разговорах с подругами для Гэйл была, разумеется, тема о гинекологах. Начать такой разговор всегда оказывалось легко: она спрашивала, довольна ли подруга своим гинекологом, и тут же рассказывала о недовольстве своим, которое заключалось в его непрофессионализме; в детали Гэйл не вдавалась. Она расспрашивала о возрасте, привлекательности и врачебном мастерстве гинеколога подруги и без труда получала его телефон. Глен не только заинтересовал ее, как всякий гинеколог, но и заинтриговал, поскольку подруга, которая дала Гэйл его телефон, рассказала, что она никогда не видела его лица, потому что он постоянно был в маске.

Гэйл приходила к гинекологам с одной и той же жалобой: боль в придатках из-за неспособности достичь оргазма. Она утверждала, что у нее слишком маленький клитор, и это является причиной ее страданий. Врач исследовал ее и утверждал, что клитор у нее вовсе не маленький, а даже изрядных размеров. Тогда она просила гинеколога помассажировать клитор и показать, как это надо делать, потому что она, мастурбируя, явно делает что-то не то. Тут гинеколог задавал вопросы, на которые у Гэйл были подготовлены ответы, дающие гинекологу моральное право провести эксперимент. Не все этим правом пользовались, но некоторые начинали массаж, с попыткой обучить Гэйл тому, что она прекрасно знала сама. Было несколько врачей, которые предлагали ей использовать вибратор, от чего она отказывалась. Стоило гинекологу начать массажировать клитор, как она сразу кончала, привычно подавляя рвущиеся из нее стоны, чтобы не услышала сестра или пациентки за дверью. Но ни один гинеколог не осмелился приникнуть к ней языком. Следует сказать, что Гэйл была красивой женщиной, и они утаивали свое восхищение, как она — свои стоны. Но для нее не проходило не замеченным их восхищение. Были случаи, когда гинекологи пытались назначить ей свидание после приема. Но она отказывалась, потому что вне гинекологического кабинета они становились для нее обыкновенными мужчинами и не могли возбудить ее.

Когда она пришла к Глену, он, как и все, был впечатлен ее красотой. Однако маска скрыла кровь, бросившуюся к его щекам. Лоб же его был по-прежнему безмятежен и бледен.

После снятия анамнеза он дал привычные для себя и для Гэйл указания раздеться ниже пояса и лечь в гинекологическое кресло. Она возбужденно повиновалась. Это была первая пациентка Глена с такими симптомами, и он затрепетал. Когда же Гэйл попросила его помассажировать клитор, у Глена закружилась голова от вида ее гениталий, которые просили у него наслаждения.

— Вы хотите испытать оргазм от моего массажа? — спросил он как можно более холодным голосом.

— Я была бы вам очень благодарна, — как ни в чем не бывало произнесла Гэйл.

Перед глазами Глена было раскрыто чудо, на которое накладывалось увиденное им красивое лицо Гэйл.

Он вдруг подумал, что если он будет массажировать клитор не пальцем, смазанным в лубриканте, а языком, то пациентка, быть может, и не заметит разницы, если не касаться ее губами и лицом. Решение было принято мгновенно — это была первая и, вполне вероятно, единственная такая возможность. Но для совершения задуманного ему надо было снять маску. И вот он приблизился к чуду на длину своего языка. Гэйл сразу узнала, что это не палец и восхитилась смелостью гинеколога и наслаждением, которое он ей давал. Она схватила его голову руками и прижала к себе так, что Глен не успел убрать язык в рот, и он у него прижался к верхней губе. Все его лицо покрытое пятнами экземы утонуло в вожделенном волшебстве, и Глен кончил одновременно с Гэйл.

Он еще не пришел в себя, как услышал крик Гэйл — она села в кресле и увидела страшное лицо Глена. Он поспешно натянул маску.

— Извините меня за уродство, — сказал он с горечью.

В кабинет заглянула сестра и вопросительно взглянула на Глена, а потом на Гэйл.

— Ничего страшного, — сказала Гэйл, — доктор просто нажал на болезненное место.

— Все в порядке, — подтвердил Глен сестре, и та скрылась за дверью.

Гэйл слезла с кресла и стала одеваться.

— Спасибо, и простите меня, — сказал Глен.

— И вы простите, — тихо сказала она, не глядя на Глена.

Гэйл оделась и, не говоря больше ни слова, ушла.

Глен стал в ужасе думать: если она начнет жаловаться, то у него отнимут врачебную лицензию, а с ней и всю его жизнь.

Он провел бессонную ночь, раздумывая, как убедиться в том, что Гэйл не подаст на него жалобу — придти ли к ней домой и предложить деньги или просто убить. Эти мысли перемежались у него с острым наслаждением от воспоминаний первого мужского, а не врачебного контакта с пиздой. Если бы можно было уговорить Гэйл на настоящее совокупление! Как склонить ее на встречу?

Гэйл тоже не спалось. Страх от ужасного лица Глена быстро улегся, и воспоминания о наслаждении, ею полученном, стали преобладать. Она, наконец, нашла нужного гинеколога, и если бы она не увидела его лица, то все было бы прекрасно. «Что это за болезнь у него, заразная ли?» — думала Гэйл, но с любопытством, а не со страхом.

Когда на следующий день Глен заглянул в карточки больных, записавшихся к нему на прием, он увидел карточку Гэйл. Она была назначена последней, на самый конец его времени приема.

Глен обрадовался и испугался одновременно: либо она захотела продолжить «лечение», либо она будет собирать на него материал, чтобы подать в суд. Может быть, она придет с полицейским или с детективом, или с магнитофоном.

Когда она вошла в кабинет, Глен, так и не решив, как начать с ней разговор, привычно произнес свою команду:

— Разденьтесь ниже пояса и ложитесь в кресло.

Гэйл боялась, что Глен снова начнет извиняться, затеет бесполезный разговор, но то, что он сказал — снова покорило ее. Она улыбнулась ему и радостно повиновалась. Ей показалось, что он улыбнулся тоже, но маска не позволяла ей в этом убедиться. Гэйл не просто лежала, раздвинув ноги, но чуть двигала ими взад-вперед, будто это было гинекологическое кресло-качалка.

— Я больше не напугаю Вас, — сказал Глен. — Вы хотите повторить процедуру?

— Да, — решительно сказала Гэйл.

Все произошло так же восхитительно для обоих. Глен сразу же натянул маску, так что на этот раз Гэйл не увидела его лица.

— Я хочу пригласить Вас к себе на обед, — сказала Гэйл, одеваясь.

— Спасибо, — задрожал Глен, — когда?

— Вы свободны завтра вечером?

— Свободен.

Когда Глен пришел в назначенное время по указанному адресу, его встретила Гэйл и провела в комнату.

В столовой было накрыто два маленьких стола. У каждого из них стоял пуфик, но так, что, сев, Глен и Гэйл оказались спиной друг другу, и спины их соприкасались.

— Ваша маска возбуждает меня и напоминает мне, что Вы мой гинеколог, и я не хочу поэтому видеть Вас без маски, — объяснила Гэйл такую странную сервировку столов.

Глен воспринял это как утонченную тактичность. Гэйл принесла еду, и Глену пришлось снять маску, но Гэйл не видела его лица, а лишь прижималась к нему спиной.

Когда трапеза была закончена, Гэйл поднялась и спросила:

— Вы не возражаете быть моим домашним врачом?

— Это будет для меня большой честью! — восторженно отозвался Глен.

— Тогда приступим, — умиленно сказала Гэйл и показала рукой, чтобы Глен следовал за ней. Она открыла дверь смежной комнаты и вошла, приглашая своего врача.

Посередине просторной комнаты стояло гинекологическое кресло.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ Ё

Больше всего я любил просыпаться оттого, что женщина сосала мне хуй. Нет слаще пробужденья! Так, наверно, каждый день пробуждаются святые, ангелы и прочие счастливицы, проживающие в раю.

Проснувшись, можно открыть глаза и этим дать знать женщине, что ты пробудился, и подкнуться к действию, прижимая ее голову к бедрам.

Либо можно притвориться, что спишь, и «проснуться» только во время оргазма.

Либо можно даже кончить, будто бы во сне, а потом перевернуться на бок, так и не проснувшись, и снова заснуть.

Я же в конце концов и впрямь научился не просыпаться во время оргазма и видеть эротические сны такой степени изошренности, которая невозможна наяву. Ведь мы всегда ебем мечту, а не тело. Ощущения эти напоминали мне поллюции во время отрочества, когда я так жаждал избавиться от своей невинности и осуществлял это, увы, только во сне, видя перед собой девочку или женщину, в которую я был влюблен в то время. Единственным разочарованием была мокрота, в которой я просыпался и которая лишь подтверждала, что все было только сном.

Теперь же пробуждение было сухим, ибо наслаждение, испытанное во сне, было вызвано не мечтами о женщине, а самой женщиной, поглощающей женщиной.

Когда любовница спрашивала, чего бы я хотел, чтобы она мне сделала (а все женщины рано или поздно задают этот вопрос), я рассказывал ей о своем заветном желании. В принципе оно ей нравилось, потому что исполнить его можно, если оставаться на ночь, а многие женщины страшатся, что ты с ними не захочешь ночь проводить, а кончишь пару раз и уйдешь или ее спровадишь.

Но заполучив меня на ночь, женщина успокаивалась и часто забывала о своем намерении исполнить мое желание. Чаще всего она просыпалась позже меня, а если просыпалась раньше, то ничего не делала или делала не то. А когда я спрашивал: «Чего ж ты забыла об обещанном?» — она начинала оправдываться, что, мол, я спал на животе, и к моему хую ей было не подобраться. И это правда, я действительно сплю на животе. Но в этом-то и трудность, которую нужно преодолеть женщине, желающей принести радость мужчине.

Сделать минет для большинства женщин — раз плюнуть. Но я ведь просил о том, на что требуется больше, чем слюна и резвый язык.

Прежде всего, женщине, конечно, нужно было проснуться раньше меня. То ли среди ночи, то ли рано утром. Многие женщины по ночам мочиться не ходят, ибо ухищряются протерпеть до утра. Для таких ночью мое желание было не выполнить. Им нужно было утром просыпаться раньше. Хорошо, проснулись, идут пописать. Тут легко меня разбудить, ибо я на приближение и равно на удаление женщины реагирую чутко. Проснусь — и все насмарку, и опять наслаждение не свершилось. Если же первый этап женщина совершала благополучно и я продолжал пребывать во сне, начиналось самое сложное — сделать так, чтобы я перевернулся на спину и в то же время меня не разбудить. Как это удавалось умелицам, я не знаю, ибо раз я не просыпаюсь от поворачивания, то и не знаю, как оно было осуществлено. Я знаю только те приемы, что не срабатывают, потому что от них я просыпаюсь.

Самые малоизобретательные пытались меня перевернуть на спину силой. Этим они меня сразу будили. Другие начинали шептать мне что-то на ухо, пытаясь меня загипнотизировать, и от их голоса я тоже просыпался. Третьи призывали на помощь щекотку. Четвертые тщетно пытались добраться до хуя, когда я лежал на животе.

И вот я сошелся с женщиной по имени Ё, которая научилась пробуждать меня райским способом систематически. То есть, всякий раз, когда она оставалась у меня ночевать, она будила меня этим чудесным, дивным приемом. Естественно, что ей вскоре не пришлось затрачивать никаких усилий, чтобы я предлагал ей остаться у меня ночевать всякий раз, когда мы встречались. Дошло до того, что, когда я проводил ночь без нее, я всегда просыпался с дурным настроением, с тоской по раю.

Я хотел выяснить у моей мастерицы способ, с помощью которого она могла перевернуть меня на спину, не разбудив. Я хотел иметь ключ к себе, чтобы вручать его другим женщинам и тем самым освободиться от власти, становящейся опасной, которая меня уже тяготила. Но выведать его оказалось совершенно невозможно. Ё не желала рассказывать о своих ухищрениях, которые так благотворно влияли на мое расположение к ней. Она предчувствовала, что, поделившись сутью своего изобретения, она может лишь породить конкуренцию.

А я тем временем привязывался к ней все больше и больше. Я стал просить ее оставаться у меня три ночи в неделю, потом четыре, а после того, как пару недель она ночевала у меня по пять раз, я предложил ей перебраться ко мне жить. Ё не пришлось уговаривать, поскольку она хотела, что называется, «иметь мужчину в доме».

Наша совместная жизнь постепенно приняла своеобразную форму. Дело в том, что я работал во вторую смену и приходил домой около полуночи. Ё вставала на работу в шесть утра и ложилась спать в десять вечера. Поэтому, когда я приходил домой, Ё уже спала, как всегда на боку, и я, стараясь не будить ее, пристраивался к ней со спины. Я поднимал вверх ее ягодицу и легко проскальзывал в сочное влагалище, так как перед сном она кончала от вибратора, который всегда лежал у нее под подушкой, уже включенный в розетку. В выходные дни, когда у нас была возможность пообщаться в состоянии обоюдного бодрствования, Ё говорила мне, что мое вечернее семяизвержение в нее, спящую, является последней каплей, переполняющей ее окончательной радостью после вибраторного оргазма.

По будним дням ранним утром я испытывал свой сонный оргазм, искусно высосанный ею, и продолжал спать часов до восьми. Таким образом, когда я просыпался, Ё уже была на работе. И в этом была произвольная тактичность Ё, ибо сразу после оргазма с женщиной все равно уже делать нечего.

Я безмятежно занимался своими делами, и единственное, что волновало меня — это регулярная доступность наслаждения, к которому меня приучила Ё, и, следовательно, моя зависимость от нее. Утренний оргазм во сне окрашивал весь день в радужные краски, мои навязчивые эротические идеи полностью реализовывались в сновидениях, сопутствующих оргазму, который славен тем, что временно излечивает от паранойи желаний.

Поначалу мы ждали выходных, чтобы поговорить друг с другом, сходить в ресторан, в кино. Но у нас все чаще стали возникать ссоры из-за пустяков, из-за обнаружившейся чуждости взглядов и, наверно, по многим другим причинам, которых я до сих пор не знаю. Поэтому мы стали воспроизводить наши будничные отношения и во время выходных дней. Я, например, спал позже, и Ё делала мне минет не в шесть, а в восемь утра. Я продолжал спать до десяти, а Ё за это время успевала подняться, привести себя в порядок и отправиться по магазинам. Я завтракал в приятном одиночестве, а потом уходил по своим делам. Возвращался я вечером, мы смотрели некоторое время телевизор, и Ё отправлялась спать раньше меня. Я приходил в спальню около часа ночи, когда она уже крепко спала, и наше сексуальное общение повторялось. Как правило, на пути к женскому телу лежат бесконечные разговоры, но мой путь был совершенно безмолвным, и в этом была особая прелесть.

Я опасался, что мне захочется жениться на Ё, чтобы тем самым держать при себе. Но женитьба страшила меня еще более, чем возможная потеря Ё. Наши отношения были идеальными для меня именно

потому, что в них, кроме молчаливого секса, ничего не было, а женитьба обязательно привнесла бы необходимость разговоров, обсуждений проблем бытия, не дай бог, возникновение детей, а с ними — непрерывного ада, который бы поглотил мой священный утренний рай. По счастью, Ё не заводила разговора о женитьбе, хотя бы потому, что мы так успешно избегали всяких разговоров. Но я ведь знал, что для того, чтобы отношения между любовниками длились, мужчине должен светить оргазм, а женщине — свадьба.

Одним из моих сновидений было ощущение, будто я нем, глух и слеп, будто я — сплошное осязание. Будто меня не обременяет ни необходимость говорить с женщиной, ни слушать ее болтовню, ни даже видеть ее — все заменяет осязание, причем это ощущение овладевало мною во сне за мгновение перед оргазмом — в этом было совершенство в общении с Ё, совершенство, которое я страшился потерять. Сутью этого совершенства была полная честность, поскольку, в моем понимании, ложь начинается именно тогда, когда люди начинают хотеть в отношениях чего-либо большего, чем секс.

Так продолжалось долго, пока одним утром я не проснулся после оргазма, полного восторженных сновидений, с ощущением, что у меня мокрый живот. Я точно помнил сквозь сон знакомое ощущение языка Ё и не мог понять, как мое семя оказалось не поглощенным ею. Я принял душ, позавтракал и принялся за свои дела. Когда я вернулся домой с работы и вошел в спальню, Ё там не было. Я осмотрелся кругом и заметил отсутствие многих ее вещей. Ни записки, ни слова на телефонном ответчике не было. Я запустил руку под подушку — вибратора Ё там тоже не было, и тогда я окончательно убедился, что она ушла от меня.

Я решил не раздумывать над этим в тот вечер, правильно полагая, что утро вечера мудренее. Я выпил пару глотков виски, усталость после работы дала о себе знать, и я заснул. Утром во сне, я опять почувствовал прикосновение языка и губ Ё и проснулся, лежа на спине с мокрым животом. Сновидения были, как всегда, прекрасны, а отсутствие в кровати Ё лишь напомнило мне прежние времена, когда она уходила рано утром, и я просыпался один.

Теперь, когда я возвращаюсь с работы, то ложусь в кровать, где уже нет Ё, спящей на боку, но тем не менее каждое утро то ли ее призрак, то ли созданная ею во мне привычка вызывают во мне наслаждение, не пробуждая от сладких видений. И хотя я просыпаюсь с мокрым животом, это незначительное неудобство с лихвой окупается независимостью от Ё, которую я, наконец, обрел.

А.С. ПУШКИН
ТАЙНЫЕ ЗАПИСКИ
1836 — 1837 годов

Судьба сбывается — я вызвал Дантеса на дуэль. Не это ли насильственная смерть от светловолосого, которую предсказала мне немка. И я чувствую власть судьбы — я вижу, как она сбывается, но ее нельзя предотвратить, ибо бесчестие — страшнее смерти.

Бесчестие — это буря, выросшая из ветра, мною посеянного. Она уничтожает меня. Дантес стал возмездием судьбы за мой слабый характер. Вызвав Дантеса, я уподобляюсь Иакову, боровшемуся с Богом. Если за мной победа, тогда я опровергну Божии законы, и Пизда беспрепятственно воцарится в моих небесах.

Современники не должны знать меня настолько, насколько я позволяю дальним потомкам. Мне следует беречь честь Н. и детей, пока они живы. Но я не могу удержаться, чтобы не поведать свою душу бумаге, и в этом есть неизлечимая болезнь сочинительства. Болезнь часто смертельная, ибо современники убьют меня за откровение души, за истинное откровение, если они проведают о нем. А потомки уже ничего не смогут со мной поделаться, не только со мной, но и с моими праправнуками, ибо отдаленность во времени делает самые предосудительные поступки всего лишь историей. В отличие от настоящего, история не опасна или оскорбительна, а лишь занимательна и поучительна.

Я не желаю уносить в могилу мои грехи, ошибки, терзания — слишком они велики, чтобы не стать частью моего памятника.

Лет через двести, когда цензуру в России упразднят, напечатают первым Баркова, а потом и эти записки. Впрочем, не могу я представить себе Россию без цензуры. А значит, издадут их в Европе, но скорее всего в далекой Америке. И жутко знать наверное, что меня тогда не только в живых не будет, но кости и те сгниют.

Я смотрю на свою руку, пишущую эти строки и пытаюсь представить ее мертвой, частью моего скелета, лежащего под землей. И хоть это будущее неопровержимо, у меня не хватает фантазии, чтобы вообразить его. Достоверность смерти — единственная непрерываемая истина — труднее всего укладывается в наше сознание, тогда как всевозможная ложь принимается и признается легко и бездумно.

Я все время чувствовал, будто обманул природу: я, карлик с лицом обезьяны, обладаю богиней. И оценить, насколько я хорош в любви, она не может, потому что для этого нужно сравнение, упаси Бог.

В те первые дни мы договорились не утаивать даже самых сокровенных мыслей друг от друга. Я прекрасно понимал, что мне этот договор не выполнить, но я хотел воспитать в Н. чувство необходимости делиться со мной своими мыслями и желаниями. Главное, не гневаться, что бы она мне ни рассказала. Иначе впредь она будет бояться быть откровенной. Следуя сей заповеди, я изо всех сил крепился, чтобы не выказать бурю негодования или ревности.

Н. приняла близко к сердцу наш договор, и на мой вопрос, какие были у нее любовные приключения, она повинилась. Когда ей было лет четырнадцать, она с матерью и сестрами была приглашена на бал во дворец к государю. В какой-то момент она затерялась среди гостей; к ней подошла красавица-фрейлина и прошептала на ухо, что государь хочет, чтобы ему представили Н. Моя девочка затрепетала от страха и покорно пошла за фрейлиной. Та привела ее в кабинет, где в кресле сидел государь. Фрейлина представила Н. и удалилась, оставив ее стоять посреди сумрачного кабинета. Государь встал с кресла, пересел на диван и усадил рядом с собой Н. Он задавал ей вопросы, а тем временем задирал ей платье все выше и выше. Н. не смела пошевелиться и старалась исчерпывающе отвечать на вопросы. Когда венценосный развратник раздвинул ей ноги, Н. почувствовала, как «волны жара стали захлестывать» ее — так она описала свое состояние. Но вдруг в дверь кто-то постучал. Государь поднялся, оправил платье на Н. и вышел из кабинета. Через минуту явилась фрейлина, которая привела Н., и отвела ее обратно в залу, где танцевали гости.

Однажды мы с ней побились об заклад, что она кончит, даже когда ей совсем не хочется. Мне ли не ведомо, как у женщины нежелание быстро переходит в желание, когда знаешь свое дело. Для Н. на первых порах сиюминутное безразличие было таким очевидным, что ей было не представить, как легко оно может бесследно рассеяться.

Я дал ей выпить шампанского, а потом продержался полчаса, коих хватило для нее, чтобы завьть от воспрянувшего сладострастья. Как я обожал ее в эти мгновения неудержимых восторгов!

Когда она шла в нужник, я увязывался за ней, и хоть она сперва наотрез отказывалась оправляться в моем присутствии, я не оставлял ее одну и мольбами, поцелуями и безвыходностью ее положения заставлял уступить сначала по малому, а потом и по большому.

Запахи и звуки, ею издаваемые, все, что из нее исходило, наполняло меня вожделением. Меня всегда поражало превращение богини в смертную женщину, но не в постели, а в нужнике. В постели многим женщинам удается какое-то время продержаться богиней, но за дверь

нужника волшебство исчезает, и я избавляюсь от чрезмерного благоговения, которое часто мешает властвовать над женщиной.

У красавиц в свете вся их сила в иллюзии божественности, которую так сладостно развеять своей бесцеремонностью. О великое и прелестное знание! При взгляде на самую недоступную красавицу ты твердо знаешь, что у нее между ног и куда и зачем она удалится из залы.

Будучи лет шести, я увидел в книге изображения обнаженных богинь. Я трясся в предвкушении, глядя на их сомкнутые колени и поистине божественные округлости бедер. У меня шумело в голове от восторга. Но в то же время я отчетливо ощущал, что от меня утаено нечто исключительно важное. Пизденка Оли, которую она с готовностью показывала по моей просьбе, не связывалась в моем воображении с тайной взрослого женского тела. Я чувствовал, что у женщины должна быть Пизда, но мне никак не приходило в голову, что для того, чтобы разглядеть ее, женщине надо развести колени. Когда передо мной впервые распахнулись женские чресла, я прежде всего схватил подсвечник и развеял мрак. Я увидел лицо Истины и в то же мгновение понял свое предназначение — служить этому Божеству, поселившемуся между женских ног, и воспеть чувства, которые оно вызывает. Женщина может оказаться богиней, но только потому, что во всякой женщине прячется настоящая Богиня — Пизда.

Я заблуждался, думая, что могу вылепить из Н., что хочу. Нет, таланту научить нельзя, с ним нужно родиться. Точно так же нужно родиться для любви, а Н. рождена для кокетства. То, что я называю изощренностью, она называет развратом. Способность к любовным содроганиям — это еще вовсе не любовный талант. Талант в любви проявляется в желании настолько сильном и легко возбудимом, что безразличность и стыд исчезают совершенно. Женщины, талантливые в любви, попадают к ней в рабство. Они — прекрасные любовницы, но негодные жены. Оказывается, и здесь нужно выбирать: между прекрасной женой и прекрасной любовницей. Для брака мой случай — наилучший, ибо имей я жену, которая талантлива в любви, а значит, дурную жену, мне было бы невозможно восполнить недостаток таланта жены на стороне. Найти же талантливую любовницу на стороне не составляет труда.

Я понимал, что для женитьбы темперамент Н. самый удобный. Будь у нее всеядный голод З. или Р., она меня бы уморила. Но не прохлада Н., а мое безразличие к ее телу — вот что оскорбляло меня. Мое сердце не могло смириться с тем, что я могу лежать с обнаженной Н. и заснуть, не желая овладеть ею. Это было невозможно, невысказанно для меня ни с одной женщиной, а Н. — самая красивая из всех моих женщин — оскопила меня. Я бесстрастно смотрел на нее и думал, что окажись сию минуту на ее месте любая женщина, пусть даже некрасивая, я бы

набросился на нее с похотью, которую Н. уже никогда во мне вызвать не сможет. И злоба закипала во мне на Н., и еще сильнее тянуло меня на других женщин.

Новизна тела сильнее любви, сильнее красоты, но я не желал, чтобы она оказалась сильнее моей верности жене.

Я старался, чтобы Н. поскорее забрюхатела. Первые месяцы нашего брака, до того как в Н. влюбился свет, она изрядно тяготилась своим досугом. Я учил ее играть в шахматы, дал ей читать «Историю» Карамзина, но это нагнало на нее еще большую скуку, зато дурацкие французские романы она могла читать подолгу и с детским увлечением. Однажды я прочел ей пару своих пьесок, но она прослушала их с таким равнодушием во взоре, что я боле не решался докучать ей своей поэзией, а она и не спрашивала.

Самое большое удовольствие она получает от новых тряпок и от комплиментов ее красоте. Это меня умиляло и ничуть не огорчало. Я знал, что, когда пойдут дети, она будет занята настоящим делом. Покамест она могла заниматься вышиванием, а я — наблюдать за ее красивым личиком, которое приносит мне удовольствие уже более эстетическое, чем эротическое.

Половина моей жизни, связанная с поэзией, была безразлично отвергнута Н. Оставалась другая половина — любовь, в которой острота ощущений исчезла, а потому страсть уступила место нежности. Но только в остроте ощущений мы находим упоение.

Я, гордившийся своей славой любовника не менее, чем славой поэтической, я в семейственной жизни не находил места для своего поприща. Н. тешила мое тщеславие своей красотой, добротой и невинностью. Но невинность постепенно превратилась в кокетство, доброта — в сентиментальность, а красота стала для меня привычной и потому незаметной. Только когда все восхищаются красотой Н., я испытываю гордость, которая, увы, все чаще превращается в ревность.

В первый раз в моей бурной жизни я стал изо дня в день засыпать и просыпаться с одной и той же женщиной. Сладость новизны всегда быстро теряла для меня свою прелесть, и я, не задумываясь, менял любовниц или прибавлял к одной другую. Я с прискорбием понимал, что женатому человеку так поступать не подобает.

Разница между женой и любовницей в том, что с женой ложатся в кровать без похоти. Потому-то брак и свят, что из него постепенно выпесняют похоть, и отношения становятся или дружескими, или безразличными, а часто и враждебными. Тогда обнаженное тело уже не считается грехом, потому что не вводит в соблазн.

Иногда я испытывал успокоение, тихую радость, глядя невинно на мою Мадонну (ведь только так и надо смотреть на Мадонну). Похоть

становилась малой частью нашей жизни, большей частью было наше сожительство, полное забот и мелочей; сожительство, оскопляющее страсть. Пизда Н. простительно, но неизбежно стала восприниматься мною как должное.

Я смотрел на кинжал, мирно висевший на стене, и думал, что и мне больше не видеть «любовного боя», не чувствовать запаха горячей крови.

Когда-то я думал, что божественные конвульсии — цель любви. Нет, если бы это было так, верность не была бы таким тяжелым бременем, и жена всегда бы сполна удовлетворяла мои желания. Но дело не в конвульсиях, которые можно достичь и прочкой, а в раскрытии тайны пизды. Тайна пизды, которая перестает волновать от еженощного общения с женщиной, не исчезает и не раскрывает себя до конца, а переселяется в других женщин.

Или иначе — у всякой пизды своя тайна и, раскрыв одну, вовсе не значит, что ты познал всю Тайну. Вот получил желанную пизду и, кажется, что словил Тайну за хвост, а нет, она выскальзывает из приевшейся пизды и смотрит на тебя из другой.

Единственное, что возвращает тайну в ее законное место — это разлука, и жена опять становится желанной, но... на одну ночь, а потом пресыщение возвращается на свое не менее законное место.

В декабре я не выдержал и сбежал в Москву. Я говорил себе, что разлука вернет мне страсть к Н. Но разлука должна быть в одиночестве, а не в окружении цыганок, которых позвал Нашокин. Расстояние не только освежило страсть к Н., но и заставило меня забыть о клятве верности. Когда Оленька подошла ко мне, вся моя страсть, возродившаяся для жены обратилась на нее, ближайшую женщину. Она показала мне первой женщиной в жизни, настолько свежими были мои чувства. Пизда опять смотрела на меня божественным взором.

Но насытившись ею до дна, я стал жадно мечтать о Н. Окажись она тогда рядом, я бы с новорожденной страстью бросился бы и на нее. Н. отдалилась от меня, почужела и поэтому сразу возжелалась с новой силой. Это не было для меня открытием, я испытывал это по отношению к другим женщинам, но я почему-то убеждал себя, что изведенные законы не должны относиться к моей жене, и поэтому, когда все повторилось с ней, я понял, что теперь моя похоть полетится на каждую подвернувшуюся женщину.

Так я снова бросился на блудей. Те из них, что прослышали о красоте моей жены, укоряли меня, как же я к ним хожу от такой красавицы. Где им было понять, что красота не спасает от пресыщения, что разнообразие — это единственное, что поддерживает во мне жизнь. Кобели, влюбленные в Н., гневно или недоуменно смотрят на меня — как это я могу хотеть какую-либо бабу, помимо моей красавицы-жены. Многие писали ей записки, что готовы отдать жизнь за ее благосклон-

ность. Мы с Н. посмеивались, читая их. Но если бы влюбленные знали, как быстро проходит восторг и как по нему начинаешь тосковать, ибо, познав его, невозможно свыкнуться с его исчезновением.

Есть глубокий смысл в том, чтобы пожертвовать жизнью ради единственного обладания крашевицей и тем самым избежать наступления безразличия, столь оскорбительного для недавней страсти. Смерть — это самый надежный способ сохранить верность своей возлюбленной. Я теперь понимаю причину самоубийства Ромео и Джульетты. Они действовали по наитию, без понимания, но цель была та же — не изменить возлюбленной даже после ее смерти, что невозможно для молодого, красивого и живого тела.

Теща моя после свадьбы слишком часто являлась в гости. Она смотрела на меня со злобной похотью. Н. призналась мне, что мать учит ее не давать, если я не делаю того, что Н. хочет. Н. держала слово быть со мной откровенной, и это давало мне надежду, что ее душа всегда будет открыта и близка мне.

Тещу я однажды подловил в темном углу и прижал к стенке. Она замерла, ожидая, что же я буду делать дальше. Какое-то мгновение я хотел залезть к ней под платье, не из желания, а из дерзости. Впрочем, желание могло быстро придти на смену дерзости, и мне не хотелось себе этого позволять. Я сдержался и сказал, что задумал:

— Сударыня, я должен Вас огорчить: то, о чем вы мечтаете, не произойдет, — и я демонстративно от нее отстранился, — я увожу Н. в Петербург и в гости вас не приглашаю.

Переезд в Царское Село был большим облегчением для Н. и для меня. Мы стали жить в спокойствии — без нудных родственников и без надоедливых знакомых.

Посещение Лицея толкнуло меня на воспоминания, которые вызвали бы у Н. приступ ревности, если б она узнала о них. Тогда, еще верный Н., я размышлял, является ли мысленная измена истинной изменой. Я пришел к выводу, что мои жадные воспоминания изменой не являются, ибо мой любовный опыт делает мечтания ничтожными по сравнению с ним самим. У Н. — наоборот, если она мечтает о ком-либо другом, она изменяет мне, ибо знает только меня. Иными словами, мои мечты рождаются моей памятью, над которой я не властен, а ее — развратными мыслями сегодняшнего дня, которым она намеренно дает волю.

Вскоре, когда я перешел Рубикон и начал изменять Н., я перестал мучиться этим вопросом и простил все ее возможные фантазии, моля Бога, чтобы только наяву она мне не изменила. Но самое страшное, что нам не дано знать, верна ли нам жена. Я никогда не узнаю, что делает Н., когда я не вижу ее. В верность можно лишь верить. Когда моя вера слабеет — является дьявол ревности, и никакие доказательства верности не могут помочь, потому что в любом доказательстве разум

находит несовершенство. И только возвращение веры в сердце изгоняет ревность. Но, увы, ненадолго.

Я с теплом и радостью вспоминаю мой недолгий период верности моей женке — он был хорош тем, что освобождал меня от волнений: появится ли утром, после посещения нужника, жжение в хуе.

Я ревную всякую красивую женщину, потому что я люблю всякую красивую женщину. А красива любая женщина, которую хочешь. Если женщина остается красивой после того, как ты в нее кончил, значит она поистине красива. Н. — поистине красива, ибо я давно перестал ее хотеть, но не перестаю любоваться ею.

Роковое знакомство произошло тоже в борделе. Нет лучше места для потворства моей страсти наблюдать чужие наслаждения. Не является ли это самым разительным примером человеколюбия, когда чужое наслаждение вызывает во мне самом наслаждение не менее сильное.

Если ты видишь горе чужого тебе человека, то сочувствие, тобою испытываемое, не сравнится по силе с чувствами самого страдальца. Так и в радости от успехов на служебном поприще: человек, их достигнувший, будет много счастливее, чем посторонний доброжелатель, прослышавший об этих успехах. Но когда мы видим чужие любовные наслаждения, они не только вызывают наслаждение и в нас, но наслаждение наше оказывается не слабее, а подчас и сильнее, чем наслаждение участия.

Я убежден, что в мире нет прекрасней картины, чем вид хуя, ныряющего и вынырывающего из пизды. А увидеть это во все глаза можно, только наблюдая со стороны. Когда ебешь сам и отстраняешься, чтобы посмотреть на чудо, ты всегда видишь зрелище сверху — не увидеть, как твои яйца елозят по ее промежности. Можно, конечно, мудрить с зеркалами, но это не то. Кроме того, когда ебешь, ты слишком увлечен ощущениями хуя и не можешь полностью отдаться зрению. Поэтому, как зрелище, меня больше волнует чужой хуй, входящий в пизду, чем свой собственный. Недаром древние римляне требовали не хлеба и наслаждений, а хлеба и зрелищ.

Моя страсть к зрелищам уготовила мне знакомство, которое теперь может обернуться моей смертью.

У Софьи Астафьевны есть специальная комната, в стене которой сделан глазок. В него позволяется смотреть за особую плату. В эту комнату оправляются случайные клиенты, а частые гости могут занять соседнюю комнату и наблюдать за действием.

В тот вечер я взял с собой Нину, умелицу. Я поставил ее перед собой на колени, а она знала, что делать и знала прекрасно. Пока Нина усердствовала, я прильнул к глазку, и увидел Лизу, скачущую на каком-то «жеребце». Девочки были обучены, находясь в смотровой комнате, разворачиваться рабочей частью к глазку и ставить рядом подсвечник.

Я видел бледный зад Лизы с розовым прищиком на левой ягодице. Она согнулась над своим гостем, и ее пизда со скользящим в ней хуем сверкала. Всякий раз, когда хуй вылезал из пизды, чтобы опять нырнуть поглубже, он вытягивал за собой бахромку блестящих алых внутренностей. Погружаясь, он захпхивал их обратно, в глубину.

На полу валялась форма кавалергарда.

Он кончил, насадив Лизу так глубоко, что пизда пропала из виду. Лиза соскочила с него и побежала подмываться. Тогда я увидел его лицо — это был Дантес, которого недавно приняли в гвардию и от которого все женщины сходили с ума. Мы не были представлены друг другу, но мне раз указали на него в доме, где собрались самые прекрасные женщины Петербурга. Я стоял радом с Н., которая тоже увидела его впервые. И у нее вырвалось: «А он действительно необыкновенно красив!» Кровь бросилась мне в голову. И в мгновение, когда мне это вспомнилось, я кончил, а Нина глотала и глотала.

И вдруг я с озлоблением подумал о Н., которая в те редкие разы, когда я уговариваю ее взять мой хуй в рот, всегда давится, откашливается и с отвращением выплевывает мое семя. Дьявольская мысль пришла мне в голову — а выплюнула бы она его семя? Только один ревнивый ответ являлся мне и низвергал меня в пучину ненависти: небось проглотила бы, не поперхнувшись, да еще губы облизала б.

Отправляясь домой, я проходил через залу и увидел пьяного Дантеса с еще одним кавалергардом. Они пили с Лизой и Тамарой. Дантес говорил по-французски, а приятель переводил. Лиза, заметив меня, послала мне поцелуй, а Дантес обернулся в мою сторону и широко улыбнулся:

— Я бьюсь об заклад, что Вы — Пушкин.

— Не имею честь, — холодно бросил я, проходя мимо.

— О, позвольте же отрекомендоваться, — браво вскочил он с дивана и последовал за мной.

Он забежал вперед, отвесил поклон и назваля. Я кивнул и прошел в переднюю. Он, пошатываясь, двигался за мной по пятам.

— Я человек в Петербурге новый, и мне хотелось бы сойтись с Вами поближе, — казал он.

— Это не самое удобное место для знакомства, — вынужден был ответить я.

— Отчего же? Напротив. Этот дом располагает к сближениям.

Я остановился и посмотрел на него с любопытством. Я тогда не представлял, сколько еще его каламбуров мне предстоит услышать.

А он тем временем продолжал:

— Вот вы знаменитый поэт, а не задумывались ли Вы над самым великим поэтическим явлением в природе?

Мне стало интересно, что же он скажет, и я медлил уходить.

— Глядя на любую женщину, я знаю совершенно твердо, что у каждой из них есть пизда. Да-да, простой факт, но сколько поэзии в

этой непоколебимой уверенности. Ведь только оно дает нам цель в поведении с любой женщиной. Не будь этой уверенности, нас бы охватила тоска, ведь женщины в обществе ведут себя так, будто у них нет пизды.

Я не смог удержать улыбки от подобия наших мыслей и сказал ему, что, когда он выучит русский, я дам ему почитать мою сказку, где уверенность, о которой он говорит, подвергнута сомнению.

Чтобы не продолжать с этим юношей разговор, который мне было неприятно вести, я наскоро простился. При других обстоятельствах и с кем-либо другим я бы с удовольствием завязал занимательную беседу, но у меня с первого взгляда сердце не лежало к Дантесу. Кроме того, после женитьбы я даже с близкими друзьями опасался обсуждать прелести ебли и пизды, что всегда было моей любимой темой разговора. Я понимал, что разговор на эти темы женатого человека вовлекает в них его жену, ибо любое замечание будет неизбежно приниматься на ее счет. А имя жены должно быть неприкосновенно. Когда же я стал изменять Н., я перестал сдерживаться и в словах: я вернулся к любимым темам разговоров, упоминая других женщин. Но собеседники мои по-прежнему приписывали все Н., что я ни скажу. Теперь мне это стало понятно. Но, увы, слишком поздно.

С тех пор, встречаясь в свете с Дантесом, я всегда ловлю на себе его плутовский взгляд. Однажды он даже осмелился подмигнуть мне, но увидев гнев, польхнувший на моем лице, больше не решался на подобную вольность.

Всякий раз, когда он танцует с Н., у меня такое чувство, что он обет ее — уж слишком он уверен в наличии у нее пизды, он лишен всякого романического сомнения. Эта мысль не оставляет меня и приводит в бешенство, поэтому я уйду из танцевальной залы и глушу свою ревность азартом карточной игры или волочусь за красавицами.

Наблюдая за ухаживаниями Дантеса, я вспоминаю свою холостую жизнь и свою страсть наставлять рога мужьям. «Вот настал и твой черед», — говорю я себе. Круг замыкается, бывшее сбывается опять, только теперь в роли мужа я, и за моей женой увиваются шалопаи, жадные до ее пизды. Что они ей говорят, как уговаривают?

Я редким умным женщинам говорил, что нет ничего лучше разнообразия, что отдавшись мне, они будут еще больше любить своих мужей освеженным мною чувством. А дурам я объяснялся в такой страстной любви, какой от мужа они никогда ожидать не могли. И я был предельно искренен и с теми, и с другими.

Я уверен в Н., и то, что в ней могут быть неуверены другие, бесит меня больше, чем ее неумное кокетство. Я вынужден признаться себе, что молва, честь, мнение света значат для меня больше, чем истинное положение вещей. Уж лучше, чтобы Н. тайно с кем-то поеблась (но только один раз!) и чтобы об этом никто не узнал, чем сплетни и слухи

о ее неверности при ее полной невинности. Поэтому когда Вяземский волочится за Н., я только ухмыляюсь — свет никогда не поверит, что она прельстится таким невзрачным и неумелым мужчиной. А Дантес опасен своей красотой и наглостью — им молва приписывает победы, коих не было, но коих они достойны по понятиям света.

Ненавижу дерзость, с которою молва издевается надо мной за мою спину. Я чувствую рога, растущие наперекор моей убежденности, что им нет места на моей голове. Молва вносит сомнение в мою убежденность. Сколько необозримых возможностей у Н. для измены, когда всякий мужчина у ее ног. Что не дает ей воспользоваться ими?

Чтобы вызвать Дантеса, я стал выказывать свою ревность, то есть ревновать по принципу, каждый раз, когда он появлялся рядом с Н. Я легко входил в роль и задираю его при всяком удобном случае. Надо признаться, что он держался с достоинством и остроумно отбивался. Это еще больше выводило меня из себя, и я стал ему грубить.

Тут, как нельзя кстати, появились подметные письма, из тех, что часто приходят ко мне в последнее время. Но на этот раз копии одного из писем были разосланы моим знакомым, так что о нем узнали все. У меня мгновенно созрел план — обвинить Дантеса в авторстве письма и использовать это письмо как предлог для вызова. В тот же день я послал ему вызов, а когда его «папа» приехал умолять меня пощадить «мальчика», я объявил ему условия. Старик поклялся, что уговорит его в течение двух недель сделать предложение К.

Когда я счастливо влюблен, жизнь моя заполнена сиюминутным наслаждением, и ни прошлое, ни будущее не тревожит меня. Если же сердце пустеет, то мысли мои обращаются в прошлое или ко грядущей смерти, и тоска охватывает меня. Поэтому любовь есть единственная спасительница от пагубного времени, она избавляет нас от прошлого и будущего, она останавливает время на сегодняшнем счастливом дне. Если для влюбленных приостанавливается время, то значит, быть постоянно влюбленным есть способ время остановить. А так как быть постоянно влюбленным в одну женщину невозможно, я влюбляюсь в разных женщин.

У голой груди выражение просьбы поцелуя. И нимб вокруг соска — знак божественности.

Женщины полны фальши: светские дамы делают вид, что не хотят, а блудницы делают вид, что хотят.

Князь М. вернулся из Парижа, и я набросился на него с расспросами о женщинах. Он сказал, что женщины там изумительно красивы и что даже блудницы на улицах выглядят королевами.

— Сколько ты их попробовал? — стал я любопытствовать.

— Нисколько, — сказал он.

Я представил себя на его месте и закипел:

— Как же ты упустил такую возможность?!

Пока я дивился его нерасторопности и сетовал на то, что он потерял попусту время в Париже, М. молчал и только с грустью смотрел на меня.

— Ну, почему же, почему, ты хотя бы одну не выеб? — не унимался я.

— Да потому что я жену люблю, вот почему, — ответил князь.

И мне стало стыдно от такого простого объяснения.

Как омерзительно убеждаться, что меня хотят далеко не все женщины.

Волосы на лобке — это предвестники чуда. Самое совершенное — это правильный треугольник густых темных волос, сквозь которые не просвечивает кожа. Красота для меня меркла, если волосы редкие. Иногда волосы густые, но поднимаются они наверх не треугольником, а узкой полоской, укрывая только губы, так что по краям лобка залысины. Я это тоже не очень любил, а вот теперь я мечтаю о разнообразии «несовершенства», пресытившись абсолютной гармонией, музыкой сфер моей Н.

Всякая любовница с отношениями и чувствами, вырастающими вокруг ебли — это целая вселенная, в которую Провидение направляет меня на постой. Поэтому, когда у меня одновременно несколько любовниц, я то и дело переселяюсь из одного мира в другой. Это заставляет становиться лжецом, так как всякая женщина хочет быть для меня единственной. По меньшей мере, любая хочет быть уверенной, что именно ее ты любишь, а остальных просто ебешь. Такая вера делает женщину моей не только телом, но и душой. Каждой из них я говорю, что именно ее я люблю, и это святая правда, ибо в миг сладострастья мы искренне влюблены в ту, с которой его делим.

Я устаю от одной и той же пизды, она просто перестает быть для меня пиздой. Грех и сладость распутства в том, что оно учит нас сопротивляться природе, по законам которой похоть должна умереть в браке и уступить место другим чувствам: нежности, заботе о детях, дружеству. Распутство учит, что новая пизда воскрешает похоть. Но праведная жизнь отводит для похоти короткий срок, необходимый лишь для притягивания мужчины и женщины в положение мужа и жены и зачатия детей. В браке страсть быстро вянет, хоть по нужде муж и жена иногда вызывают друг в друге сладкие содрогания, но путь к ним ведет через пустыню привычки, когда-то цветшую трепетом.

Распутная жизнь до брака научила меня благоговеть не столько перед пиздой, сколько перед разнообразием пизд. Вкусив это лекарство от затухания страсти, я, женатый, нуждаюсь в нем еще больше, чем холостой.

У мужчин, не отведавших разнообразия, затухание похоти в браке происходит гораздо медленнее, и потому они этого не замечают, а когда замечают, то уже поздно, так как они уже состарились. Моя страсть к жене померла через месяц после женитьбы, когда Н. еще даже не освоилась со своим новым состоянием замужней женщины. Одна мысль, что я не отведаю ни одной другой пизды до конца своей жизни, если я останусь верным жене, приводила меня в ужас больший, чем мысль о неминуемой смерти.

Отведав запретный плод, Адам и Ева познали стыд и застыдились наготы своей. Стыд создан дьяволом, потому-то Бог и распознал по стыду, что они согрешили. За послушание Бог изгнал их из рая, но в утешение оставил им наслаждение. В ебле Адам и Ева не стыдились друг друга и отсутствие стыда напоминало им о жизни в раю. Так и любовники, в бесстыдстве своем друг перед другом, обретают рай. Но дьявол не дремал и создал человеческой общество, охваченное паникой стыда.

Бог позволил иметь жену, зная, что грех трепета сойдет на нет, но Он не позволил прелюбодействовать, ибо с каждой новой женщиной грех оживает и длится, благодаря разнообразию женщин, которое предоставляет общество. Человек — творенье Божие, а человеческое общество — творенье дьявольское.

За нарушение запрета Бог не только изгнал Адама и Еву из рая, но и еще размножил запреты до десяти. В рай не попасть, если нарушить хотя бы одну из заповедей. Я нарушил одну, прелюбодействуя, и нарушу вторую, как только избавлюсь от Дантеса.

Людская ложь началась со стыда. Стыд — это сокрытие того, что у тебя есть. Избавясь от стыда, мы избавимся ото лжи, и от дьявольского человеческого общества ничего не останется. На Земле будут только счастливые любовники.

Страсть удручающе короче любви. Именно потому люди клянутся в любви, а не в страсти. Вначале страсть так сильна, что для того, чтобы прибить ее, нужно кончать раз за разом. Постепенно она слабеет, вяло поднимает голову и довольно одного раза, чтобы надолго избавиться от нее. Остается любовь, которая добивает изнуренную страсть верностью. Брачное ложе — это колыбель страсти, которая превращается в ее могилу.

Я смотрю на сотни книг, стоящие у меня в кабинете, и понимаю, что к большинству из них я не притронусь после того, как я прочел или просмотрел их в первый раз. Но я и не думаю избавляться от них,

а вдруг мне когда-то захочется раскрыть ту или другую. Я продолжаю тратить последние деньги на приобретение новых книг, как я трачу последние деньги на блюда. Покупка новых книг — это наслаждение, отличное от наслаждения чтения: рассматривание, разноухивание, перелистывание новой книги — это само по себе счастье.

Книги придают мне уверенность своей доступностью, которой я всегда могу воспользоваться, если пожелаю. Так и с женщинами — мне нужно их много, и они должны распахиваться передо мной, как книги. И в самом деле, книги и женщины во многом подобны для меня. Раскрыть страницы книге все равно, что развести ноги женщине — знание открывается твоему взору. Всякая книга пахнет по-своему: когда раскрываешь ее и нюхаешь — типографская краска, а все разная. Разрезать страницы девственной книги для меня — неизъяснимое удовольствие. Даже глупая книга приносит наслаждение, когда я впервые раскрываю ее. Впрочем, здесь главное отличие книги от женщины: чем книга умнее, тем больше она меня влечет, и красота обложки не имеет для меня значения.

Как женщина может кончить с лобым умелым мужчиной, так и книга раскроется перед всяким, кто возьмет ее в руки, и отдаст прелесть своего знания всякому, кто может его познать. Потому я ревную книги и не люблю давать их читать. Моя библиотека — мой гарем.

Когда я ебу Азю, я представляю перед собой Н. А когда я ебу Н., я представляю под собой Азю. Значит ли это, что ни одна женщина не удовлетворит меня вполне? Мои желания настолько требовательны, что реальность не в состоянии справиться с ними.

Похоть — это гордыня тела, любовь — это гордыня души, гордыня, которая не что иное, как похоть души.

Чем больше узнаешь женщин, тем больше убеждаешься, что нельзя их сравнивать и говорить, что одна лучше или хуже другой. Каждая женщина, которую познал — незаменима, и ни одна любовь не проходит, а навсегда остается с тобой и в тебе. Оттого каждая женщина — незабвенна.

Моих блюд я помню не менее четко, чем светских красавиц. Всякая женщина кончает по-своему, у всякой — неповторимая сказка пизды, и хуй постепенно начинает ощущать и ценить эти различия.

Еба надоевшую красавицу, я могу вспомнить пизду дурнушки и взмечтать о ней. Как можно сказать после этого, что дурнушка хуже красавицы? С точки зрения эстетики, общественного мнения, красавица тешит меня больше. Обладание ею вызывает зависть в других и вселяет гордость в меня, но чувства эти не имеют никакого отношения к похоти.

Отроком я был настолько ошеломлен открывшимся чудом первой

пизды, что я впопыхах объявил ее обладательницу божеством и поклонялся в верности ей. Но это было идолопоклонством, язычеством. Икон много, а Бог один.

Я молюсь не той или иной женщине, а Пизде. И когда огонь молитвы ослабевал, я обращался к новой пизде во имя сохранения этого огня. Ни одна женщина не в состоянии заменить мир женщин. Разве можно попрекать путника тем, что по дороге он останавливается помолиться в различных храмах — ведь молится он одному и тому же Богу.

Всякая женщина влечет меня вопросом: какая у нее пизда? Большой ли у нее похотник или маленький, какой у нее запах, какой формы у нее губы, то есть вылезают ли малые губы из больших или прячутся в них, растут ли волосы в промежности — все это и многое другое и есть прелесть познания, трепет и вдохновение любви.

Женщина идет, а мне видится, как трутся ее губки одна о другую, но похотник посажен высоко, чтобы ходьба не заменяла еблюю.

Христос был несведущ в похоти, если сказал, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если кто смотрит на женщину, то уже с вожделением, так что я говорю: «Всякий, кто смотрит на женщину, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». А если и не прелюбодействовал, то лишь потому, что примерился к ебле, да женщина не приглянулась.

Что такое красота? С древних времен мудрецы спорят о сути красоты. Но вот моя женка появляется на балу, и все головы поворачиваются к ней. Красота — это узнаваемое, а не определяемое.

Семейственная жизнь моих предков была омрачена великой ревностью и жестокостью. Но от поколения к поколению жестокость ослабевала. Мой прадед зарезал жену, а дед лишь заключил свою в домашнюю тюрьму. Отец интересовался только собой и к матери был равнодушен, а я сделал последний шаг — горячо верю в свою жену, несмотря на сплетни. Я замыкаю круг с прадедом полной противоположностью, для соблюдения коей не жена, а я должен умереть насильственной смертью.

С Керн, по причине ее мелкомыслия, я говорил лишь о предметах ничтожных. Меня интересовало только ее восхитительное тело. И нет моей вины в том, что большинство женщин не могут прельстить меня ничем, кроме тела. Иногда все же попадаются женщины с тонкостью чувства и разума. С ними приятно вести беседы, особенно после жаркой ебли. Эти редкие женщины никогда не жалуются, что, мол, меня, кроме тела, в них ничего не привлекает, потому что, во-первых, они на собственном опыте знают, что это не так, и, во-вторых, они достаточно

умны, чтобы понимать, что такими обобщениями они себя выдают на посмешище.

Женщины глупые не желают признаваться себе, что пизда — существо, от них не зависимое, и что мужчины вынуждены общаться с ними лишь потому, что они обладательницы пизды. Им обязательно хочется всушить всю себя в придачу.

Чем сильнее желание у мужчины, тем менее он способен отличить слово «женщина» от слова «пизда». Единственное, что открывает ему глаза на существование в женщине чего-либо еще, кроме пизды — это удовлетворенное желание. Поэтому умная женщина прежде всего отдается мужчине, чтобы ее пизда не занимала все его воображение, и чтобы насытившись пиздой, он смог бы оценить ее ум, талант, доброту и все прекрасное, чем она обладает.

Керн и прочие дуры уверяют всех вокруг, что я считаю женщин существами низшими. Это правда, но только в тех случаях, когда они находятся внизу.

Женщины в свете домогаются меня тем пуше, чем большим успехом в свете пользуется моя жена. Им лестно отдаваться мне, тщеславясь, что я предпочел их такой безупречной красавице, каковой является Н. Они сами начинают считать себя красивее и неотразимее, чем они есть на самом деле.

Дантеса, которого нужно убить, мне вдруг становится жалко. Ведь он избалованный шалопад, которым помыкает подлый и грязный старик. Я не могу винить Дантеса за страсть к Н. — я просто завидую его страсти, которой сам лишился.

Даже ревнуя красивую любовницу, мужчина не перестает наслаждаться ею. Красавица-жена, напротив, приносит мужу нескончаемые заботы, ибо наслаждение очень скоро становится пресным, и обладание красотой тешит только твое тщеславие.

А мужчины вокруг исходят слюной и семенем, чтобы вкусить пизды твоей жены, и следуют за ней по пятам, как кобели за сучкой. На долю мужа выпадает нудная обязанность охранять жену от посягательств, ограждать ее от соблазнов, заботиться о ее чести и своем имени. И чем красивее жена, тем большее посмешище ожидает мужа в случае ее неверности, потому что, чем красивее жена, тем больше людей наблюдают за ней, тем больше кобелей ждут своей очереди. Не слишком ли это дорогая цена за владение красотой, которая перестала тебя волновать?

Оказывается не зря государь проезжал под нашими окнами. Н., пьяная, призналась мне, что, когда я уезжал из Петербурга, она встречалась с ним наедине. Она давала ему знак, когда я уеду, открывая

левую штору. Она проговорила, когда я для разнообразия решил не ебать ее, а попросил подрочить. «О, мой Николай!», — засмеялась она, но тут же спохватилась. «Что? — вскричал я. — Какой Николай?» Она мгновенно протрезвела, и краска залила ее лицо и шею. Она стала клясться, что верна мне и призналась, что он заставил ее дрочить ему, обещая, что ничего большего требовать от нее не будет. По его понятиям, он не изменял своей жене и убедил Н., что она, лишь дроча ему, не изменяет мне.

Я хотел тотчас броситься во дворец, но Н. повисла на мне и мольбами и рыданиями удержала меня. Я решил немедленно и сполна расплатиться с долгом казне, но и здесь он унизил меня, предпочтя держать меня в долгу и, сохраняя за собой власть, оскорбить меня, протстав долг.

Я явился к государю на следующий день и сказал, что знаю все и что я решил драться с Дантесом, так что пусть он воспользуется случаем, чтобы убить меня. Иначе... и тут я посмотрел ему прямо в глаза, и тогда я понял, что он не будет препятствовать дуэли. Если я убью Дантеса, следующим должен быть он. Я убежал из дворца, чтобы не натворить глупостей. Упаси меня, Бог, от царевубийства. Убей меня.

Не чудо ли, что совершенно чужая мне женщина близка тем, что у нее есть пизда. Башкирка, которую я встретил во время своего путешествия, едва могла произнести несколько исковерканных слов по-русски, но поняла меня с полувзгляда, а я понял ее. Я подарил ей колечко, и она вышла ко мне ночью в степь. О, как мы понимали друг друга!

Любовь, подобно смерти, уравнивает раба и господина и стирает все различия между людьми. Да, ее пизда находилась там же, где и у русских женщин, и пахла так же звонко. Хуй и пизда, как золото, с которым можно придти в любую страну и жить богато, не зная ни языка, ни местных обычаев. В иноплеменной стороне чувствуешь себя чужестранцем только из-за мужчин, так как для общения с ними нужно знать их язык. Во всякой стране я хотел бы найти страну амазонок.

Отец башкирки стал звать ее; она выскользнула из-под меня и убежала в темноту. Это было очень кстати, ибо я уже сам подумывал, что пора отослать ее домой. Так я и не смог запомнить ее имени.

Увидев пизду впервые, я испытал не столько тягу проникнуть в нее, сколько благоговение перед ней. Прежде чем ткнуться в нее хуем, я, влекомый неведомой силой, поцеловал ее, и наградой за этот порыв было познание ее вкуса и аромата. С тех пор у меня создался ритуал — всякую новую пизду я прежде всего целую. Часто поцелуй затягивается, пока она не кончит.

У меня никогда не было желания говорить о пизде брезгливо или

грязно, и мне было удивительно еще в Лицее слышать непочтительные, пренебрежительные слова о ней. Многие гусары во всеуслышание заявляли о своем отвращении к запаху пизды. Я горячо вступался за нее, и все сулили мне большое будущее, помимо поэтического. Для меня всякая пизда была и есть святыня, принадлежит ли она светской даме или дешевой бляди.

Помимо похоти и благоговения, пизда всегда вызывает во мне умиление, подобное тому, которое испытываешь, глядя на маленького ребенка, котенка или щенка. Я думаю, что исток умиления к младенцам лежит в их недавнем пребывании в пизде. Она дает волшебный ответ на все, только что побывавшее в ней. Как я завидую моему хую, которому выпало счастье забираться в сердце пизды. О, если бы я мог залезть в ее глубины языком, носом, глазами!

Вспоминаю самые острые наслаждения, и мне приходят на память не свои наслаждения, а моих женщин — их наслаждение становилось моим.

Одно воспоминание особенно часто встает у меня перед глазами: Ам., раскачивающаяся у меня на кончике языка. Похотник у нее был величиной с вершок. Стоило дотронуться до него, а тем паче взять в рот, как она совершенно забывалась от сладострастия. Она стояла на коленях надо мной, а я засосал его в рот и мучил языком. Ногтями я в то же время легко поцарапывал ей соски, а ладонями чуть осаживал назад, так как Ам. в жажде кончить так тяжело упиралась лобком в мой рот, что верхняя губа моя, прижатая к зубам, затекла. Но я и не думал останавливаться, это было бы бесчестным по отношению к женщине. Я любовался изменениями ее лица. Волны наслаждения накатывались на нее, каждая последующая сильнее предыдущей, и жилы на ее шее напрягались от усилий дотянуться до некогда запретного плода.

Голова ее склонилась набок, рот раскрылся в потугах, и вдруг из уголка рта вытекла капля слюны, и, растягиваясь в воздухе в длинную струну, окропила мне лоб. Ам. в это мгновение раскрыла глаза, увидев пред собой распахнувшиеся на мгновение врата рая, и исторгла восторженный стон. С тех пор слюна, вытекающая из ее открытого рта, и то, что Ам. даже не заметила этого, стало для меня одним из захватывающих воспоминаний.

Если бы Н. знала, что многие мои порывы страсти были вызваны не ее прелестями, а этим воспоминанием, она бы охладела ко мне еще быстрее.

Досадно вместо жены представлять других женщин, чтобы заставить кончить себя и ее. Новая любовница действует на меня благонравно: я так увлечен новой масляной пиздой, что верен ей даже в мыслях. Неважно, что верность длится недолго, ведь можно обрести новую верность — новой пизде.

Для меня стало привычкой представлять пизду из прошлого, после того, как Н. кончит, и тогда я быстро кончаю сам. Без этого шершавое равнодушие женой пизды, которая похотью превращается в чавкающее болотце, не наращивает моего желания достаточно сильно. Я уверен, что Н. думает о Дантесе, чтобы поскорее кончить, хоть прямо она мне об этом никогда не говорила. Но я однажды рассказал ей об одной своей фантазии, на что она мечтательно произнесла: «Как хорошо, Пушкин, что я не могу читать твоих мыслей, а ты моих». И я, как муж, почувствовал свое бессилие предотвратить мысленную измену жены. Если я не могу вызвать в ней любовь, я хочу обрести силу управлять женою, хотя бы с помощью магнетизма, и внушать ей чувства, угодные мне. Но и здесь нужна внутренняя сила и сосредоточенность, которых у меня и в помине не бывало.

Вскоре я встретился с Дантесом и опять в том же месте. Я в тот вечер выиграл много денег, был сильно навеселе и в прекрасном расположении духа. Я сидел в гостиной с девицами, раздумывая, какую выбрать. Вошел Дантес, и, увидев меня, направился ко мне с широкой улыбкой. Помню, я подумал тогда с торжеством, что у меня зубы белее, чем у него. Я улыбнулся ему в ответ и пожал его протянутую руку. Тогда он только начинал ухаживать за Н., и я в этом видел явление скорее нормальное, чем предосудительное.

— Все дороги ведут в пизду, — сказал он. — Нам давеча так и не удалось поговорить, и я очень рад, что Бог, или вернее, дьявол опять предоставил нам случай.

— Добро пожаловать! — сказал я, показывая на бедра Тани, сидевшей у меня на коленях.

— А это хорошая мысль, — обрадовался он, садясь рядом с нами на диван. — Я угощаю! Нет приятней знакомства для мужчин, чем через посредство одной женщины.

В тот момент я проклял свою женитьбу, ибо сразу услышал в этой шутке намек на Н. Но я был в благодушном настроении, так как у меня на коленях сидела Таня. Не понимая по-французски, но прекрасно понимая язык любви, она ерзала, ощупывая твердость моего хуя, и в то же время строила глазки Дантесу. Он положил руку ей на ляжку, и во мне вспыхнула ревность. Я пристыдил себя — нельзя же ревновать блядь, тем более, если он взялся платить за нее. Но мне нравилась злая сила ревности, и я решил, что если я не позволю ему платить за нее, а заплачу сам, то тогда он не будет сметь прикасаться к ней, ибо она, хотя и на время, но моя собственность, моя крепостная.

Я снял руку Дантеса с Таниной ляжки и сказал:

— Я не беру подачек даже в виде блядей!

— Вам виднее, — с улыбкой сказал Дантес и удалился в другой конец комнаты. Не схвати Таня в то мгновение меня за хуй, я бы дал

ему пощечину за двусмысленное «вам виднее», но ее искусные пальчики направили мои мысли в иное русло.

Через день Н. получила записку без подписи, где ей доброжелательно сообщалось о моих визитах в известный дом.

Она показала мне записку с улыбкой, но глаза ее особенно заметно косили, как это случалось в минуты негодования. К тому времени мы уже договорились, что она позволяет мне отлучки к блядам. Но я не поделился подозрениями на счет автора этой записки. Позже, когда Дантес стал не давать Н. прохода, я сказал ей, кто написал записку, надеясь, что посещение Дантесом борделей оттолкнет ее от него, как оттолкнуло от меня. Но от него ее ничто не может оттолкнуть. Я вижу, как она трепещет при виде Дантеса, и я восхищаюсь силой ее характера, выбирающего долг и отвергающего страсть. Но при напористости Дантеса она не сможет держаться вечно, и поэтому мне нужно ей помочь. Как горько мне об этом писать. Я заговариваюсь и повторяюсь, я помню, я уже писал об этом, но у меня нет времени перечитывать и исправлять эти записки.

На балу Геккерен подошел ко мне и подал записку, сказав, что это исключительно важно. Я решил посмотреть, до какой степени он готов унизиться, чтобы уладить дело. Мне было легко, ибо я решил идти до конца при любых обстоятельствах. Я будто бы нечаянно выронил записку, принимая ее. Видя, что я не делаю движения поднять ее, Геккерен, кряхтя, нагнулся сам, поднял записку и опять протянул ее мне. «Напрасно трудитесь, барон, — сказал я и снова бросил ее на пол, — я вас еще не так унижу». Я видел, что ему стоило большого труда сдержаться и не броситься на меня. Я рассмеялся ему в лицо, повернулся и ушел. Теперь я мучаюсь любопытством, что же было в той записке?

Вот уже давно я не только не возражаю, а бываю рад, когда Н. ездит на балы одна. Стоит ей выйти за порог, как я устремляюсь к свежей пизде и, ебя, представляю, как я буду дома поджидать Н., раздевать ее, усталую и потную после танцев, а потом всуну ей пару раз, прежде чем дать хуй в рот, чтобы пиздяной запах, бывший на нем, казался ей своим.

Но однажды я поторопился, не сделал этой маскировки, а прямо приставил ей хуй ко рту. Она взяла его и тут же возмущенно отстранилась. «Ты пахнешь другой женщиной», — сказала она и подняла на меня загоревшиеся глаза.

Я, не давая разгореться гневу, повалил ее на спину.

— Это Азя, — соврал я, — вот ты и познакомилась с сестричкой.

Н. поуспокоилась: Азя была дозволенным компромиссом. Но до конца смириться она, конечно, не могла и стала мстить мне, расска-

зывая, что в танце Дантес фантазировал, шепча ей на ухо, как произойдет их первое соитие.

Тут я взбесился и закричал, что буду стреляться с ним. Н. ухмыльнулась.

— Ну, и по ком же ты будешь плакать? — ехидно спросил я.

— По тому, кто будет убит, — ответила она серьезно.

— Это ответ не жены, а бляди, — произнес я беспощадно.

— Блядун — ты, — невозмутимо парировала она, — а я, дура, все еще верна тебе.

— То-то же, — успокоился я, вновь поверив ей.

Чтобы иметь деньги, надо их любить, а я их лишь уважаю за власть. Они это чувствуют и не идут ко мне в руки. Я люблю женщин, и они отвечают мне взаимностью. Я люблю поэзию, и Муза от меня без памяти. Я люблю игру, и она приносит мне наслаждение, несмотря на проигрыши. Даже в них есть наслаждение, ибо они часть игры. Так что в моих проигрышах нет несправедливости: деньги ко мне по-прежнему не идут, а любимая игра дает радость. Мысль благословенная.

Последние дни Н. доводит меня до бешенства — в ней я вижу причину моей несносной жизни. Вышла за меня не по любви, не по похоти, а спасаясь от пощечин матери. Люби она меня, я бы, может быть, не таскался и не волочился. А теперь она еще бесчестит меня перед светом. И не делом, а глупостью своей, которая всегда выводила меня из себя, а сейчас уже невыносима. Ее красивая глупая рожа становится временами мне так ненавистна, что я не знаю, кого мне прежде убить, ее или Дантеса.

Недотрога предполагает нечистоту воображения. Невинная девушка не станет сопротивляться влечению, ибо не знает, а потому не может вообразить, к чему оно ведет. Только опытная женщина, знающая силу своей и мужской похоти, будет недотрогой, ясно воображая, как трудно будет остановиться, если дать к себе притронуться.

Когда я пляжу на свою Мадонну, во мне возникают два чувства: хочется молиться ей за ее верность и в то же время хочется ее за верность проклинать. Верность ее — это упрек моему распутству, это жестокий укор, это рана, которую она торжественно берedit. Я уверен, что если бы я не изменял ей, то она тотчас изменила бы мне.

Эти записки я не смею показать никому из ныне живущих, ни даже Нашокину. Полностью обнаженную душу не в состоянии принять даже лучший друг.

Что друг? Я сам не осмеливаюсь перечитывать написанное: слишком велик страх перед собственными безднами. Так и тянет бросить все это в огонь. Но я уже однажды проявил малодушие и сжег свои записки. Тогда я боялся каторги, а теперь я боюсь Бога. Он послал «ангела» Дантеса, — а он и вправду красив, как ангел — покарать меня. Я уже начинаю заговариваться — с чего ни начну, все возвращаюсь к нему.

Сделав порочный шаг измены, я ступил на путь, который любой

последующий шаг, будь он сам по себе даже и честным, превращал в бесчестный. Этот путь для меня — путь в пропасть. В силу моего темперамента я не умею остановиться и довожу все до крайности, а крайность на этом пути ведет к саморазрушению.

О свежей беременности не принято говорить в обществе, так как она по времени слишком близка к ебле. Растущий живот переносит внимание на его содержимое, которое для общества и представляет единственное оправдание похоти.

Женщины, пахнущие пиздой, которая в сладострастии бьется, как сердце.

Я получил новое безымянное письмо, в котором сообщалось, что старик Геккерен готовит побег за границу Дантеса с К. и Н. с детьми.

Государь якобы оповещен и обещал не чинить препятствий, чтобы спасти Н. от «сумасшедшего мужа». Я показал письмо Н., и она бросилась на колени молить прощения, клянясь, что она еще не дала окончательного согласия. Я послал Геккерену письмо, которое заставило его «сынка» вызвать меня за отца. Завтра дуэль. Вполне возможно, что копии письма посланы и другим людям. Теперь после диплома они жалеют меня и ничего мне не сообщают. Но я вижу взгляды затылком, слышу шепот за спиной.

Я прочел письмо Азе. Только она мне близка. Она спросила, не разучился ли я стрелять и стала умолять меня немедленно идти упражняться. Женись я на ней, все было бы иначе.

Как мне хочется убить Дантеса хотя бы для того, чтобы придти на его похороны и рассмеяться в лицо старику.



АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ

Лице АЕН

Рассказ

Я никогда не любил цирк. И не ходил в него. Не одержимому условностями жанра, мне всегда казалось, что гонять животных по арене — издевательство. Их место — в пампе и саванне, о чем они, ломая дурака на радость людям, уже, возможно, и не помнят. Хотя как знать? Трепещет все живое! И никакое насильственное искусство циркового трюка не ослепительней свободы, природой данной — и отнятой тираном с размалеванным лицом и плеткой в блестках. И может ли он сам, чье творчество, победа и успех — в насилии над живым, — вещать свободу?

Мне никогда не нравилась и вся эта телесная отвaga циркового зрелища. Есть что-то в ней от порочных гладиаторских забав, недаром и само слово цирк — оттуда. Закладывать в пасть риску собственную голову успеха ради — не менее бесчеловечно, чем чужую, и что-то в этом рабское успеху. И чисто зрительно — мне неприятно заглядывать в животные глаза страха и больше нравится, когда красавицы-смельчаки благополучно приземляются на свой ковер, чем когда крутят там, под куполом, свои бесцельной дерзости кульбиты. Жизнь — все же не кульбит, и летать человеку невозможно, — они же своим фальшивым трюком, правде вопреки, хотят нас убедить в обратном. А впрочем... Еще давней студенческой порой мне перепал особый случай от души возненавидеть все их лицедейское искусство.

То было в те жестоко лстыивые года, когда один гигантский фас, уже проросший в шарж, простер свою афишу по стране с каким-то поистине нероновским размахом. И здравомыслящие зрители сходились сообща на том, что еще нелепей, чем веровать в серьезность представления, вслух заявлять о самоочевидном, — да и бестактно к ветерану, который по старости подчас уже не узнавал не только публики, но и товарищей по сцене. Они же, когда-то в юном и давно просроченном грехе предусмотрительно избавившись от конкурентов,

обрюзгли праведным жирком к закату, стяжали весь успех одной не знавшей сносу постановкой, которой соблюдение оваций не требовало никаких новаций. Но жизнь, томясь по искренности, изгнанной со сцены, не находила лучшего как восполняться, с отпущенных свобод, за счет бутылки. И к ночи порой целые дома и призрачные в мертво-голубом неоне новостроечные кварталы вело, как пьяных. Вот на такой-то пьяной вечерушке как-то тогда я и познакомился с циркачкой. Ну, это, может, громко сказано: она была девчонкой помоложе моего, довольно страшенькая с лица, и всего лишь танцевала на Цветном в кордебалете. И оказалась хозяйкой дома в одном из тех неоновых концов, куда случай нас затащил на самый популярный той эпохи праздник по родительской отлучке.

Кто из бывших товарищей не помнит? Магнитофон на всю, «сухач» — а повезет, так портвейн и водка; чад, топот, пепельница мордой на ковер, на кухне кто-то наворачивает прямо пальцем майонез из банки, и не поймешь, целуются или блюют за шторной кисеей в темне балкона. И посреди — шемящей зависти для недопивших или перепивших и просто лопухов — жемчужный ручеек пленительного разговора меж тех двоих, что уж час под все мелодии и вовсе без них танцуют один блюз, прильнув друг к другу, — а кто он? как ее звать? — на что, не надо; в море лжи, опошленности всех понятий и имен — спасительная наконец соломина забвенья.

И я прелестям всех других искусств предпочитал в ту пору этот танец. И сразу выбрал для себя хозяйку. Слова «кордебалет», «цирк», связанные с ней, вязались с блеском тел, каким-то особенным, отложенным в фантазии, как спрос, соблазном напоказ парящей плоти. И то, что на лицо она оказалась не фонтан, лишь подливало первенства фигуре — той в точь, что надо, и под внешним платьем, — дразня тайком, что здесь не будет ломки — вечной спутницы красы и лжи лица, смелей и по сердцу — нелживый ангел тела.

Его-то я и позвал на танец, как только, обколов ледок начальной розни рюмкой за столом, почувал, что дозрел до тех речей, значение которых, как сказал поэт, темно или ничтожно, а смысл — горячий, как пароль, щека в ошеломляющий момент прикосновения. И под сиренный вой магнитофона, в инфракрасном зареве влеченья лицо ее с великоватым ртом и чуть не так посаженными глазами, а главное наштукатуренное донельзя, мне не казалось вовсе уж дурным, не скажу — милым, наивным — это точно.

Но тело — высший класс, Бахчисарай! Я чувствовал его отменно, без труда, оно не требовало капли силы от объятий, я с трепетом первоисточника читал каждую строчку легко текучей ткани и все, что под — не крылось, открывалось, — и в этих сжатых строках была истина; а коли так, давай еще тесней, все — здесь, а прочее — прочь, оттолкнем, как ни на что уже не нужную стремянку!

Но голая поэзия не тянет в жизни. Между тем, пока железо горячо, похабник-мозжечок уже на стреме: танцуй, танцуй — но как-то не

забудь, что это не искусство для искусства! В таких гостях, как учит догма, никто не знает, что будет час спустя, а потому ломай хребет, чуть дрогнет слабиной, навязывай, как шахматист, победу! Сначала — а потом поговорим! И глаз ловил, что дверь с задвижкой выпустила из смежной комнаты двоих, и комната была пуста, притягивая сумасшедшим предвкушением. И я, шалея, притянул ее хребет, и он податся, и губы, одолев стыд лица, лишь поднялись — и бессловесно слились под горячее вина, помады и белил.

Не думай никогда! Раздумья — палачи успеха. Тираны никогда не думают. Дурак Нерон шутя прибрал все то, на чем скопытился мудрый и мужественный Цезарь. И с женщинами — в точь то же, как народы, они предпочитают тиранизм. Сначала — а потом, — но что потом? Втюрился я, что ли, спяну в этот позвоночник — мне не ломать хотелось его, а ласкать, не мог, как с чертовщиной, справиться с каким-то чудным, еще высшей магии, чем страсть, напльвом обожания. И перед дверью, куда лишь оставалось делом техники войти, я, порываемый надвое, решал такую — только подстать минуте! — капитальную задачу.

Все звери от природы хороши. Всех девушек на свете я хочу. Но почему с тем, бессловесной тварью, можно жить годами, а женщина — до свинства — юзом тянет, а там — противно, мочи нет! Где тут ложь? Ложь — ложью, ложь за скобки. Но за ней? Вот со мной было, у меня в гостях девчонка, хочу ее смерть, скулы сводит, что-то плету — так это ложь, а правда одна в мозгу, в такт сердцу: «Только б не ушла! Только б не ушла!» И вот — мгновение — и то же сердце: «Только б не осталась!» Так что не так? Что тварь она и глупая? Допустим, но не глупей, не тваристой собаки! Что дружбы не было, духовной мототы? Чушь! Дружба — дружбой, друзей в кровать не тащат, где эта мотота в народе, кланяемся обезьяне! Я верю только сердцу, сердце — вешун, а больше — никому и ничему. Не верю, что есть город Токио; ложь, пропаганда, я его в глаза не видел и не увижу никогда, а снять все можно, буряток наших завернут в отрез — и нам снимают. А вот у меня был пес вернейший, двух вершков от пола, но мы с ним любили друг друга, сердцем в сердце! Когда я плакал, он скулил, а он скулил — я плакал. И мне не было с ним ни минуты скучно, я из гостей сбегал к нему, — ну почему с женщиной так, раз это есть в нас, невозможно? Почему все псы на свете, с какой бы мордой, большой, маленькой, ни уродились, — без исключения красивы? А женщина — не так чуть — уже уродка! Но этого не может быть! Животных некрасивых нет, значит, и женщин некрасивых нету тоже! Уродства в природе нет, глаз — урод, так залгались, что не разолгаться! Я на тебя смотрю — и ты прекрасна, вся — плоть от плоти — самое оно! Все в этом зрении — только! — весь секрет. Нет некрасивых женщин на портретах! Художник видит эту красоту, мы видим замечательно зверей, природу — и век не знаем края восхищению. Так дай схватить, пока дымится страсть, пусть — она, не гони и не тьяни картину; само, свободно, невзначай, лишь осторожно

— не сбить, не смазать этот угол, прицел, что держит нас под трепетным огнем! — Так думал я, а может быть, кричал — гортанью, сквозь весь гам и пляс; горячим языком по деснам, напрямик.

И тайно мнил: кажется, картина состоится.

И в бешеном зазнайстве пересел с прилежного коня игры в победу на коня живого. И вместо того, чтоб форсировать развязку, свободно отпустил ее: гуляй!

Гулянка понеслась. Штормило лихо, вино било пеной по губам, но юность наша требовала бури и поднимала, как парус в море, за кутеж еще, и колдовские голоса сирен из чуждых, навсегда закрытых стран пели нам сладкую погибель. И мы с ней тоже пили, торчали за столом и разлагались вместе с остальными. Кому-то опрокинули фужер на платье, невежа бил хрусталь на счастье и кричал: «Стекло!» — поэт в сердцах уделал весь сортир и в слезном романтическом пылу крапал на пипифаксе завещание. Она взялась за чистку корабля. И схваченное тихо пропадало.

Она спросила: «Ты поможешь им уйти?» И я почувствовал, что язык мой не в силах повернуть вопрос — решающий, как год для пятилетки, куда я не вложил свой труд, что был, казалось, прост донельзя в ходе танца, теперь же не наверстывался ничем — как может мстить отступление от догм! И выгирая за поэтом, лидером на выход, я чувствовал, что с каждым мигом катастрофически трезвею, тогда как тайный умник, бракодел, язвил под локоть: эй, как бы сам не кончил лужей — с поэтической луды! Но прав, подонок: проморгал шанс — надо хоть как-то застолбиться. Рыцари арапа, что начинают торги в коридоре, кончают их, как правило, за дверь. Ну, правильник, иди, лги, трудись, — стучало в голове, — пока не поздно! А может — в самом деле на авось? — подсовывала свое испытанная трусость. Ну уж нет! Цирк так цирк, бог-любит смелых. Не выдаст — и свинья не съест!.. Вот же какая омерзительная дрожь — и это называется свобода!.. Но где она? На кухне, что-то моет. Ну, веселей, черт с дрожью, черт со всем, пошел, ну — бросайся, голос!

— Сльшишь... не против, я останусь? Ехать долго... — Фальшь! Фальшь! Все, мимо; чувствую, лечу...

— Если дашь слово. — Что? Не может быть! Спасительная фальшь в ответ — и, сам не веря, приземлюсь все же благополучно. И с благодарностью, от всей души, даю ей слово искренней, чистойшей лжи.

Но что есть истина? — не могу унять в себе вопрос, когда простывают шумные следы гостей, со стеклобойцем и поэтом, и, как условилась, она стелет мне в комнате с задвижкой — и уходит из безязыких рук, оставив за собой полосу света в щелке под дверь и приглушенные — но оглушительней палбы в ушах — последние перед укладкой шорохи воды, хождений и одежд. — Условие? Условность. Истина — что я ее хочу. Но ей чего-то дьявольски недостает! Чего? Ведь был же

миг, когда в ней было все! Или казалось? Или кажется теперь? Вот это — что, как называется в народе, «без любви?» Которую мы, как арсенное зверье, должны изображать за лакомство конечной пайки! И это — истина, чтобы я ее дрожал? Полоска гаснет, и больше — кроме боя собственного сердца — ничего. И под этот бой, на страх и риск, я, дрожа всем телом, начинаю раздеваться.

Ну отчего ж, впрямь, так бьет? Идея в высшей степени верна! Не воровать, не домогаться брачного добра — я, голый человек, хочу другого человека, — что может быть на свете праведней?! Но этот дьявольский, искусственный неон, что красит меня синей трупа, — вот кто все, откуда пакость! Но я его не побоюсь! И я ступаю к двери, только берусь — и жуткая, как хлад морских пучин, волна окатывает с головы до пят, — и открываю створку, как кингстон. Она лежит под саркофагом простыни, лицом к стене, крадусь, как осквернитель, только сердце бешено стучит, как черт в коробке, присаживаюсь на край кровати с невероятным напряжением, чтоб не качнуть, не скрипнуть. Скрипнул. Тихо. Ждет или спит? Бум, бум, — в ушах. Ну, черт, смелей, — и вытягиваюсь вдоль.

— Как кот приполз.

Уф, ну и работка! Скажи сейчас: еще, — ни за какие сласти!.. Дай присосежусь. Так. Благодарю.

— Ну что ты молчишь?

А ты пройдишь, попробуй! Но вишь, труса врезал, но пришел! Дай отдышусь. Дай руку. Ну вот, так можно и без слов...

— Холодный, как ледышка.

Отогрей!

— Ладно, лезь под одеяло, только смирно.

Ну, это завсегда. — И чувствую сквозь тончину рубашки теплейшее бедро. Все. Тихо полежим. Пока. Как ласково тепло от человека!..

Наверное, сперва б поцеловать. Но не лицо ее влечет, а тело. Слепой, наверное, так видит, осязая...

— Руки!

А рта я не раскрою. Я и немой. Мысль изреченная — ложь, а в наше энтропическое время — ложь в квадрате.

— Я сказала, руки!

Что ж, хочешь побороться — изволь. Борьба мне нравится. Все честно и без подвохов. Вот нравственность! Еще пронзительней силовая ласка, и — что за черт? — короткий выверт, и, рукой хватая воздух, голым задом шупаю паркет. Бросаюсь назад — но прежнее бедро теперь твердо как камень.

— Можешь не стараться, все равно не выйдет ничего.

Мгновение — и до конца осознаю всю суть немислимого дела. Так вот что крылось позади всех этих танцев, ласк, фальшивого наива, к чему я рвался — что и заполучил! Она провела меня, но как! Волшебное бедро, почти обнаженное — в руках! — и не доступней, чем в юпитерах манежа! А я-то губы раскатал, я сердце распалаял, как Данко; как уголь,

нес — чтоб просто плюнуть на него, как на утюг, шипенья ради! И даже позабыв скатать все это, я расцепил руки и сел. Она зажгла ночник.

— Прикройся.

И то, хвастать нечем, прикрываюсь. Видать, на роже у меня написано все, что вкушает сердце, если не лучше.

— Что, обиделся?

Любезно сказано!

— Ты что, думал, что я проститутка?

— Нет.

— Но ты пришел и думал, что я буду с тобой спать.

— Про сон и в мыслях не было.

— Тем более! Так поступают только проститутки.

— Так поступают все.

— Да, как собаки? Чтоб завтра разбежаться?

— Не трогай собак. Они верны и искренни. А люди лживы.

— Но разве нельзя без лжи?

— А я тебе и не солгал ни слова.

— Потому что даже не сказал. Полез, как на скотину, хоть бы поцеловал сначала!

Вот так новость! И вторая сразу: из глаз ударило в две тонкие струйки. Ну дал же бог им счастье! Хорошая слеза подчас умней слова. И у нее так это получалось хорошо, с таким, я б сказал, доверчивым уютцем, что мне внезапно сделалось легко. Я растянулся, снова обнял ее плечи и лег щекой на грудь.

— Я тебе все сказал. И ты все поняла. А целоваться мне с тобой неприятно.

— Почему?

— Ты намазюкалась. Пойди сперва умойся.

— Уйди!

— Э, только без приемов! — Я отодвинулся на всякий случай. — Я правду говорю. Умойся — поцелую.

— Как будто я напрашиваюсь.

— Конечно.

— С чего ты взял?

— С того, что ты нарядилась. Ну я прошу тебя. Ты можешь — для меня? Ну хочешь, пятку поцелую? Только умойся!

— А ты не умрешь со страха?

— Не умру.

— Ну и пожалуйте. — Она вдруг проворно поднялась, переступила через меня и убежала, шлепая босыми пятками, которые и впрямь, мне показалось, не противно было б сейчас поцеловать. Но от такой решительной, даже через край, ее оценки своего портрета я все ж, честно говоря, слегка струхнул. А вдруг точно без этой дряни будет хуже? Ведь мажутся с египетских времен — так что-то знают! И лгут, и женятся, и носят накладное, и ползают на брюхе за муру, — и это — хорошо ль, худо — жизнь с лица; а что под этой выкраской, и есть ли вообще что-то?

— Пусти, разлежся. — Я лежу, как лег, но в голосе, за голосом такая робость, как у бездомного щенка, переступившего впервой страшную заманчивость порога. Она легла, но чтоб скрыть лицо, сама в моих объятиях жалась ближе, между тем стремясь и как-то оттолкнуться, — отчего на сей раз наша возня пошла куда живей. Лицо ее, вместо прежнего букета, теперь пахло лишь свежестью мыла и воды, и когда мне все ж удалось отставить его так, чтобы разглядеть, сердце захлебнулось нежностью к таким обезоруженным, беспомощным глазам, зрачки которых не находили места и стыдились, как девственница первой наготы.

— Ну подожди, ну не целуйся! Я правда тебе нравлюсь? Ну не смейся! Ты можешь со мной поговорить?

— О чем?

— О чем-нибудь.

— Конечно. О тебе. А кто у тебя мама?

— Начальник цеха.

— На заводе?

— В ресторане.

— А папа?

— Военный.

— Но с вами не живет. И у него еще есть кто-то, но тебя он любит больше.

— Откуда ты знаешь?

— Так, попадаю наобум.

— Неправда.

— Правда. Ну есть какие-то стихийности в природе. Например все, кто курят «Беломор», бреются бритвой с лезвием.

— Почему?

— Необъяснимо. Есть — и все. Какая-то такая донная незыблемость. Все поверху меняется, а это — нет. И у тебя уже тоже что-то на роду написано.

— Что?

— Не знаю. Все равно исполнится.

— Я бы хотела... Знаешь, меня там, в цирке, еще учат воздушной гимнастике. Я так хочу — летать... Ну не приставай!

— Почему?

— Я все равно не могу быть с тобой. У меня есть другой человек. Не обижайся. Ты мне нравишься. Ты мне с самого начала понравился. Если б ты появился раньше, то был бы ты. Но я не могу спать сразу с двумя.

— Это кто тебя учит?

— Да.

— А он гимнаст?

— Был. Упал на репетиции, нога плохо срослась.

— А теперь?

— Ну, другое. Не надо про него, ладно? И не надо меня шупать,

мне неприятно.

— А мне приятно. Очень. У тебя такое красивое тело! Умней в сто раз, чем голова. А ты... Какая-то, не знаю, неудельная. Как мой пес в молодости, точно! Тоже всего стеснялся, боялся за половичок свой выходить.

— А потом?

— Вышел, ничего, освоился.

— А потом?

— Умер.

— От старости?

— Нет. От любви.

— Как? Расскажи.

— Ну, мы действительно очень любили с ним друг друга. А главное, он все понимал. Не так, по дрессированному, а по-братски. А я тогда учился в школе и таскал портфель одной маленькой поганке...

— Она что, издевалась над тобой?

— Да это еще ладно — хотя от нее-то я ничем не заслужил. Но иной раз станет вдруг так грустно, я еще верил в душу, что правда где-то есть там, на небеси, и что б здесь ни делалось, в конце концов сама не выдержит и грянет, ну а пока все нет — хоть реви! А песик чувствует, когда хреново, подойдет, рядом сядет, и сколько я молчу, столько и он. Не твякает, не лезет в душу, а просто — вместе, заодно скульнет, — а чем еще тут подсобить? А ту поганку он терпеть не мог. Пойдем гулять, она к нему, он для вида только, чтоб не обидеть, с ней повозится, а отвернулась — сразу деру. Ну вот, мы так однажды втроем в скверике, он где-то в кустах, мы сели на скамейку, и она меня там первый раз поцеловала. Я просто ошалел, такое ощущение, с ума сойти! Но только чмокнулись — мой пес летит со страшным лаем и начинает вокруг прыгать и сходить с ума. Я крикнул на него, он замолчал, но только мы опять за дело, он — за свое. Конечно, теперь я понимаю: ведь я действительно был в его жизни все. У меня ж и поганка, и школа, и друзья, и папа с мамой, а у него-то — кроме меня и половичка в прихожей — ничего. Но я целовался первый раз в жизни и потерял совсем башку, как заору, по-настоящему, со злобой: «Пошел вон!» Главное ж, не что наорал, мог бы ударить; вот это зло — он никогда его не слышал! Сразу сник, уши упали, повернулся и побрел долой. И мы опять давай с ней целоваться. Но у меня уже внутри какая-то тревога, уже думаю, как-то скорей доцеловаться и догнать, пока не поздно, изо всех сил жмурясь, а он стоит перед глазами. И я уже хотел оторваться и за ним — но тут она взяла мою руку и положила себе на грудь. И я опять обалдел и забыл все начисто. Но сколько-то прошло, и вдруг я понял точно: она все это делает нарочно. Я тут же вскочил, бросился в кусты, зову — не отвечает. Я все кусты и дворы вокруг облазил, всю ночь искал — бесполезно...

— Откуда ж ты знаешь, что он умер?

— Если б не умер, все равно б вернулся. Кто так, как он, умест

любить, умеет и прощать. Но он не вернулся — хотя я ждал, ждал потом дни напролет... Мне уже в жизни никого, ближе чем он, не попадалось.

— А та... поганка? Она была красивая?

— Как все... Но после нее я, знаешь, всех девчонок не люблю, как человек. И ни одной не верю. Так, сверху верю, а чтоб дальше — нет.

— А я не вру тебе.

— Я вижу. Да пока и не на чем.

— Нет, понимаешь, может, и вру. Но правду так не скажешь. Надо знать слова, а я не знаю. Мне иногда так с кем-то хочется поговорить, просто ужас! Но с умными я не умею, а с дураками — неинтересно. Все только лезут, как ты сперва, противно даже! Другого хочется!

— Чего?

— Ну, я не знаю, как сказать, чтоб было не смешно. Я бы хотела спать с тобой, встречаться. Ты не захочешь. Все так: только б один раз — и все. Из-за моего лица. Поэтому я и крашусь. Но неужели — это самое главное? Все только смотрят на красивых, а врут про всякие там чувства, идеалы, которых нет, и все это знают, но все равно, я просто не могу, везде: по телевизору, в газетах, в школе... Ну почему, ты можешь объяснить?

— А ты не крася. Мне кажется, люди боятся не некрасоты, а того, что человек сам тяготится этим и с ним тягостно. А должно быть легко. Лицо — не главное, но человек думает, думает об этом, и это становится главным. Надо не думать.

— Я стараюсь. Не получается.

— Это трудней всего. Проще накраситься. И все так начинают. А когда налгутся сами и накраются, то начинают все вокруг накрашивать и облыгать, чтоб не так стыдно было, и самого накрашенного почитать, как божество...

— А ты веришь в бога?

— Нет.

— А я верю. Ну не обязательно, чтоб такой, в образе человека, но ведь мы откуда-то же знаем это: любовь, счастье, радость, — хотя этого нет в людях, но есть ощущение, есть чувство. Вот как ты рассказывал про свою собаку. Ведь ты же не учил ее этому, значит, это было в ней с самого начала. Мне кажется, я с этим родилась, чувствовала это еще раньше, чем научилась говорить, и так хотелось всегда выразить, но я не умею, не могу словами... Хочешь... только не смейся... я тебе станую?

Лицо ее совсем забыло стыд и было теперь лишь озарено дебютным треволнением; она легко вскочила — и стеной плафон как раз поймал посреди комнаты, подобием юпитера, ее. Она взяла кассету с полки, вставила в магнитофон, включила музыку. Затем вернулась в свет и простым движением, как факир манто, скинула рубашку. И этот жест, и эта нагота меня ошеломили так, что я, клянусь, на время прекратил свое существование как мужчина. Это не была та наглая нагота стрип-

тиза или банной шелки, где глаз шокирует концентрат недолжного, сам криминал обычно купируемой цитаты. Она же обнажилась глубже, как душа, как текст, где внутренняя смелость отчаянней и выше всех купюр. Все было именно то должное, что, может, и должно быть повседневно скрыто, чтобы, век не приедаясь, только изумлять, как изумляют суть и правота.

И что она плясала — не вложить в слова. Я только понял, что вся отважная брехня, которой я окручивал девчонку — просто детский лепет, ничто в сравнении с тем, что крутила передо мной она, выкладываясь и вкладываясь до последней жилки в танец, — и я поневоле натянул одеяло на свои нетренированные мощи, дабы не сравниться даже невзначай. Я б и хотел урвать скабрезное звено, но оно, как это тело моему тому набегу, не поддавалось вычленению. Свинячье счастье — то была лужга, она выкладывала больше, все, — и спрос бежал, побитый предложением.

Я понял: не чахоточное облачко, затерянное невесть где, — душа вся — в теле. Девчонка въяве показала мне, как ни одна из книг доселе, что плоть одухотворена, что это не поврозь, как мотылек и пакость. И тогда я ощутил одно как бы задвинутое раньше чувство, что ощущал лишь раз, тот, первый и последний в жизни, когда коснулся школьником той девичьей и тотчас предавшей меня груди. Не похоть и не страсть даже, ведомые лихо, — и лишь любовь, просто любовь, как к цветку, к березе, к матери. И сразу не стало ни дрожи, ни стыда, я сбросил свой покров, выскочил к ней, в свет, подхватил ее на руки и, был бы мускулистей, кружил бы и кружил, но сделал только поворот и, потеряв равновесие, уложил ее прямо на кровать.

— Ну подожди же! Сумасшедший! Ну постой! — Но это не были уже слова сопротивления.

Когда я проснулся утром, душа моя после самой, может, бурной в жизни ночи была свободна и чиста, как морской гольши, как сам я, гольшом, в чужой постели, с чудно спящей рядом. И так чиста, что единственная тучка, на которую не по такой чистоте я б и не обратил внимания, которая мелькнула ночью, как лишь одна из многих, теперь, одна единственная, застила простор и свет — как в лучезарный день пятно на новой вещи, сводящее на нет всю гладь и красоту. «Тот человек», досадная пометка! Бойтесь чистюль! Все продадут за эту чистоту, будешь идти на дно — не подадут руки, чтоб не задело брызгой! И мой чистюля грезил: так все великолепно вышло, сейчас бы, не мараясь, отсюда раз — и сидишь... в читалке, за какой-то отвлеченной, чистой книжкой. В мечтах полет, а в заднице — покой, — и надо ж, что скурив там над урной штабель сигарет, я только здесь вдруг открыл золотую — и к тому ж дармовую совершенно сердцевину! Давился кожей обложки, а сам ел искоса взглядом кого-то через стол: догнать у книговыдачи, случайно... Она проснулась, я почувствовал по легкому движению руки, взял ее руку, и так смешно, молча мы с ней лежали

— два голых человека под одним покровом, с рукопожатием, как у честных школьников, глядя в один и тот же потолок, но из-за округлости земли уже на нем лучи наших взглядов расходились, а там — и вовсе невозможно далеко...

И ее рука лежала так в моей, словно понимала, о чем я думаю, и благодарна уже за то, что не гоню от мыслей, что взгляды пусть расходятся, но из соседствующих — хотя бы так, хотя на время — точек. «Мой господин!» А чем собственно? Лишь тем, что молодой мужик и в меру молодости и ретивой плоти — только! — красноречив, и нагл, и нежен, и умен. Обычный троплодит, каких с пещерных пор прошествовали легионы, и вся-то сила в том, что, изловчась, стою на тверди прочными двумя — а то и четырьмя, не отрываясь, без промашки. А она — настоящая артистка, что за честь? В парении — всех выше, недоступней, но — не птица, не там ее жилье — здесь, куда она должна из пасти риска, иссеченная отвагой, к нам, вольным и ползучим, возвращаться. Но и полет — артистки, а не птицы — весь в моих руках, в моей симпатии, приязни или нет, что могу, как древний римлянин свой жирный палец, легко повернуть и так, и так. И только в нем — полет ее и шмяк, он, не нагруженный, ну разве что стаканом, поскольку праздник — и единственный мой труд, — лишь указывает: летать ей или шмякаться. И вот она покорно держится его...

А тот, другой, чье место занимаю я, и, может, вовсе не по праву? Кто он? Играет ей, как мелочью, в охотку, из тех «умных», что по сердцу ей, да не по плечу? Или дурак — такой же гениальноногий, который может все, но исключительно ногой — и вот разбил при шмяке и ничего больше, помимо как мычать, не может? И, может, мычит пронзительно, сам — юный бог с такой же безупречной мускулатурой и здесь, на моем месте, в паре с ней таков, что мне самому с позора провалиться! И жить не может, но лишась единственного языка — смертельного полета, только хохмит, бессильно и пошло, и только, как любая жертва, жалок, и эта фальшь бессилия и вчерашних уз уж ей горла поперек, тошней смерти?

Она почувствовала, что моя рука уже не с ней, и отняла свою. И тотчас, точно ждал, раздался телефон.

— Да, я. Нет. Ну, не знаю. Гости. По-моему, уже решили. Нет, не пила. Ну все. До вечера.

Я спросил глазами: он? А ее некрашеное, такое детское лицо щемило выражение недетской муки.

— Не трогай. Отвернись пожалуйста, я встану.

А вечером у нее было представление, и я напросился за компанию.

Не то чтоб меня разволновал сам цирк, малолюбимый с детства, хотя она, конечно, и прибавила симпатии к нему, но самое в нем интересное, казалось мне, я уже видел. Как я подумал, что там будет он, и лишь представил, вспомнив ее мускул, что может сделать со мной его рука, — во мне заговорила дерзкая отвага. Пусть шанс — тем более,

чем менее — хочу тоже быть гладиатором, не только жирнопалым римлянином периода холуйства и упадка!

И вот когда я с ней вошел с бульвара, который, может, был для меня Цветным в последний раз, в то здание — да не с того, откуда смертные; откуда смертники — конца, — в то здание, что для нас, толпы, и так сродни загадочной, почти космической тарелке, — когда вошел в то здание, где за любимым углом меня подстерегало мшенье, род полета, — я... я, конечно, внутренне напыжился донельзя. «Ave Cesar, morturi te salutant!» — фраза, что, возможно, и на деле станет для меня крылатой, топорщилась в пути особым смыслом. И в его отблеске та, которой, если повезет, нести меня отсюда на щите, сделалась как-то поновому и даже, черт возьми, красиво мне родна; и думая о красоте лица, я подумал, что эта красота, может, и есть мечта о том особом смысле, особенно когда он оставляет в жизни нас, и стало быть, ее природе все же что-то нужно сверх — война, геройство, просто дерзкий романтизм, — без предъявления которых киснет тайна размножения. Но в поворотах коридора с высоким потолком только тренировались, запуская в воздух вещи и друг друга, всеильные, но мирные артисты, не отвлекаясь больше ни на что. Здесь пахло потом, тальком и изнаночным трудом; ни жертвой, ни поэзией не пахло. Мы беспрепятственно всех миновали, она показала мне дверь уборной, где встретимся в антракте, и свела в фойе. Пузырь о донжуанском страдании лопнул, и между нами опять восстановилась какая-то не проходившая с утра размытость, от которой она-то, кажется, страдала. Но что я мог? Чмокнул в намазюканную снова щеку — ну кто б подумал, что танцовщицы этого кордебалета снабжены такой чувствительной душой!

Представление началось с парада-алле. Все высыпали на арену — и уже знакомые по коридору, только разительно сменив то закулисно-трудовое выражение лиц на празднично-подъемную личину, но как неловко зрелище изнанки после парадной стороны, пожалуй, так же и наоборот.

Только она была, как была, — хотя навряд ли здесь кто-то еще, кроме меня, мог это оценить. Она выкладывалась на всю, легко вмещающаяся в общую синхронность танца, и делала это с блеском — не искристой формы, а изнутри, из чистой радости к искусству — даже в таком его столь невеликом проявлении. И от того, что в массе костюмированных тел, плескавшихся, как в погожий день рыбешка в Чистых Прудах, было одно, мне близкое, меня внезапно охватила такая же сумасшедшая нежность к ней, как ночью, — а у нее пусть буду я, если она так хочет, — и захотелось сказать ей об этом не откладывая, тотчас — в настолько же стихийном озарении, что именно она, она и только, наверняка оценит и поймет... Но тут вдруг все ушло во мрак, и пока с арены вприпрыжку удалялись последние живые блески, мощный прожектор очертил круг на более высоком ярусе, и в него вошел плакатный человек — из тех, на всех витринах и углах маляванных ублодков. Рука примера не пожалела киновари и белил, чтобы придать

выражение беспробудной радости щекастой пачке, портной — шитья, чтобы скрасть брюшко гибридом фрака и спецовки, — но и пуды грима не смогли б скрыть тухлость глаз и алкогольную обрюзглость самого оригинала. И эта идеологическая образина, лицетворящая все счастье жителя страны, трескучим альтом, с вытяжкой руки, стала читать ходкий тогда акафист, в рифму славящий догмат и лично, — что мой возраст, думаю, легко припомнит и без приведения. Но, зная, режиссеру показалось мало только образа и рифм, и он потребовал еще вложения души, и соль идейного гвоздя программы заключалась в том, что отец вбивал его по шляпку, черпая свой жест и голос не с поверхности — из самых недр воистину неисчерпаемых пределов — только в иной, чем силачи и акробаты, плоскости. И жидкие аплодисменты публики, привыкшей запросто рукоплескать чему угодно, свидетельствовали, что этот номер, пожалуй, прибирал даже пуще обычных эцентричных трюков.

Потом свет вспыхнул опять, и отец убрался, как некое злоеущее, но слава богу сгнувшее виденье, на ковер выбежали резвые гимнасты, которых тут же встретили, как избавление, бурными хлопками. И все пошло своей канвой, но я не мог стряхнуть с души какую-то мучительную оторопь за мастерство, с которым под одним куполом существовала и моя мастерица; как будто в море уходил островок, едва нащупанный, я шарил мысленным взором, но перед ним лишь возникал, куда ни кинь, ужасный лицедей, — как во сне, когда силишься проснуться и не можешь, не постигая, почему тебя несут в кошмар твой же ноги... На смену людям выехали кони и затрясли с покорной радостью, под шелканье бича, начесанными гривами, и я, стряхнув мысленный наплыв, пошел на выход, не желая видеть дальше.

Служебной дверью я опять проник в тот коридор, где продолжали разминаться трудолюбивые артисты, я что-то попытался вычитать в их лицах, но они в ответ не выражали ничего, помимо занятости своим искусством. Я повернул за угол — и прямо впереди увидел моего кошмарного героя. Теперь, не в позе, не в прожекторном луче, но с тем же в точь румянцем до ушей на трупной маске, из-под которой сблизи еще скверней проступала брюзглая щекастость, — он окатил меня волной еще более недоуменного омерзения. По сцене — ладно, сцену мы продули, но как он смеет, образина, разгуливать тут, по жизни, — или тут все к нему уже привыкли? А дальше я увидел ту, к которой шел. Она подпрыгивала на пружинном мостике, подпрыг — и сальто в воздухе, и снова, — просто не поверишь, что это не кто-то, а близкий — и в тот миг ближайший мне, чем кто-либо на свете, человек. Я, замерев, смотрел с восхищением на нее, стараясь не пускать во взгляд соседствующую мразь. Но эта мразь, эта обезьяна сама туда впиралась, прихрамывая, чего с ней не было на сцене, и трескучим голосом-гвоздем сядила в адрес, насчет которого больше не могло быть никакого сомнения:

— Летай, летай, сука! Бабки делать надо, потом трахаться!

Пуды белил и румян ходили на щеках, и эта сука — была она, и он — тот человек, тот юный бог, соперник мой и двойник по ее постели.

Пощечина куда мощнейшей силы, чем все, о чем мог помечтать, в одно мгновение развернула меня и выбросила вон, как шелуху, из

здания, с того момента и надолго сделавшегося мне ненавистным.

И с ней мы больше не встречались никогда.

Верней... Все это было так давно, что я успел позабыть долта, и никогда б не вспомнил, если б... Мы тут ходили с папаном на утренник в театр кукол, потом спустились на Цветной, что-то купить на рынке. Малыш первый раз в жизни увидел настоящий цирк и, как все на свете малыши, стал требовать сводить его к зверям и акробатам, большие фотографии которых были развешены там за стеклом у входа. Как все на свете взрослые, я стал объяснять ему, почему нельзя двух удовольствий сразу, — ругая сам себя, что не смекнул загодя опасности такого мимохода. Он скис, я понял, что сейчас пройдут капризы, и вышел с ним на край тротуара поймать такси. И тут перед нами остановилась машина, за рулем была молодая женщина, а сзади заметно старший ее мужчина и карапуз примерно одних лет с моим. Я не смотрю давно, но тут отметил вскользь, когда она вышла, что ее фигура, подчеркнутая ловким одеянием, сложена на диво, а лицо... Бывают лица, чья очевидная неправильность заключает в себе такую власть, что действует подчас даже сильнее обычной красоты. И, зная сами это собственное свойство, они на ходу, в толпе порой мгновенно привораживают взгляд словно напоминанием о чем-то накрепко упущенном, но некогда мечтанном, чего уже нельзя нагнать, окликнуть — как их самих в поденной толчее. И я, кланусь, ее б не узнал: вот эта внутренняя ладность ее преобразила совершенно; узнал я, как ни странно, первым его — благодаря той мерзкой черточке, что, видимо, по воле приключения запала мне в память глубоко — хотя, может, только мне и лишь по воле приключения. Но самое удивительное, что в мальчике, полной копии его, эта же самая черта, преобразенная непостижимой игрой природы, была невыразимо симпатична. Он был настоящий ангелок, к тому же, выбираясь из машины за отцом, продолжал с большим искусством, кому-то, вероятно, подражая, строить уморительные рожицы, в неопишемом восторге умоляя:

— Папа! Мама! Ну посмотри-те-же!

И мой ребенок замер, забыв все на свете, в полном и таком же искреннем восторге глядя во все глаза на маленького лицедея...

Да, это была она! Но я узнал в красавице не только ту, давнишнюю девчонку из кордебалета — но и ту, сквозь яркую сценическую гримировку, что на гигантской фотографии при входе летала в звездном окружении юпитеров, партнеров и трибун. Она скользнула взглядом без внимания по моему лицу, улыбнулась моему ребенку, ее ребенок наконец поймал обоих за руки, и они втроем пошли к ступенькам, ведущим в цирк.

А мы остановили наконец такси, сели, и мой ребенок теперь все молчал, стараясь, видно, сохранить для мамы рассказ о необыкновенном мальчике, виденном у цирка. Я понял, что из всех чудесных приключений за день это последнее было самым чудесным для него.



АЛЕКСАНДР ЧЕРНИЦКИЙ

ЕВРОПА

МИНУС

Записки спекулянта

1.

Мы выпружаемся на перроне Павлиняса. Это название выложено крупными черными буквами языка главного племени на левом крыле вокзального строения. На правом крыле — лишь темные следы былой кириллицы.

Лешка выбрасывает клунки из тамбура, я ловлю внизу. Освобождаясь от нас, вагон вздыхает и расправляет рессоры. Мы приступаем к навьючиванию. С ледяными душу гиками, иначе — гръжа, мы забрасываем на спины рюкзачищи. Впрягаемся в колесные сумки. Движемся к подземному переходу. Мы мерно раскачиваемся, как профессиональные верблюды; в одном — метр шестьдесят роста, в другом — верные метр девяносто, любителям диссонансов есть на что посмотреть. У Лехи-коротыхи широченные плечи, за которыми работа инструктором по туризму, и ноги его всегда в форме, ибо по нашему городу он передвигается исключительно на велосипеде с прицепом, едва доставая педалей. Я — существо куда более изнеженное и сутулое. Потому, если кто-то полагает сравнение с верблюдами заезженным, извольте: шимпанзе с орангутангом в походной колонне.

Но мы — не шуты и работаем не на сцене. Мы — кормилицы и работаем на базаре. Туда-то мы и направляемся; мы — гуманисты, кормим народ, а народ кормит нас, и у нас с народом в обе стороны «люблю».

Сейчас народ с нежностью наблюдает, как мы готовимся к спуску в подрельсовый тоннель. Лешка берется за наши тачки спереди, я — сзади.

— Взяти!

Штанга в воздухе. Сто килограммов сметаны, творога, муки, кол-

Александр Черницкий родился в 1959 г. в Баку. Учился в Москве, по образованию инженер-химик-технолог. Сейчас живет в Новополюцке (Беларусь), сотрудничает в местной прессе. Печатался в журналах «Нева», «Октябрь», «Урал», «Родник». Странно сознавать, что для нас он уже — автор иностранной. Почти об этом — и его произведение.

басы, суповых концентратов и сливочного масла парят над ступенями. Я смотрю на Лешкин рюкзачок и вспоминаю сонного таможенника, бредущего ночью сквозь сумерки общего вагона, население которого: а) спит; б) делает вид, что спит. Мы с Лешкой принадлежим ко второй категории, поскольку возем такое количество контрабанды, что не в силах разделить радость с первой. Кроме того пассажиры делятся по высоте занимаемого положения. Мученики низшего класса едут внизу сидя, мученики высшего класса едут под потолком лежа, а мученики среднего класса на вторых полках чувствуют себя божьими избранниками, и лишь проверка паспортов может убедить в том, что это не сплошь евреи.

Вдруг спотыкающийся в нашем раю человек в униформе вздрагивает и включает электрический фонарь. Видимость прекрасная, очевидно, батарейки свежие. С боковой третьей полки свисает чудовищная туша. Потрясенный таможенник поднимает руку и приступает к ощупыванию, под брезентом хрустит.

— Кто хозяин этого рюкзака?

Лешка, впавший было в игноранс, пытается совершить на своей третьей полке разворот, дабы оказаться с высоким гостем лицом к лицу, и сдавленно шепчет, будто обосрался:

— Я... я...

— Кто хозяин этого рюкзака? — рывкает латыш.

— Я, я! — Лешка наконец отвечает разборчиво; его измятое лицо высовывается над фуражкой проверяльщика.

— Что здесь? Чипсы?

— Не, хлопья кукурузные, — Лешка сокрушается, что не чипсы; он старается говорить поглуше, будто в вагоне едут его соседи по дому или коллеги по работе, а не такие же спекулянты; в его голосе — страшный белорусский акцент.

— А это? — таможенник щиплет днище рюкзака. — Тушенка?

— Не-е-е, — тянет Лешка, словно извиняясь, — молоко консервированное...

— А, молоко...

Латыш отчего-то разочарован — любопытно, как бы реагировал на тушенку? Он подозрительно всматривается в Лешкин рюкзак для переноски байдарок и альпийского снаряжения, который исполинским орлом оседлал узкий проход, грозя в любую минуту прибить и покалечить. Наконец машет рукой и уходит. Лешкина душа исполняет песню, которую телепатически слышит весь вагон.

...Выбравшись из тоннеля, мы прем на базар неподалеку от вокзала.

Самый тяжелый, но далеко не самый опасный этап завершается. Началась операция меньше суток назад, когда голодными хищниками мы с Лешкой набросились на полоцкие гастрономы. Очереди, нормы отпуска, паспорта, перерывы, санитарные дни. Затем дома, вечером — все развесить, упаковать. Поцеловать жену, детей. Сесть в последний автобус. Доволочь весь кошмар до железной дороги и спрятаться за спящими ларьками. Дождаться ночной лошади «Воронеж — Рига». Не

попасться на глаза белорусским ментам при посадке. Не привлечь внимание белорусских таможенников на границе. Потом — латвийских. Не попасться павлинянской политуре при высадке... Хотите нашего хлеба? Что, стыдно? Трудно? Не умеете? Тогда живите впроголодь.

Мы вкатываемся в ворота бойкого субботнего базара; граждане и неграждане Латвии с надеждой глядят на наши баулы и сбиваются в свиту, на почтительном расстоянии ожидающую, пока мы выберем место.

2.

Основной прилавок тянется под навесом вдоль тыльной стены здания рынка. В субботу выбирать не из чего, все места забиты; в самом дальнем углу нам удастся потеснить пожилого чувака, нахохлившегося над произведениями литературной классики. Что ж, в Польше мне приходилось торговать запиленными отечественными грампластинками из личной фонотеки — по доллару за штуку. Но время винила и личных библиотек ушло, и нужно абсолютно не уважать свое, чтобы в выходной простаивать на базаре с грудой макулатуры. Зато рядом с Тургеневым и Фонвизинным мы навалили настоящий продукт.

Колбаса! Масло! Сметана! Спички!.. Полукольцо клиентов быстро превратилось в толпу, которая алкала наших кормов. Мы не успевали отсчитывать сдачу; в прошлые атаки на павлиняские желудки кривая везла куда медленнее, и до отхода поезда никак не удавалось заглянуть в гости к двадцатилетней аборигеночке Дайге, тюльпанщице с блюдом в серых глазках. Сегодня мы с Лешкой, похоже, монополисты, вот отчего ажиотаж. За чудачком с бесполезными текстами морщинистый дедок разложил на газетке всевозможный железный хлам, дальше фифа с лицом завбазой толкала жвачку с сигаретами, виднелась бабка с безобразно связанными шапочками-петушками, торчат на всегдашнем месте пивной человек со своим бочонком — словом, все местные. В последний раз нас здорово обломали конкуренты, два бугая с бабенкой и невообразимым количеством кур и сосисок, из нашего же города, они добрались до пункта облегчения первыми и, соответственно, заняли место ближе ко входу; половина покупателей просто не доплывала до нас.

— Леша, Саша, здравствуйте!

— О, Наталья Степановна! Доброе утро!

Милая Наталья Степановна, дорогая наша пенсионерка — антифашистка, любезная помощница в святой борьбе за полноценное питание жителей Латвийской республики! В ее квартирке — два шага от рынка — мы оставляли до следующего раза непроданный полиэтилен и непроданную еду — ту, что не склонна к порче. Или пили чай, переводя дух перед броском на Ригу. Или вместе обзванивали ее соседей и знакомых, чтобы сдать им неразошедшийся мясной товар. Помогая нам с Лешкой, Наталья Степановна не только разнообразит свою жизнь, но

и бьется за демократию. Молодость она провела в древней белорусской столице — Новогрудке — и ко всем землякам относится с нескрываемой симпатией: нас она когда-то сама здесь отыскала и затащила к себе в дом.

— Сейчас я вам, ребята, чаю в термосе принесу!

— Ни в коем случае, — закричал я поверх голов. — Опозорите перед всем Павлинясом, где ж это видано, чтобы почтенная женщина молодым торгашам...

— Закончим, сами к вам придем! — уверил Лешка.

И мы вернулись к расчетам. Вначале мы сходились с покупателем в цене за килограмм, затем умножали на вес кусочка — я на своей донсторической «Casio», а напарник на лилипутской «Электронике» с солнечным питанием. Пока солнца хватало.

Сзади хлопнула дверь. Из-за наших спин вышла полнуха лет тридцати пяти с рожой торгово-закупочной паскуды, в белом распахнутом халате. Она чуть приостановилась близ нашего аттракциона и, глядя в сторону, сообщила:

— Этими продуктами здесь нельзя торговать. Убирайте!

Впервые сегодня наши уши побаловались акцентом; в порядке и подборе слов тоже чувствовалась легкая скованность, нерусскость. Женщина растворилась в кутерьме, но я успел вспомнить: в одну из суббот она уже донимала нас угрозами, а пошла бы она с ними в срaku, отвработник Павлиняского торжка!.. Проблема поважнее: мужичок в ветхой железнодорожной фурахе сунул за палку колбасятины самую крупную купюру, какая бывает в этой стране — не разойтись. И у Лешки нема, торг только начат, господа!

— Обождите минутку, сейчас найдем вам сдачу... А вам чего, бабуля, маслица? Пожалуйста, этот кусочек подойдет?..

Лешка, известный ссуль:

— Сашка, может прикроем лавку на полчаса, а?

— Брось, Алексей, мало ли мы китайских предупреждений слышали!

— И мне палочку, и мне...

— Молодой человек, у вас еще сметана есть?..

Я с тоской представил, как придется упаковываться, навьючиваться, где-то в кустах или пусть даже у Натальи Степановны отсиживаться, а тут самый пик, и оттого реально навестить сучонку-Дайгу, которую бросил муж в двухкомнатной квартире неподалеку от вокзала, где мы так ни разу и не были. Впрочем, окинуть ристалище одним оком я не забыл. Чепуха, все тихо. Ни в Польше, ни в Латвии, ни в России не случилось у меня неприятностей на базарах. Пляшут зеленые цифирьки по дисплею, отличный творог, девушка, можете попробовать, полужирный, кстати, уксус берите, граждане, второе дешевле, чем в ваших магазинах, — и тут правым локатором я разобрал неприятные звуки:

— Полиция, там полиция приехала...

Батюшки, Наталья Степановна вернулась. И — бочком, бочком к Лешке подбирается. И — с отчаянными жестами. Но я только что

смотрел, какая к черту полиция?!

Торговец и покупатель — охотники. Их взаимодействия состоят из обмена добычей, и от этого они азартны. Выцарапывая друг у друга деньги и товар, они попадают под обоюдный гипноз. Мир перестает адекватно восприниматься, а мир, как известно, состоит из опасностей. Послушайте, сколько творческой радости в руладах, выводимых продавцом картошки на далеком восточном базаре: «Тапуах адома, шекель вахеци!»* При этом он подмигивает вам, хохочет и шевелит ушами с растущими из них седыми кисточками.

Старушка, обмотанная вдовьим платком, сняв крышку, пристально изучала консистенцию сметаны в литровой банке; парень моих лет в телогрейке благодарил за купленную колбасу; старый путеец терпеливо ждал сдачу; женщина в зеленом пальто с лисой нюхала масло (да не волнуйтесь, мы прогорклого не возим, нам еще здесь бывать и бывать!); молодой папаша с дитем на шее протягивал деньги за пакет сладких кукурузных колечек. В такой миг бросить все это — невозможно.

— Саша, Леша, полиция!

Чтобы очистить прилавок, нужно минуты три. Но куда прикажете бежать потом с таким грузом — мы продали едва десятую часть? Цвиркнула неглубокая мыслишка: как-нибудь вывернемся, максимум — штраф, который и вовсе руки развяжет, да и не по наши души скорей всего та полиция.

На лице Натальи Степановны мольба смешалась с недоумением: так безумно храбрые и верные разведчики предупреждают о надвигающейся воине, а им не верят. Ну и — результат:

— Муниципальная полиция. Предъявите ваш сертификат.

Приятный мужской голос с заметным акцентом раздался из-за моей спины. Я обернулся. Красавчик не старше сорока, без головного убора, в теплой армейской куртке — держал передо мной аусвайс. Там не было ни одной русской буквы. Приехали.

— Здравствуйте. Это хорошие продукты, — сказал я.

— Немедленно прекратите торговлю и все складывайте, — сказал красавчик недостаточно, на мой взгляд, жестко.

— Одну минуту, нужно хоть с людьми рассчитаться...

— Давайте быстрее.

За Лешкиными плечищами тоже трамвайным гвоздем торчал полисмен с юными усишками. Когда, откуда?.. Ах, пардон, да мы же обосновались прямо перед дверью служебного хода в помещение рынка, откуда пять минут назад эта жирюга-белохалатница и выбегала — заложила-таки, курва!

Из толпы, как в кино, полетело:

— Оставьте их в покое!..

— Дайте людям спокойно торговать!..

— Сделали в магазинах цены для буржуев, теперь последний кусок

* Картошка, шекель с половиной! (*иврит*)

отнять хотите?..

И — тихо, шипя, сквозь зубы:

— Фашисты.

Подлинной любви не найти в конференц-залах и на площадях — там народ лжив. Она встречается лишь на базарах, здесь любят искренне — животом.

Красавчик нервничал: ему не нравилась реакция публики и наша медлительность. Во времена, когда он еще не собирался служить в полиции, особенно муниципальной, он усвоил, что «фашист» — это нехорошо. Играя в войну, он непременно хотел быть «нашим». Сейчас он хотел быть строгим:

— Быстрее! Вам что, не ясно: это — полиция! — рявкнул. — Собирайте вещи и садитесь в машину.

— И мне палочку, пожалуйста! Без сдачи, — какая-то женщина упорно тянулась к прилавку; если она купит колбасу у нас, а не в магазине, то выиграет аккурат на буханку хлеба.

— Прекратите! — закричал бывший «наш».

Лешка аж присел. Его руки еще не поверили в то, что от выгрузки надо перейти к погрузке, и выписывали в светлом мартовском воздухе невнятные коленца — он как бы уже и упаковывался, но продукты все оставались там, где их накрыло слово «сертификат».

— Если я продам ей колбасу, то смогу рассчитаться вот в этом мужчиной, — я кивнул на поджидающего сдачу. — Мы же еще ничего не натерговали.

Бешеными глазами красавчик смотрел на меня.

— И вообще, господин полицейский, вклейте нам штраф и отпустите с миром. Зачем куда-то ехать?

Передавая железнодорожнику деньги, я окинул взглядом толпу в последний раз. Лица светились симпатией к спекулянтам-гуманистам и горели ненавистью к правоохранительным органам. Именно так: светились и горели. Главное сострадание читалось, естественно, среди морщинок Натальи Степановны. Эх, ребятки, ребятки... Мы принялись скидывать добро в безразмерные вместилища. Любящие нас рассасывались, и скоро обнаружилось, что за их спинами уже ждет полисмобиль — раздолбанный бежевый «москвич» с любезно разявленным багажником.

Случайное облачко заэкранировало робкое еще светило, и кино стало черно-белым. Левые двери в машине не действовали, и все, включая водилу, заползали справа. Я сидел, размазанный по заднему сиденью; слева — Лешка с серой от невузухи маской, еще левее — красавчик-инспектор; впереди справа — худой-седой-старикан в черном драпе. Едва выродок всемирного машиностроения, пропердевшись, тронулся, чтобы пересчитать стуком расхряпанных рессор дефекты асфальтового покрытия Павлиняса, я спросил:

— Извините, я могу узнать, куда вы нас везете?

— В муниципальную полицию города Павлиняса. Вы задержаны за незаконную торговлю именем Латвийской республики! — сказал черный

драп, не повернув головы, при помощи седого затылка.

Кошмарный акцент затылка не сулил хорошего сам по себе, но Лешка — он не инженер человеческих душ — не учуял этого и ляпнул:

— Ну зачем так официально, мужики? Что мы, злодеи какие-нибудь из России? Мы из Белоруссии, это ж совсем другое дело...

— Попрошу вас... э-э... внимательно выбирать слова. Я не мужик, а начальник муниципальной полиции Павлиняса и представляю здесь закон, — сообщил черный драп.

— Извините ради бога, — запел я. — Мы только просим о снисхождении. Конечно, мы виноваты, но войдите в положение: у нас по двое детей и безработные жены. Понимаете? Мы не делали ничего плохого, все продукты свежие...

— А как вы их провезли через границу? — вступил красавчик. — Где таможенная декларация?

Издавается? Шутит? Видела бы твоя смазливая морда, как мы пересекали границу на третьих полках!

— Но нам никто не предлагал заполнять никаких деклараций...

— Значит, следовало самим обратиться к сотрудникам таможни.

Красавчик звучал устало. Он знал, что несет чушь. С декларацией нас захомутали бы точно так же, она не дает права торговать. За окном плыл дерьмовый городок, в таких обстоятельствах все населенные пункты сделаны из дерьма.

— Мы все делаем по закону, — вдруг отчеканил седой затылок.

Очевидно, он был непримиримее любого из своих подчиненных раз в двести. Можно предположить, что те, кто его назначили, еще круче и говорят с еще большим акцентом. На вершине этой иерархии — племенные вожди: архитекторы, художники, историки, этнографы, композиторы, скульпторы и, разумеется, писатели. Всю жизнь они мечтали о славе на избранных поприщах, но отовсюду торчали таланты русских и евреев. Обидно умереть в безвестности, последний шанс — независимость, граница, таможня и муниципальная полиция. В сравнении с этими демиургами наш красавчик-инспектор — добрейший дядя, милый штурмбанфюрер, который прекратит избиение пленного и угостит его дорогой сигаретой. И старикану черное — к лицу.

Красавчик решил развить мысль шефа:

— Наши законы направлены на защиту наших фермеров, они не могут продать свою продукцию из-за ваших низких цен. Сельское хозяйство не может развиваться...

Вряд ли ему знакомо слово «демпинг». Лешка, завернутый на политике, опять погнался ахиною:

— Да поймите вы, господа, мы не из вражеской страны! У Белоруссии с Латвией отличные отношения, на днях наши премьеры должны встретиться...

«Москвич» — крайне уместное название — остановился у высокого крыльца скромного двухэтажного сооружения. Над входом куском заветренной жилистой говядины висел красно-бело-красный флаг — антипод белорусского, который обычно ассоциируется с заветренной

свиной.

— Пора забывать Союз! — торжественно объявил начальник полиции и вышел вон; именно так: «забывать», а не «забыть».

Сухопарый, в долгополом, как шинель, черном пальто, четко перебирал матерыми варикозными копытами и более всего напоминал в этот миг работника гехайме штаатс полицай, взбегавшего по ступеням какой-нибудь комендатуры в фильме про войну. Очень не доставало только фуражки с высокой тульей. Когда его прототипы в черных лайковых плащах пронеслись гулкими коридорами мимо закаменевающих часовых, мой дед воевал в морской пехоте.

Красавчик-штурмбанфюрер и усатый водитель напряженно наблюдали за разгрузкой своего мусоровоза, будто мы могли подхватить центнер жрачки и слинять. Перед дверями околотка прохаживались два автоматчика в пятнистом хаки, один таскал у левой ноги крупную немецкую овчарку.

Наконец, шатаясь в порывах сырого балтийского воздуха, мы преодолели крыльцо и после яростной борьбы — Лешкин рюкзак не пролезал в дверь — оказались в сумеречном коридоре. По-деревенски скрипели половицы.

3.

— Сюда, сюда, — поманил нас незнакомый полицейский.

Он стоял у открытой двери, и хилый уличный свет, заползший таким образом в коридор, был ложным маяком, какие устанавливали на многих войнах, чтобы навести противника на скалу или мель.

В комнатке метров двенадцати находились: эффектно заложив руки за спину, начальник полиции и два стола. Один, расположенный у окна в виде буквы «т», был обсажен стульями и снабжен стандарт-комплектom — настольная лампа, отрывной календарь, письменный прибор с термометром; другой стол, у стены напротив, был красноречиво пуст.

— Выкладывайте все из сумок и рюкзаков сюда! — приказал черный драп; его торжествующий голос старался так чеканить изуродованные слова, чтобы они падали с металлическим лязгом, будто по-немецки.

Я никогда не слышал, чтобы латыши препятствовали торговле промышленными изделиями, и именно в этот рейс мы захватили кое-что из барахла — пощупать спрос. С елеем в тембре я уточнил:

— Все выкладывать или только продукты?

— Нас интересует только продовольствие. Другие вещи кладите отдельно, вот здесь. Потом заберете.

Нас ожидала конфискация всего съестного! Я в испуге посмотрел на Лешку: к нему от таких перспектив мог прийти кондратий. О подобном я тоже ни разу ни от кого не слышал, максимальная мера из применявшихся — штраф в три доллара.

В комнате распахнулась вторая — боковая — дверь и бодрячком

вошел исчезнувший было инспектор с открытым и мужественным ликом главного положительного героя Рижской киностудии. Он успел слегка разоблачиться и предстал во френче с превосходным, крупным и круглым, нарукавным шевроном «Муниципальная полиция», вышитым не по-нашему желтыми нитками; погончики с двумя продольно расположенными звездами украшали плечи. Он у старикана, очевидно, вроде заместителя, смежные кабинеты — это удобно.

Через несколько немых минут стол у стены превратился в гастроном; рядом с этим изобилием отдел сопутствующих товаров выглядел убого: спортивный костюмчик сомнительного итальянского кооператива, отечественные чехлы для автомобилей... Пока разворачивалась экспозиция, прибыли еще два полиция, и стало тесно. Завершив работу, мы с Лешкой отошли от стола и потупились с видом скромных поваров, приглашающих дорогих гостей к обеду. За окном по длинному крыльцу прогуливались охранники и подглядывали; собаку закрывал подоконник.

Публика приблизилась и, вначале неуверенно и оттого медленно, а затем все быстрее и сноровистей, стала перебирать пакеты с гороховым супом, батоны вареной колбасы, «пошехонский» сыр, пачки кукурузных хлопьев...

— Что здесь?.. Домашнее вино?!

Свет в глазах обнажил радость; шесть литров отличного вина из слив и красной смородины припер Лешка в подарок этим козлам, заняв у меня чудесную калиброванную канистру; на базарчике это произвело бы фурор и принесло бы сверхприбыль, не говоря о моральном удовлетворении от торговли в розлив. Мы наблюдали исподлобья за проклятой действительностью — с отчаянием снаружи и надеждами внутри. Такие картины надо писать маслом на больших холстах, а репродукции распространять на почтовых марках.

Суповые концентраты чем-то провинились: личный состав стал показывать друг другу пакетики и быстро заболтал, но непонятно.

— Срок годности — два месяца! — воскликнул наконец красавчик.
— А этим супам уже два года!

Он сунул мне под нос дату изготовления. Леха, с-сучий потрох, в какой же глухой деревне и по какой забытой цене откопал ты несчастный «Суп молочный с макаронными изделиями»? Хороший он парень, в свое время вдоволь намахался бело-красно-белым стягом на шумных сборищах, а на сессиях нашего горсовета, депутатом коего является, выступает по поводу и без повода исключительно по-белорусски. Теперь его прополошут под красно-бело-красным. По-латышски.

Просроченным на пару лет оказалось и концентрированное молоко, в банках которого сегодня ночью милый таможенник заподозрил тушенку. Милый? Сейчас все милые — кроме этих. Как раз кто-то из них обнаружил за грудой колбас шеренгу литровых банок со сметаной. Баночки эти — весь наш город такими пользуется — вынесены с химзавода, сделаны из непривычного коричневого стекла и закрываются по резьбе пластмассовыми крышками, на которых кружком отлито:

«РЕАХИМ».

— Что это? — раздельно произнес красивый штурмбанфюрер, глядя на меня широко раскрытыми глазами; его серые лужицы переполнились болью за народ, обреченный жидомасонами и прочими славянами мору с помощью сметаны.

Полиции трагически замерли, вероятно, прикидывая, каких героев слепит из них масс-медиа: в Павлинясе, мол, задержана банда иностранных отравителей. Я взял одну из банок, открыл крышку со словом «РЕАХИМ»...

Черный драп сделал невнятно ручкой и что-то промычал, усатый вздрогнул, остальные зависли в легком столбняке, мысленно прощаясь со мной и крестясь слева направо.

Белейшая тугая струя сквозь мою пасть прохладным водопадом потекла в желудок, освещая себе путь в мрачном тоннеле пищевода. Восторженный Лешка ляпнул:

— Да у меня в таких банках жена варенье держит!

Зря: смазал впечатление, как комментарий смазывает прелесть анекдота. Я продолжал жрать сметану огромными глотками, чтобы сожрать как можно больше. Точнее — оставить как можно меньше. Одолев полбанки, я сдался и, облизываясь и отдуваясь, сказал:

— Если вы нас в чем-то подозреваете, засекуте время. Через сорок минут все станет ясно.

— Прекратите балаган! — рявкнул черный драп с седым затылком и добавил несколько энергичных фраз по-своему.

Вернулась рабочая атмосфера. У одного из полицаяев — самого толстого в коллективе — в руках появился лист бумаги и вместе с худырбутиным в архаичных синих милицейских штанах от занялся тем, от чего нестерпимая грусть наполнила наши души, а нестерпимая вонь — ноздри. Судя по запаху, тощий ветеран был безнадежным алконавтом, и печень у него явно не работала:

— Именем Латвийской республики эти продукты конфискуются!

— Как, даже водка? — я захлебнулся обидой. — У нас всего по одной бутылке, это не на продажу!

Чистая правда: водку мы брали только на представительские расходы — сунуть кому-то на пути следования в случае заминки. В позапрошлом рейсе на обратном пути нас заложили проводнице земляки, соседи по отсеку в плацкартном вагоне, и нас, безбилетников, среди ночи сняла в Даугавпилсе полиция. Вся местная валюта, естественно, была обзелснена; я занял очередь в кассу, а Лешка сбежал куда-то с нашим литром и вернулся спустя пять минут с деньгами, которых с лихвой хватило до дома. Аборигены часто спрашивали у нас водку на базарах, но сюда не имело смысла ее возить: в Польше навар на ней на восемьдесят процентов выше...

— Водка тоже, — как бы даже и сожалел, кивнул инспектор. — Сейчас составим протокол.

— Но это наше личное, понимаете? — ах, несправедливость. — Вечером мы должны быть в Риге на дне рождения у бывшей однок-

лассницы! Не можем же прийти пустыми!

— У нас водка продается везде и совершенно свободно. Если нужно — купите.

Это нам сказал старикан с гордыми колоколами в медном голосе. Вот, дескать, какая страна, даже водка есть! Он плюхнулся на стул, а два полицаи стали добросовестно пересчитывать экспропрированное. Параллельно молодой водитель с усачом постарше и еще каким-то типом в гражданской куртяшке уже несколько минут разглядывали и ощупывали наши комплекты чехлов для автомобильных кресел, которые в качестве промтовара и в количестве трех лежали на т-образном столе начальника муниципальной полиции Павлиняса.

Все должностные лица, едва усевшись напротив клиента, внезапно вспоминают что-то, вскакивают и уносятся — редко дольше, чем на час. Подверженность этому профессиональному психическому расстройству через минуту продемонстрировал и здешний обер. Стоило ему отлучиться, как от наших чехлов отделилась фигура в гражданском и приблизилась к нам.

— Почему вы хотели продать чехлы?

Назвав цену, мы признаем, что чехлы привезены с целью наживы, и они разделят участь продовольствия. С другой стороны, трудно объяснить, для чего иного наш походный магазин украшают бордовые одежды для салонов «жигулей».

— Чехлы не продаются, это подарок рижским друзьям, — подхватил Лешка тему дня рождения, не вполне, впрочем, уверенно.

Но тут поразительно быстро вернулся обер, и штатский сделал вид, что безразлично смотрит в окно. Задумчиво так смотрит, а там периодически возникает фигура с автоматом Калашникова.

— Послушайте, — сказал я, когда красавчик начал заполнять бланк. — Мы вбухали в эти продукты по ползарплаты. В семьях не осталось ни копейки. Нельзя так жестоко — отобрать все. Мы вас очень просим: оставьте часть — ну, скажем, половину. Войдите в положение...

Он поднял прекрасные черты от бумаги.

— Мы и так поступаем очень гуманно. По закону следует не только изымать товар, но и штрафовать. Вы ведь успели кое-что наторговать, не так ли?

— Господин инспектор, что ж мы женам-то скажем? Поставьте себя на наше место...

— Каждый должен находиться на своем месте!

Вошли составители описи. Штурмбанфюрер принял листок, взгляделся, и лицо его на наших глазах вернуло маску патристического гнева и боли, какую мы уже наблюдали в связи со словом «РЕАХИМ».

— А есть ли у вас справка о прохождении радиационного контроля? Ваша республика поражена радиацией!..

Эх, кинуться бы сейчас через стол, вцепиться руками в гладкую шею и спросить: «Всерьез ли ты, сволочь? Дорого тебе здоровье тех, кого мы кормим? Ты веришь в радиацию в нашей чудесной, свежей, вчерашней колбасе из обычного магазина, о чем ты, гнусный лицедей,

прекрасно знаешь?»

— Да посмотрите, господин инспектор, — закричал мой бедный напарник, тыча пальцем в этикетку на молоке. — Город Глубокое, это же Витебская область, соседняя с Латвией, там радиации не больше, чем у вас!

Ярого сторонника белорусской самостоятельности понесло. Топя по привычке объяснение в несущественных подробностях, он принялся вещать о том, что север Белоруссии условно чист (столько-то Кюри), о том, что продукты мы не сами делаем, и они обязательно тестируются, а уж что до молока, молоко из этой самой партии не далее, как вчера, пили его собственные дети, потому что свежего в гастрономы не завозят, потому что в отечественном «живелагадоуле»* нет кормов, потому что Высший Курултай Казахстана решил все излишки зерна кинуть на развитие Байконура и олимпийских видов спорта, потому что...

В мозгу красавчика забарахлило устройство синхронного перевода, и он молча передал мне листок с описью.

На русском языке, спасибо. Колбаса — 19 палок, сметана — 12 литров, суповые концентраты — 110 пачек, уксус — 10 бутылок (идете в родной цех, надеваете противогаз, полуметровым крюком из арматурной проволоки открываете вентиль, и поток девяностосьмипроцентной уксусной кислоты толщиной в руку прет в подставленную тару), мука высшего сорта — четырнадцать килограммов... А это что?

Батюшки! Моя литровая красная фляжка с разведенным бельгийским спиртом, моя неразлучная подружка-путешественница, в книге рекордов твое место, а не в этой халупе, пятьдесят тысяч километров, сотни литров спирта, Румыния, Чехия, Венгрия, Турция, Польша, Словакия, Германия...

— Господин инспектор, фляжка-то при чем? Видите: из нее уже опито, грамм сто пятьдесят не хватает. Поездки к вам очень тяжелые, сами понимаете...

— Опись уже составлена. Я не имею права ничего вычеркивать.

Клочок бумаги в одном экземпляре, исписанный от руки, в любой момент можно заменить чем угодно! Я посмотрел на описывальщиков, от гниющего бывшего мента протянулась к моим ноздрям вонь — непонятно, как его выносят коллеги. Сейчас, не вставая, крепким великосербским сапогом ближнему в пах, другой ногой — в прелестную мордашку штурмбанфюрера. Захватить его пистолет — если заряжен, если сразу найти и снять предохранитель. Снаружи охранники начнут стрелять через окно; лай собаки будет последним живым звуком; всаживая последнюю пулю оберу в лоб, я еще услышу звон стекла и вдруг застыну, коченея. По крайней мере мой последний глоток воздуха будет пахнуть не бодуном проститутки-циррозника, а пороховой гарью.

Красавчик сказал Лешке:

— Все, что значится в описи, я занес в протокол на вас одного, не возражаете? Чтобы не терять времени и не делить продукты.

* Животноводстве (белорусск.)

Лешка — титан, в одиночку приперший столько корма на базар соседнего государства, — поставил подпись. Унылые наши взгляды прощально ласкали наш гуманитарный груз: ах, до чего хороша канистра с Лешкиным винцом, ах, как налижется эта мразь к вечеру...

— Можете идти, — небрежно кинул обер: торжественная часть окончена. — Заберите ваши сумки.

Сталь сменилась брезгливостью: он разговаривал с отработанным материалом. С мятым паром.

— Господин начальник, позвольте забрать фляжку. Представьте, в каком мы настроении!

Обер уставился в мои глаза, проверяя, соответствует ли их угодливость угодливости гортани. И убедившись, что да, явил милость победителя:

— Хорошо. Берите.

— Спасибо, — подобострастно прошептал я и, швырнув фляжку в сумку на колесиках, повернулся к столу с чехлами.

— Не трогать здесь ничего!

— Но чехлы. Вы же говорили...

— Если хотите спорить, будете это делать в присутствии телевидения. Хотите?

— И спортивный костюм?

— И спортивный костюм.

Вот тебе и проба рынка, бабушка! Только не ляпнуть, что костюмчика с чехлами в описи нет — еще и тачанки наши опишут, как транспортные средства.

— Господин начальник, костюм — не товар. Он же единственный, в подарок. Очень прошу вас: отдайте! Нам вечером в Ригу, на день рождения.

Обер мыслил. Все молчали.

— Ладно, — сказал он. — Забирайте. Но больше никаких просьб, иначе лишитесь всего.

Через полминуты мы с Лешкой спускались с крыльца околотка, испытывая свинцовое облегчение.

— Спасибо за гостеприимство, — внизу Лешка обернулся к охранникам. — Мы тронуты до самой задницы.

Красномордый мужик — тот, что держал овчарку — обиделся:

— А мы ни при чем, ребята. Мы только охраняем.

Он обходился без полицейского акцента, мы чуть не сели:

— Как?!

— А вот так, — сказал второй автоматчик, высокий и курносый. — Мы в войске охраны края служим. То сюда пошлют, то на склад или мост...

...Мы молча побрели к полуденному солнцу — в сторону базара.

Потешно подпрыгивали колесики пустых тележек. Одноэтажные дома и узкие пустые тротуарчики сопровождали наш скорбный этап. Абстиненцию не обязательно вызывать химически, перепоем или передозняком: достаточно ограбить купца, эйфорирующего по поводу

бойкого торгова.

На ближайшем перекрестке стояли трое или четверо — в хаки. Я посмотрел на Лешку и решил, что сейчас он блеванет. Они стояли прямо на проезжей части, которой, кроме пешеходов по суббота́м, похоже, никто не пользовался. Они могли быть кем угодно, — охранниками края, пограничниками, таможенными шмоновцами, политурой. Даже рыболовами или железнодорожниками. У одного чернобородого я увидел на голове альпийскую охотничью шапочку с прищпандоренным пучком мелких перышек сбоку: возможно, и охотники.

Близ железной дороги мы остановились.

— На-ка, Леш, — я поднес к его печальной роже вырванный из лап полиции сосуд. — Не кручинься.

4.

Затем мы пили чай на кухне у Натальи Степановны. Сама держательница явки усидеть не могла, все бегала по квартире, журила нас за неосторожность и возмущалась бессердечием обидчиков.

— Саша! Леша! Как же так, торговать прямо у служебного входа?! А курвешка эта? Разве не знаете: замдиректора рынка!

— Она ж и в прошлые разы была, но все ведь обходилось...

— А еще, ребята, соседка с третьего этажа, латышка, говорила, она меня на семь лет старше. Начальник-то этот, седой, — Наталья Степановна перешла на шепот, — полицей он! Старый еще! Крови на нем вроде не было, потому, как по молодости одурманенного, только выслали его куда-то, вместе с семьей. А как суверенитет объявили — вернулся. Один.

Веще мое сердце! Я поставил пустую чашку. Спасибо. Внутри меня мерно и неостановимо всплывала ненависть. Я почувствовал, как от этого под свитером расстегнулась пуговица на сорочке. Хорошо, не zipper на ширинке. Наши отношения с черным драпом приобрели то, чего им не хватало, — завершенность. Теперь я мог бы смотреть на него сквозь прорезь прицела. Хотя это не менее комично, чем мстительные мечтания избитого сверстниками подростка когда-нибудь вступить в родной город на броне головного танка.

Мы простились с нашей пятой колонной и, прихватив оставленный у нее в прошлый приезд десятикилограммовый кусок парниковой пленки, отправились — перебарывая отвращение — обратно на базар.

В масках покупателей мы обошли место боевой славы. Торжище глохло, как всегда к концу первой половины дня. Не обнаружив ничего подозрительного, мы встали у самого входа, не за прилавком даже, а перед ним. Эти предосторожности теперь, после драки, были достойны полных идиотов. С неба исчезло светило, из закрывших его туч посыпалась бессмысленно-холодная крупа, и снаружи сделалось так же гнусно, как и внутри нас. Еще по глотку радикального средства купцов-неле-

газов! Мой глоток — сто грамм, Лешкин — семьдесят.

— Девушка, костюмчик как раз на вас, Италия! — задирает я сорокалетних фей, окончательно увядших от дурной погоды.

Две недели назад погода была не лучше. Капитально облегчившись в Павлинясе, мы с Лехой рванули в Ригу, чтобы распродаться там вчистую. Последней, помню, сдавали борную кислоту — убойные количества ее я скупил дома в нескольких аптеках. Бухие, как трактористы, мы горланили на два голоса посреди знаменитого Рижского базара:

— А вот кислота, прекрасная борная кислота, пожалуйста!..

— Отличная борная кислота для травли тараканов и обработки помидоров!..

— Замечательная, лучшая в мире, очень дешевая кислота!..

Рижане мели борную кислоту, как пайковый хлеб, хотя никто до встречи с нами, возможно, не подозревал о своей нужде в этой дряни. Царапали темнеющее небо святыни Старого города — Домский собор, собор Петра и Павла с полуторатонным петушком на шпиле. Пороховая башня, Малая Гильдия... У них у всех был подавленный вид: они лишились многолетнего поклонения приезжих, чего совсем недавно не смели допустить в своих каменных грезах...

Продавцы, не умеющие торговать, поначалу косились на нас с Лешкой, но скоро преимущества могучей горловой рекламы оценили все. И те, кто стоял с обувью, и те, кто с бижутерией, и те, кто с мясорубками, и те, и те... С начала сумерек мы рванули в меняльную контору и в тютельку успели на ранний — дополнительный — поезд, который ввели этой зимой, чтобы колбасный народ перестал брать штурмом транспорт. С него-то нас и сняли в Даугавпилсе полицейские: получив дубинками по пяткам, мы оба обвальным образом покинули уютные третьи полки. Собственно, билеты у нас были, но — до ближайшей к Риге станции, они играли роль посадочных талонов. Далее в пути в общем вагоне никто ничего не проверял, и за символическую плату мы доезжали до самого дома; в позапрошлую субботу все общие вагоны скупил пацанва, мелкие билетные наварщики, потом эти недоноски топтались около касс и вполголоса предлагали билет за две цены. Пришлось брать в плацкартный, в нем проскочить в сто раз труднее, но нам бы и это удалось, если бы не попутчики, коллеги по промыслу. Заложили. А так мирно с нами болтали, прежде, чем мы заползли на верхотуру спать...

Милые воспоминания. Все это было в позапрошлом веке. И полчаса, и сорок минут, и битый час мы безуспешно сдавали полиэтилен и спортивный костюм — ничтожные ошметки великой поклажи. Костюм, хоть и итальянский, от снега намок и выглядел неважно; к пленке многие приценивались, но будто не имели с собой денег.

Если я предпочитаю на базарах по-азиатски зазывать покупателя, жонглируя при этом товаром (особенно удобно палкой колбасы), то верный напарник Лешка склонен, зажав вещь под мышкой, ходить вдоль рядов и тихонько предлагать ее самим продавцам; снимаю шляпу. Так мы и поступили: я остался курить и злобствовать с итальянским

гарнитуром, а Лешка уволокся с пленкой в крытую часть рынка, где изнуренное нашим демпингом фермерство вяло сбывало свою продукцию.

Рядом со мной за прилавком бригада украинцев, не таясь, предлагала масло и сыр, а за ними литовцы — майонез и печенье; ни одна собака не пыталась их не то что арестовать, но хотя бы элементарно пугнуть, привести в чувство. Когда я намекнул хохлам, что сегодня свирепствует полиция, — оба, пожилой и салабон, видимо, папаша с сынулей, реагировали с той степенью индифферентности, при которой даже реальное прибытие карателей не способно включить инстинкт самосохранения. Хохлов можно понять: из каких-нибудь Черновцов до Риги они добираются без трех часов двое суток, стоя половину пути в тамбурах переполненных вагонов. Ночь они проводят на каменном полу Рижского вокзала, следя, чтобы не обокрали, и полиция, развлекаясь, гоняет их с места на место, а когда надоедает, развлекаться принимаются операторы моечных машин. Какая чудовищная нужда заставляет все это претерпевать ради двадцати пяти баксов — загадка жевто-блакитного цвета.

Объявился Лешка. Продав! Я готов был прижать к груди его зверскую физию, которая посторонним должна казаться попросту разбойной, и непонятно, какие, собственно, параноики становятся его покупателями. Настоятельный совет, господа: первое время после разгрома ни в коем случае не оставайтесь в одиночестве. Если вы где-то и вычитали, что поверженный герой требовал для себя уединения, знайте — перед вам меланхолик, и побыть одному ему понадобилось для последней мастурбации, после которой герой предполагает и вовсе удавиться с горя. Завидев своего уroda, я воспрял. Я — сангвиник.

Здесь ловить было больше нечего. Важнейший показатель — соотношение числа продавцов и покупателей. Если величина этого коэффициента в районе единицы, вы имеете дело, скорее всего, с небазарным днем или некоторым затишьем, связанным со временем суток; если коэффициент равен десяти в пользу продавцов, — базару конец, и в ничтожном знаменателе дроби уже не покупатели, а нищие, ждущие сигнала вожака, чтобы кинуться к мусорным бакам за гнилыми фруктами.

5.

Мир состоит из категорий, тяготеющих к постоянству — из моды, привычек, традиций, обрядов... Самый подвижный интеллект не в силах противостоять этой пошлости. Я с детства люблю беленьких и миниатюрных, заставляю себя любить темных и крупных, но все равно предпочитаю беленьких и миниатюрных. Пошлость непобедима, и Дайте повезло — она была беленькая и миниатюрная.

Я заметил ее, едва мы с Лешкой и клунками ввалились за при-

лавок Павлиняского торжища. Поначату было на редкость ясно в том пасмурном феврале. Она стояла метрах в четырех, за продавцами какого-то ржавого железа, ее бледность контрастировала с морозом, а серая искусственная шубейка — с концом века; перед ней в прозрачном пластиковом кубе горела свечка и сияли тюльпаны.

Выгружая из рюкзака творог и колбасу, я пару раз поймал ее глаза. Вдруг она подошла:

— Что хорошенького привезли, ребята?

Умопомрачительный акцент. Прелесть-латышечка.

— Если бы знали, что встретим такую принцессу, захватили бы шоколад.

Как бы приняв титул, она капризно сказала:

— Неужели нечем меня угостить?

От эпопеи по доставке продовольствия до флирта — один шаг.

— Для тебя непременно что-нибудь найдем, я подойду через пять минут.

Лешка, в последний раз ухаживавший за девушкой, которая стала его женой, вывалил язык, как июльский колли. И замер, как ретривер в стойке. Никакое жесткое порно не доставило бы ему этого кайфа: он делался свидетелем прелюдии адюльтера, а это самый щекочущий грех, ибо всякий свидетель мечтает стать участником. Особенно такой коротыш. Без меня у него никаких шансов.

Она отошла к покупателям, в белых варежках с черными иероглифами. Люблю женские руки в варежках, молодит и умиляет.

Спустя три минуты я услышал те же повелевающе-капризные обертоны, в которых русские слова гнулись каторжниками в каменноломне.

— Ну где же ты? Я жду!

С женщинами нельзя угодничать. Это вредно для покорения, ибо вселяет в них презрение. Я ответил:

— Потерпи пару минут. Я пока занят, извини.

Когда схлынула первая волна любителей дешевой колбасы, я плеснул из красной литрухи в колпачок и пошел к зимним тюльпанам. Возможно, они произросли под пленкой, которую мы с Лешкой похитили с родного химзавода. За цветочным кубом я обнаружил пластмассовый стаканчик с пивной пеной на дне. Вот откуда такая общительность: малышка поправлялась с бодуна.

Она выпила, и мы условились повторить.

В тот день я подносил ей по чутельке еще раза три и даже купил на записку бокальчик пива у толстяка с подковой шкиперской бороды на круглой пивной ряхе. (Лешку пивной человек поил бесплатно, потому что тот в каждый приезд угощал его своим винцом). Ни я, ни Лешка не замечали тревожных симптомов, пока Дайга не подошла — она уже больше времени проводила рядом с нами, чем около своих цветов, и даже свечка потухла — и тем же жеманным голоском не спросила — потребовала:

— Почему ты не хочешь меня поцеловать?

Разумеется, я ее приобнял и чмокнул в щечку. Девка обожралась: не боец.

Весь последующий час она катастрофически пьянела, верещала, кривлялась, позоря нашу фирму перед всем населением и забросив собственную торговлю. Серию перлов она выдала на посошок. Вначале жертва моей литрухи бросалась к каждому встречному с требованием вернуть ей varejku (кажется, левую). Едва найдя varejku в глубине собственной сумочки, она заявила, что мы с Лешкой должны немедленно идти к ней и что на Лешкину долю она пригласит подругу. Затем Дайга сверзлась с обледенелого настила, трусики голубые. Впоследствии нетвердый шаг превратился в невозможную синусоиду, каковой наша цветочница и плелась с базара у нас в хвосте, и каковая привела дополнительно к двум эффектным падениям. Мне, как истинному джентльмену, стало, признаться, не по себе, но помочь девушке было нечем, руки сжимали поклажу: мы перлись на электричку, чтобы в Риге допродаться и обменять выручку. Единственный меняла Павлиняса — каждый знает его конторку в помещении вокзала — предлагал, как и положено монополисту, слишком невыгодные условия, а с латвийскими деньгами дома делать нечего.

Переходя улицу, Дайга увидела легковую машину и с завидной твердостью застыла на ее пути. Это интернациональная черта, нетрезвые женщины всего мира имеют неодолимую тягу к езде в автомобилях — там их обычно рвет на обивку заднего сиденья. Водитель затормозил, коснувшись бампером коленок нашей цветочницы. Чтобы не упасть, она обняла капот и долго не хотела его выпустить. Околобазарный народ торчал. Мы поджидали на другой стороне улицы.

Наконец я вытянул из клоунихи адрес: живет одна в двухкомнатной, через месяц бракоразводный суд. Мужа можно понять. Твердо пообещав, что в следующий раз непременно зайдем в гости, мы рванули в сторону вокзала: поезд уходил. Дайга ковыляла сзади и требовала денег на такси. Мы, насколько позволяли клунки, прибавили ходу и оторвались; оглянувшись, я застал последнее па: она поскользнулась и с воплем полетела в грязный сугроб за спинами пожилой пары латышей, которые тут же схватили по микроинфаркту, а наша умница дернулась встать, смирилась с тем, что это невозможно, и, раскинув руки, принялась хохотать. В электричке до самой Риги я мучил себя несбывшейся картинкой: я достаю хохотушку Дайгу из сугроба, взваливаю на тачку и везу прямехонько к ней домой.

В прошлую субботу на Дайгином месте тюльпанами торговал усатый крепкий симпатяга в хорошей одежде. Я вдруг сообразил, что память не удержала латышское название ее улицы, а газета, в которую был завернут колбасный сыр и на которой я записал жуткое слово, не сохранилась. Я пожаловался Лешке, и он буркнул, принимая деньги за пакетик огуречных семян:

— Дурак!

Я подошел к усатому цветочнику, который на мой вопрос тотчас принял вид человека, не понимающего, о ком речь; эта помешанная

на скрытности порода общеизвестна. Лишь уяснив, что мои интересы далеки от коммерции, он снизошел:

— Я ее уволил. Неделю назад она валялась пьяная в городе. Мне такие работники не нужны.

«Я ее уволил!» Этот странный цветочный жук мнил себя бизнесменом, хотя, на мой взгляд, вполне справлялся с работой сам без наемных рук; небось и взял-то бедную Дайгу только потому, что та ему дала.

— Я обещал ей кое-что привезти, думал отдать здесь, на базаре... И адрес толком не помню — улица Пуркас... Пуркис... У вас, наверное, есть координаты всех ваших работников?

Сезам, откройся! «Работников» — вот золотой ключик.

— Правильно будет «Паркас». Сейчас... — Он полез за записной книжкой.

Вернувшись к станку, я помахал перед Лешкиным носом бумажкой с адресом:

— Сам дурак!

Не задерживаясь в Латвии на сутки, визит к Дайге нереально быто вписать в программу: домой можно уехать одним из двух поездов, которые с небольшим интервалом отправляются вечером. Короткое удовольствие не стоило такой жертвы, и лишь чрезвычайные обстоятельства могли помочь мне пополнить коллекцию хорошенькой латышечкой, а Лешку — узнать запах внебрачного коитуса.

...Мы катили тележки по припорошенному тротуару ободравшего нас Павлиниса. Снегопад усиливался, и мы молчали, как молчат только униженные и оскорбленные. Мой коротыш, комплексун и флегмат, наглухо ушел в себя — я опасался, что к нему подкрадывается помрачение рассудка. Очевидно, последние душевные силы он употребил на сбавивание тепличной пленки, когда вправлял мозг какому-то мяснику: «Желтый оттенок видите? Это светостабилизированная пленка! Ее наш завод только для своих делает! Она, как диод: сюда кислород пропускает, а сюда — нет! Берите, серьезно говорю, не пожалеете! А толщина? Вы обратили внимание на толщину?! Сто двадцать микрон, толще не бывает! Она у вас три года простоит — гарантия!» Я осознал необходимость произнести спич:

— Если пересчитать на зеленые, мы выручили за пленку по пятерке на рыло, это компенсирует ровно половину затрат. Пленка-то нам ничего не стоила, — я отчетливо вспомнил, как среди ночи десятикилограммовый метательный снаряд преодолел трехметровый забор родного предприятия, благодаря чему я заполучил межреберное растяжение в правом боку. — Кроме того, нас ждет женщина, это не какая-нибудь проститутка, денег не нужно. А представь на ее месте другую, которая потребовала бы с каждого еще по пять президентов! Причем в сравнении с мировыми расценками это крайне дешево; это просто смешно — групповая любовь за червонец! Таким образом, считай, что затраты мы вернули. Знаю, ты сейчас запоешь о неполученной прибыли, — сказал я, посмотрев на Лешку; его нос от переживаний приобрел форму крупной сопли и, вообще говоря, в нем трудно было заподозрить

человека, намеревающегося петь, хотя при словах «групповая любовь» его глаза — глаза без пяти минут вершителя суицида — чуть растопили собственную стеклянность. — Но вспомни времена, когда мы ездили в эти края не зарабатывать, а тратить — шлялись по кафейням и пивным, лазали по Старому городу, резвились в Юрмале... Давай, дружище, считать, что мы едем в гости к любимой девушке; рабочий день неожиданно стал выходным. Договорились?

— Ладно, Сашка, хватит лапшу вешать, мертвого уломаешь.

Дома слева и справа улицы казались нежилыми, их окна — бесчувственными, палисадники — мертвыми. Ни души. И от этого еще более тошно. Бесплатной женщиной можно утешить такого, как Лешка, — ему предстоит исключительное приключение, что бы он ни болтал про лапшу. К сожалению, для меня самого подобная оплата векселей не лучшая. Кристаллы злобы закупорили гортань и наполнили мои глаза. Ненавижу отдыхающие города, бурлить должно двадцать четыре часа в сутки нон стоп. Здесь нечему и некому бурлить — это с особой остротой ощущаешь, когда твое добро реквизировано для нужд молодого государства и идет снег. В такие дни в таких городках многие вешаются. Это правильно: зачем жить, если первого марта идет снег?

— Вон кто-то шкандыбает, нужно уточнить азимут, — сказал Лешка.

Объект двигался на нас еще очень далеко, от группки пятиэтажных домов, над которыми торчали кроны сосен. Мой богатейший опыт поисков женщин на улицах мгновенно определил по походке даму, причем стройную, высокую и кокетливую. Возможно, еще и умniejsкую, потому что на ее лице вдруг блеснули очки. Но даже если бы она сама предложила мне отдаться, я бы не счел долг муниципальной полиции Павлиняса погашенным.

Скоро я убедился, что прав: она оказалась очень хороша. Умная мордашка лет двадцати пяти за огромными стеклами, теплые дольки-шмольчики на ногах манекенщицы, короткий классный «дубль»... Жаль, мы никогда не встретимся в менее паскудный день в менее паскудном месте, и я навсегда останусь для нее виденным однажды в снегопад нескладным спекулянником с лицом цвета трупного яда. Поняла, что мы с вопросом, остановилась. И... ответила по-латышски! Выпала куча слов изумительным голоском с изящными жестами — подробнейшие указания, как добраться до улицы Паркас. Я переспросил. Сучонка кивнула, показав, что поняла, и вновь зашебетала, каскадом выдавая приветливейшие улыбки. Беглая латышская речь. Заткнувшись, она выжидательно посмотрела на нас — на одного и на другого. Ждала еще вопросов.

Но мы хором сказали «спасибо».

Она бодро удалилась.

А мы повернулись и смотрели на роскошно виляющую сраку и высокие сапоги, которые, как у манекенщицы, ставились в снег строго по одной прямой. Она могла быть женой красавчика-инспектора, потрясающая пара. И дети у них классные.

— Что выпучился, — сказал я ненужным голосом, — ты ж хотел,

чтобы так было. Чтобы ты сам чужим дорогу на своем языке рассказывал. Флагом махал, бля, митинги. Басмачил ты. И она басмачит. Еще раз скажи «спасибо», они честно учили тебя сегодня. Я думаю, одним басмачом на свете стало меньше. День не совсем пуст.

6.

Она нас не узнала, и недоверие сделало серые глаза менее прозрачными.

— Принцесса, паразитка, как ты могла забыть?

— А-а! — сказала она нерешительно, но прозрачность несколько повысилась. — Заходите.

На ней был халат из пестрой фланели, которая любую женщину делает уютной и теплой. Она явно укоротила его сантиметров на двадцать; тонкие бледные ножки не могли принадлежать супермодели, но могли успешно выполнять главную функцию.

Как я и предполагал, она почти нас не помнила, но это не имело значения. Мы сели рядом на тахте: Лешка, Дайга, я. Моя левая клешня тут же занялась массажем ее правой коленки. Я понес какую-то чепуху; тонус не располагал к красноречию, но женщины любят, когда с ними разговаривают, походя этим на домашних животных. Телевизор показывал про человекообезьяну. Другой мебели в комнате не было. Я попросил рюмки.

Пока Дайга копалась на кухне, Лешка приволок из прихожей, где лежал наш хлам, поллитровую фляжку.

— Откуда?!

Так после восьми обысков подпольщик извлекает из незамеченного тайника секреты рейха.

— Настоящий рюкзак турист шьет сам. И делает глубокие карманы, — Лешка по-мефистофельски осклабился, что нетрудно проделать с его рожей. — Это вино я изготовил для себя. Его не сравнить с тем, что у нас отняли.

— Дай-ка, — сказал я, быстро долил вино в мою красную литруху доплена, взболтал и перелил обратно. — Трезвая она нам не нужна. Хозяюшка внесла рюмашки и расставила на табурете перед тахтой. На стекле имелись следы чьих-то пальцев или губ.

— В тот раз на базаре ты была гораздо веселее. Впрочем, мы тоже. За хорошее настроение!

Я сразу накатил по новой: между первой и второй не должно быть более тридцати секунд.

— За безвизовый въезд из Белоруссии в Латвию и обратно!

Браво, Лешка! Я попросил поставить чайник и вызвался помочь. Такая помощь заключается в том, чтобы обнять сзади стоящую у плиты; во-вторых, когда пошла мало, его вырубное действие повышают, пот-ребляя горячим.

Грудки оказались мелкими и вислыми, но соски сразу встали. Далее, если Дайга владеет общеизвестным кодом, она должна решительно убрать мои руки и сказать «не надо».

Прохладно-синеватыми пальчиками она отняла от себя мои лапы и сказала:

— Не надо.

Я немедленно подчинился и поцеловал ее в шею. Ни в коем случае нельзя показаться неуправляемым: женщины панически боятся маньяков. Даже в трех слогах слышался акцент. Вот что бывает, если в государстве, бутафорски поделенном на полтора десятка, неграмотно проводить национальную политику. При более компетентном руководстве лишние четырнадцать языков давно бы сдали в музей; сейчас это сделать, боюсь, поздно.

Под чайником веселился пропан. За окном были крутые крыши низких архаичных билдингов, на их черепице все толстел белый мех. Я поцеловал Дайге руку и сказал:

— Иди. Я принесу чай. А то Лешка может обидеться.

Послушное создание. Ожидая, пока уляжется мужественный пип, я осмотрел кухню. Она была не менее пуста, чем комната, не было даже шкапика для посуды, которая располагалась на прикрепленной к стене проволочной сушилке. Однако я вернулся на тахту взбодренным: прикосновения к незнакомкам бодрят.

Мы стали пить из чашек, рюмки я унес. В горячий сладкий чай я доливал до краев из фляги и рекомендовал делать большие глотки. Застенчиво (по-мефистофельски) улыбаясь, Лешка начал что-то рассказывать Дайге, но, как всегда, после двух фраз потерял нить и задохнулся в уточнениях. Фильм про обезьяночеловека закончился, и за рекламной пошла эстрада. Я поцеловал мочку маленького уха — туда, где дырочка для сережки. Наша безработная повернула голову, будто я ее хотел о чем-то спросить, а она собиралась ответить. Я лизнул угол ее рта — бесцветные губешки — и сказал:

— Мы будем танцевать, хорошо?

— Почему ты так мало меня поцеловал? — спросила она тем капризным (мерзким) голосом, какой я запомнил в позапрошлую субботу.

О-кей, девушка в порции. Мы добавили громкость в телевизоре и вышли на середину. У бедняжки не было паласа, чтобы прикрыть слишком давно крашенные доски. Гримасничая — думая, что кокетничая, — Дайга сказала:

— Как же мы будем танцевать вдвоем под эту медленную музыку?

— Мы обнимемся, — ответил я. — Вот так.

Мы двинулись черепашьим хороводом против часовой стрелки. Дайга хихикала. Лешка сопел и лыбился до ушей, как стюардесса в бизнес-классе рейса Шереметьево — Бен-Гурион. Он ощущал плечи второй женщины в своей жизни и даже без продолжений будет помнить это вечно. Моя рука, то и дело нарушая замкнутость нашего полупьяного треугольника, развезжала от Дайгиного лобка к Дайгиному подбородку, и Лешка поверх рвушей пасть улыбки пучил глаза.

Когда медленная пошлятина сменилась быстрой, хоровод распался, и нас затрясло поврозь, как осколки империи: восторженного гнома Лешку, смакующего мгновения неизведанного; окосевшую Дайгу, смахивающую на собаку Павлова без мозжечка; и меня, развлекателя с недрами, полными мрака, и оттого походящего на стреноженного кузнечика.

— Так неинтересно! — закричал я. Мы должны изображать Бангустан, отмечающий Пурим. Для этого нужны набедренные повязки. Они к лицу всем людям без исключения, потому что это самая первая одежда. Праодежда! Ты хочешь танцевать в набедренной повязке, Дайга?

После добавочного чаю хозяйшкa была послана за полотенцами и скоро, заплетаясь хильми ножками, принесла весь, я думаю, запас — пару застиранных махровых и непропорционально длинное кухонное с дурацким красно-зеленым узором и радостной кошачьей мордой.

— Вот это тебе особенно подойдет, — сказал я, поднимаясь с тахты. — Сейчас мы отвернемся, а ты обмотай вокруг бедер. Постарайся, чтобы котик оказался спереди.

Джентльмены галантно прикрыли глаза.

— А вы? Почему вы ничего не снимаете? — раздался плаксивый голосок, каким обычно не свойственно взывать об эмансипации.

Она стояла, обхватив сисятки скрещенными руками. Бедрышки были туго затянуты кухонным полотенцем. Кажется, она начала воспринимать нелепость стояния перед нами и от этого трезвела.

— Лешка, быстренько превращайся в бангустановца. А у тебя, моя хорошая, котик на боку. Это не по правилам.

Пока Лешка, кряхтя от возбуждения, копошился за моей спиной, я повернул на Дайге повязку и осторожно поцеловал по очереди ее глаза, ленивые серые глазки с белыми бровками и ресничками, которые она не успела сделать черными, так как не ждала гостей.

Оглянувшись, я впервые за сегодня готов был рассмеяться: балбес стоял, прижав к совершенно лысой груди подбородком полу длиннущей клетчатой рубахи, и со старательностью вахтенного матроса крепил узел на талии. Сбрасывая с себя одежду, я заметил:

— Повязка носится много ниже, она недаром зовется набедренной. Посмотри, как элегантна наша умница: пупок на двенадцать сантиметров выше полотенца.

— Понял, понял, — забормотал Лешка, точь в точь, как ночью в Индре на третьей полке, когда состоялся бессмертный диалог «Кто хозяин этого рюкзака? — Я... я...».

— Поцелуй его, — попросил я, — он страшно стесняется. Он боится и не любит тебя.

— Как?! Ты не любишь меня? — возмутилась Дайга. — Разве меня

можно не любить?

Бедняжка ждала от жизни много нежности, но получала в основном другое. Лешка пошел багровыми пятнами, словно казнимый цветущим садом аллергик; его подвижные, сплюснутые от волнения губы образовали агрегат для сосания и дотронулись наконец до прозрачной северной щечки; ткнулись раз, другой... Внезапно потенциальный прелюбодей забросил на плечи девушке могучие руки-крюки и заглотил разом: хихикающий рот, полподбородка, левую ноздрю. Девушка встрепенулась от неожиданности, уперлась было кулачками, но тут и обмякла.

Лишь бы нежность.

В их ртах булькало, хлопало, всхлипывало, плюхало, а я думал о том, что всего в полутора или двух километрах, в этом же городе, под этим же тусклым небом и под этим ненужным снегом, — двухэтажный дом с высоким крыльцом, караулом, овчарками, а внутри стройный памятный старик в черном пальто, добрый красивый штурмбанфюрер в хаки, их помощники-мародеры, но лучше всего в моей голове умещался стол, полный еды и питья, и все это отнято нами у неуклюжей безобидной республики, охваченной массовой паранойей, вывезено и до печени обидно вмиг прохлопано. Я ощутил даже запах, сказочный запах, испускаемый грудой вареной колбасы, ее привозили в наш город из Миор, где вся продукция колбасного цеха подкапчивается и оттого благоухает, будто вкусная.

Они напоминали славную пару «вампир-жертва» из триллера. Когда мокрые лица разнялись, я решил, что Лешке хорошо бы прицепить фальшивые клыки, а сплюни обоих подкрасить.

— Сочная, правда? — спросил я Лешку, протягивая рюмахи целовальщикам.

Чай кончился, и рюмки трансцендентно вернулись на табурет — во всяком случае видимых усилий к замене ими чашек никто не прилагал. Даме я предусмотрительно налил половину, дабы не перетитровать, как тогда, на базаре.

Стоит ли описывать дальнейшее? Или вы так поверите, что гнусная национальная политика шизоидов была нашей великолепной теплой тройцей на почве истинного естества посрамлена?



ВАЛЕРИЙ ШАМБАРОВ

МЕЛКИЕ РАССКАЗЫ

КАПИЩЕ

В воскресенье с утра празднично одетые жители Старосвинска ручейками потекли к окраине. Мероприятие намечалось необычное и историческое — открытие первого в России капища Перуна. Изначально открытие и посвященные этому ритуалы намечались на полночь, но областное телевидение такой вариант не устроил за ненадежностью осветительного оборудования. Сейчас телевизионщики опутывали лужайку перед капищем кабелями, среди которых занимали места зрители и зеваки.

Событие не было сенсацией. Скорее — логическим завершением давнего процесса. Кутерьмой вокруг капища Старосвинск жил уже несколько лет. Сначала коммунистические власти преследовали группу энтузиастов-язычников, милиция устраивала облавы на Перуновой пустоши, а районная газета «Красный Коммунист» изливала на них крокодильское остроумие фельетонов. Репрессии способствовали количественному росту и сплочению идолопоклонников. Поговаривали даже, что сначала началась кампания репрессий, а уже из-за нее идолопоклонники появились. Когда коммунисты стинули в туман, за язычников принялась церковь, понося их с амвонов и телеэкранов. И требуя от властей оградить Перунову пустошь, как церковную собственность — там когда-то стояла часовня, варварски разрушенная безбожниками в

Валерий Шамбаров родился в 1956 г. в Хмельницкой области. Окончил московский инженерно-физический институт. Стал военным. Дослужился до майора. Сейчас в запасе. Пишет.

13-м веке. Но перунопоклонники не сдались. Устраивая на пустоши манифестацию за манифестацией, они дошли до столицы, отправив туда делегатов с петицией верующих, где доказывалось, что священное место принадлежало им еще в 11-м веке, а уже потом было незаконно занято христианами. И наконец, когда правда восторжествовала, верующие и просто патриоты-энтузиасты целый год на свои средства и пожертвования в свободное время трудились над реставрацией древней святыни.

К полудню лужайка была заполнена горожанами и приезжими. Главные жрецы — школьный историк, замдиректорша дома культуры, художник-любитель и пенсионер-энтузиаст, наполовину еще в галстуках, наполовину уже в русских рубахах, разрывались на части. Уточняли по бумажкам сценарий ритуала, обхаживали столичных гостей, встречали и размещали участников церемонии, лезущих из автобусов. Торжественность обстановки нарушала Танька-Комбинашка, городская сорвиголова и пугало для мамаш. Начав с победы в конкурсе «Мисс-Старосвинск», она упрочила положение порнозвезды, став первой и единственной исполнительницей стриптиза в городском ресторане, а также единственной фотомodelью районной газеты «Красный Демократ». Танька настырно лезла из-за кулис на публику, перекликалась со знакомыми и всячески демонстрировала, что под расшитой рубашонкой на ней ничего нет.

Из города запрыгнула, прыгая на ухабах, колонна легковушек. Прибыли депутаты горсовета во главе с председателем и муниципальное руководство во главе с мэром. Встреченные жрецами, они заняли первые ряды на специально сколоченных скамеечках. Бледный жрец-конферансье мысленно вознес молитву Перуну, вышел к жертвеннику, и ритуал начался.

Сначала выступил высокий гость из Москвы, профессор и зампредседателя Всероссийского общества идолопоклонников. Он рассказал, что язычество является единственной исконно-славянской религией, остальные же культы пришлые и чужды истинно русскому человеку. Что с отходом от поклонения Перуну нарушилась органическая связь людей с русской природой и ее силами. Отсюда и пошли русские несчастья, начиная с княжеской междоусобицы и татаро-монгольского нашествия. Поэтому возврат к вере предков есть начало духовного и нравственного возрождения народа.

За ним выступил другой москвич, художник. Он попытался атаковать господствующую религию, объясняя, что христианство пришло из Иудеи и является частью всемирного жидомасонского заговора. Но чтобы не спугнуть телевизионщиков, его деликатно оборвали и выпустили местного юмориста из «Красного Демократа», который прошелся крокодилским остроумием по посрамленным гонителям язычества.

Потом выступали мэр города, школьный историк от коллегии жрецов, кто-то от спонсоров и женщина средних лет от группы поклонников Перуна из Верхнего Устьюга. Говорилось об энтузиазме верующих при

восстановительных работах. О гуманной направленности язычества, о его демократизме в отличие от тоталитарного монотеизма. Говорилось, что с открытием первого капища Старосвинск становится мировым религиозным центром наряду с Римом, Иерусалимом, Меккой и Лхасой. Высказывалась твердая уверенность, что отныне язычество станет распространяться семимильными шагами, покрывая всю Россию сетью капищ истинных славянских богов.

Когда отзвучали речи, духовой оркестр старосвинского гарнизона заиграл что-то древнеславянское. Коллегия жрецов вручила мэру для разрезания ленточки кривой жертвенный нож. Причем высокопоставленному гостю явно льстило, что его величали при этом князинькой.

Традиционно цепляясь и путаясь, поползла вниз холстина, и перед зрителями предстал идол Перуна с рекламными плакатами спонсоров — спичечной фабрики и совместной российско-папуасской фирмы «Эдельвейс». Вообще-то Перуна брались изваять известный столичный скульптор из Всероссийского общества идолопоклонников, но уехал за границу, где его признали. Пришлось довольствоваться местными силами. Поэтому изготовленный Перун чем-то напоминал Ленина с указующей дланью, только без кепки, с большими зубами и голого. Но жрецам сходство даже понравилось, потому что такой Перун для но-вообращенных оказался бы привычнее, ближе и роднее.

Перед открывшимся идолом начались игрища. Группа девушек из хореографии Дома культуры в сарафанах и венках из искусственных цветов покружилась хороводом. Качки клуба имени Шварцнегера показали свои плавки и вымазанные вазелином бицепсы. В их окружении появилась Танька-Комбинашка и продемонстрировала собственный ресторанный номер, стилизованный под идолопоклонство. Затем довольно известный народный шоу-хор из Северодымова, специально приглашенный для торжества, исполнил народные шоу-песни и шоу-пляски северодымщины. Воины местного гарнизона показали приемы рукопашного боя, а детишки из школьной самодеятельности сплясали разученный по недоразумению перуанский танец.

Чуть не сорвался кульминационный обряд жертвоприношения. По сценарию на данную роль уговорили ту же Таньку-Комбинашку, которой было абсолютно все равно, как шокировать публику, будут ли ее раздевать или резать. Но выяснилось, что легкомысленная звезда уже куда-то укатила на машине с северодымовским режиссером, пообещавшим ей ангажемент и гастроль по Белоруси. Попытки срочно найти замену ни к чему не привели. Все опрошенные активисты отказывались. Одни — ссылаясь на неподготовленность и отсутствие сценического таланта, другие — на непрезентабельное состояние белья, третьи — на семейные обстоятельства или служебную необходимость. Пришлось жрецам вытряхивать из карманов всю наличность и посылать бегом отроков к старей Шеманаихе, которая разводила курей и продавала на базаре. Тем временем еще раз запустили минут на сорок домкультуровский хоровод.

Наличности хватило на две курицы. Но пройдоха-Шеманаиха в спешке подсунула отрокам таких доходяг, что кровь из них чуть сочилась. Ее едва хватило, чтобы торжественно вымазать губы Перуну и, в порядке благословения, мэру с председателем горсовета. Перед остальным начальством пришлось конфиденциально извиниться и попросить их обождать с благословением до следующего раза.

Тут церемония сама собой подошла к концу, потому что пламя жертвенного костра добралось до куриных трупов, а ветер потянул в сторону зрителей. В живописных окрестностях Перунова капища начались народные гуляния.

РАКОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

О чем вещует русский небосклон

Сограждане — а главное, согражданки! Ну что вы все на эти гороскопы кинулись, как мухи на отхожие места! Ищите, сопоставляете, переживаете... Да вы гляньте сначала на названия: японский, китайский, сенегальский. Уважаемые жертвы русского глобализма и болгарского вандализма! Вы что — японцы или сенегальцы? Это у них: один — баран, другой — обезьяна, третий — дракон. А у нас? То все подряд бараны. То свиньи. То собаки. А то и вообще не разберешь, когда человек кролик, когда змея, когда тигр, а когда и просто обезьяна.

Нострадамусы и нострадамочки! Ну с чего вы взяли, что у вас на ихнем небе есть «свой» созвездия? У них оно одно, у нас — совсем другое! Свое, исконное, неповторимое. Если у них созвездия зодиакальные, у нас — скорей заднефекальные.

Вы думаете, родились под знаком Овна? Это там у них, может, кто-то в один день с вами родился под знаком Овна. А вы — под знаком Говна.

Козерога, говорите? Уж только не его! Козолупа, Козьей морды, Козюльки, Козла Вонючего — в крайнем случае Отпущения.

Ну как можно всерьез верить, будто ваше созвездие — Рыбы? Скорее — Ни-Рыбы-Ни-Мяса. Все Рыбы в России давно погнили, начиная с головы. И остались вы под созвездием Безрыбья. А если думаете на нем подсесть под Рака, снова ошибаетесь. Это не созвездие Рака. Это оно Встало-Раком, ваше созвездие.

И Телец не ваш знак. Ваш — Тельник Рванный. Или Телушка-заполушку. Или уж Телка с сиськами отвислыми, если свезет.

Считаете небесным покровителем Льва? Да откуда у нас Львы? Еще когда перевелись! Не Лев ваш знак, а Хлев. Или какой-нибудь известный более в родных широтах Лева-Из-Могилева.

Но если вашу судьбу определяет Скорпион, тут вероятны совпаде-

ния. Целая куча Скорпионов, и все в одной банке. А если Дева, то уж точно либо Старая, либо Гулящая. Где ж вы других в нашем бедламе сыщите? Ну разве в результате случки нашей Девы и нашего же Льва взойдет исключительно для вас созвездие ДеваЛьваиии.

Думаете, родились под Стрельцом? Напрасно. Небось под каким-нибудь Стервецом или «Стрелецкой», в лучшем случае. Но скорей всего ваш родовой знак — Стрелочника Виноватого.

Близнецы? Весьма сомнительно. Вероятней Блевунцы, Бредунцы, Блядунцы...

А Водолей ваш при ближайшем рассмотрении окажется Водоплюем, Водохлебом или попросту Водосливом — хорошо, если исправным...

Поэтому стоит ли ликовать по поводу вступления Земли в радужную эру Водолея? Может, кто-то в нее и вступит. Но у нас же, повторяю, другие звезды. Свои, неповторимые. И когда те будут в Водолеях, мы, по всей видимости, обратно в Дуралеях...

ПАЦИФИСТ

— Обходи справа! Ура... Тра-та-та-та!.. Бабах, бабах!

— Витька, а я твоих танками, танками! Ура!

Игорь Павлович зажал уши ладонями. Сын за стеной продолжал своими солдатиками громить Витькиных. Заслоняясь от кроважанных выкриков, Игорь Павлович нажал кнопку телевизора. Первая программа. Немецкие танки по вине Сталина плющат гусеницами нашу землю. Зажмурившись, переключает на вторую. Советские полчища, изрыгая огонь и смерть, рвутся от Бердичева к Берлину... Третья. Какая-то годовщина Гренады! Когда по следующей задолбили танки в центре города, Игорю Павловичу стало дурно. Трясущейся рукой он хватается за провод. Из розетки. С корнем. Как злобу из сердца. Но врывается опять:

— Витька! А я твоих танками! В лепешку!

Это с детства. С маленьких красивых танков, с пластмассовых солдатиков, не воняющих потом и кровью. Прививка злобы. Оружия. Смерть права на жизнь.

— Тра-та-та-та-та...

Дверь в детскую. Куча солдатиков на ковре представляется грудой мертвецов с вытекшими глазницами и разорванными внутренностями...

— Папа! Отдай солдатиков! — орет сын, но Игорь Павлович, вцепившись в коробку, закрывается в уборной.

Подлая жалость лезет в сердце. Сам размазывая слезы, Игорь Павлович хватается за ножницы. Пластмассовые винтовки остригаются легко, чуть похрустывая. Как ногти. Нет смерти. Нет. И оружия нет. Танки — в унитаз!

— Пап-ка-а-а!

— Сынок... на! — он протягивает сыну демилитаризованных граждан. Тружеников. Созидателей.

— А-а! Мам-ка, гляди, что он наделал!

— Игорь! Ты пьян? — в дверях кухни лицо жены. — Зачем ты обидел ребенка? Это жестоко. Пойди и купи ему новых солдатиков.

Ага. Заодно. Она отягощена злом с детства. Зло стало ее натурой.

— Ну сходи, Игорь! Он же житья не даст!

— В магазин? — Игорь Павлович ухмыляется. Достает все деньги, сберкнижку и вон, вон!.. Во дворе детские голоса хлещут перекрестным огнем:

— Тах! Тах! Колька, ты убит!

В глазах темнеет. Как радостно мальчик произносит слово «убит»! Если бы он только представил своего друга, корчащегося последней судорогой в свежей крови!

— Дядя, вы чего?!..

Деревянный автомат — о колено! Надвое! И пластмассовый!

— Я маме скажу! А-а-аа... мм-ма-а-а!

Хлопают окна. Разъяренные физиономии, с которых брызжет зло. Они не поймут. Прочь! Прочь отсюда!..

Магазин игрушек. Вот он, рассадник! Все, на сколько хватит денег! Пушки, ракеты, батальоны пехоты! Берегись, милитаризм! И в костер, в костер! На пустыре за стройками... Игорь Павлович скребет в карманах. Ничего! Сейчас — в сбербанк, а потом — в Детский Мир!

Солнце клонится к закату, когда на пустыре снова взвывается костер, плавя оловянными и пластиковыми лужицами идолов войны. Все. Домой Игорь Павлович идет умиротворенный. Он объяснит. Он должен объяснить, какое нужное дело сделал. Из лабиринта новостроек выныривает милиционер. Придирчиво оглядывает Игоря Павловича, но предложения для задержания не находит. Лишь спрашивает:

— Вы тут никого не видели?

— Нет.

— Ладно. А то развелось хулиганья. Костры палят...

Милиционер обгоняет его. И Игорь Павлович замечает. Пистолет. Оружие. Оружие на поясе человека!

— Товарищ!

Милиционер останавливается.

— Разоружитесь, товарищ!

— Чего?!

— Освободитесь от оружия. У вас чистые глаза. У вас душа, не признающая насилия! Освободитесь от зла!

— Ах, гад! — доходит до милиционера, когда рука Игоря Павловича тянется к кобуре. — Бандюга!

Они катятся по щебенке в битве за очищение души. Душа милиционера очищаться не хочет. Пальцы отыскивают горло Игоря Павло-

вича. В глазах круги, тошнота. Он нащупывает кирпич и бьет...

С диким воплем победы бежит к реке за пустырем и кидает в нее пистолет. Возвращается. Милиционер лежит неподвижно, неловко вывернувшись. Под разбитой головой — лужа крови и мозга. Сердце екает — кирпич! Оружие, которого он не учел! Вот он — красный, потрескавшийся. С налипшими волосами. Вспышка ненависти. Удар с визгом по кирпичу. И тот разваливается на две одинаково убийственные половины... Оружие размножается! Оно почкуется! Оно расплзается по миру!.. Игорь Павлович оглядывается и падает с отчаянья. Вокруг него целые стены кирпичей! Тысячи, сотни тысяч, миллионы! И он понимает, что спасения миру больше нет. Мир перегружен оружием. Игорь Павлович воеет и целует остывающие руки младшего сержанта милиции Горелкина Петра Никифоровича.

АЛЛЕЯ

Глухая, запущенная аллея старого кладбища шебуршит опавшими листьями под ногами председателя Шульгина. Шу-р-р... шур-р-р... Будто перешептываются призраки. Или шелестят подписываемые бумаги. Шу-р-р... шур-р-р... Мертвые листья шуршат под ногами тихо, густо, вязко, затягивая в темную глубину запущенной аллеи. Шур-р-р... шур-р-р...

Сгнивший, черный, кособокий крест. И — букетик свежих цветов! Кто ж о нем, интересно, вспомнил? И вдруг из шороха листьев, из ветра, из воздуха, минуя уши, в сознание врываются голоса. «За контрреволюцию золотопогонную сволочь и беляка поручика Глинского приговорить к расстрелу! Председатель ревкома красный матрос Гаркуша...» И другой голос: «Товарищ командир! Товарищ командир! — выговор, как у сибирского мужика. — Гаркуша, мать твою!» «Чего, Иванов?» «Командир, ты глянь на его сапоги — английские, небось! Попили народной кровушки, падлы! Хватит!..» И хохоток: «Что, суки, тыщу лет правили, а копать не научились?..»

Шульгин недоверчиво оглянулся на крест и шагнул дальше. Заросший бурьяном бугор. Тоже был когда-то могилой. И снова голоса, уже новые: «Бывшего матроса, бывшего председателя Гаркушу за анархию, развал революционной дисциплины, мародерство и грабежи именем революции и ее вождей, товарищей Ленина и Троцкого, приговорить к высшей мере наказания... Председатель Коркис...»

Шур-р-р... шур-р-р... Строгая пирамидка со звездой. И опять: «Троцкиста Коркиса согласно статье 58 и разъяснениям товарища Ежова... к высшей мере социальной защиты... Председатель Березюк...»

Еще шаг — потрескавшаяся безымянная плита. «Гражданина Березюка, пособника врага народа Ежова за беззакония... согласно цирку-

ляру и директиве товарища Берия... к высшей мере... Лунев...»

Шур-р-р... шур-р-р... где ж ты, Лунев? Ага, вот он! «Сообщника английского шпиона Берии Лунева... к высшей... Гуня...»

Новая могилка. «Бывшего председателя Гуню... за хищения социалистической собственности... Турсубаев...»

Шур-р-р... шур-р-р... Мертвые кладбищенские листья... «Турсубаева... за коррупцию и взятки в особо крупных размерах... Параев...» Это когда было-то? Восемьдесят пятый. Шульгин оценивающе оглядывает памятник. Солидно сделано. А Турсубаева, помнится, еще в живых застал. Не повезло мужику. Еще чуть-чуть, еще одну ступенечку наверх — и на пенсию по состоянию здоровья. Не дотянул ступенечки — высшая мера. Покачав головой, Шульгин шагает дальше. Шур-р-р... шур-р-р...

О, какой бюст! И голос: «...Мы ж тебе, гаду, писали: делись нахапанным, а ты?..» И он же: «От рук мафии пал наш неподкупный председатель, кристальный человек и инициативный работник Параев...»

Шур-р-р... шур-р-р... И шаги выводят к новой могиле. Совсем свежая. «За активное участие в так называемом парламенте, органах беспорядка... бывший председатель... к высшей мере... Председатель Шульгин». Тень гордости касается лица Шульгина. Это ведь он этого... того! Когда курс взяли... Забывшись в сладких наплывах близкой памяти, он едва не прошел мимо. Но грубый толчок приклада в плечо вернул председателя на кладбищенскую аллею:

— Стой, сволочь. Пришли...

Сибирские мужицкие морды. Один швырнул к ногам лопату:

— Копай... председатель!

Щеголеватый поручик брезгливо покосился на пухлые, распирающие пальто телеса Шульгина, хлопнул хлыстиком по голенищу и закурил, не снимая перчаток.

— Ваше благородие, дозвольте обратиться! — козырнул конвоир.

— Чего тебе, Иванов?

— Ваше благородие, да вы только гляньте на его сапоги — на меху! Импортные! Попили народной кровушки, падты! Хватит! — и лязгнул затвором. А поручик, разворачивая бумажку с приговором, вежливо улыбнулся уголками рта и счел возможным пошутить:

— Что ж вы, голубчики, власть взяли, а копать так и не научились?



**АССОЦИАЦИЯ
«НЕВСКИЙ КНИЖНЫЙ ЦЕНТР»
города Санкт-Петербурга**

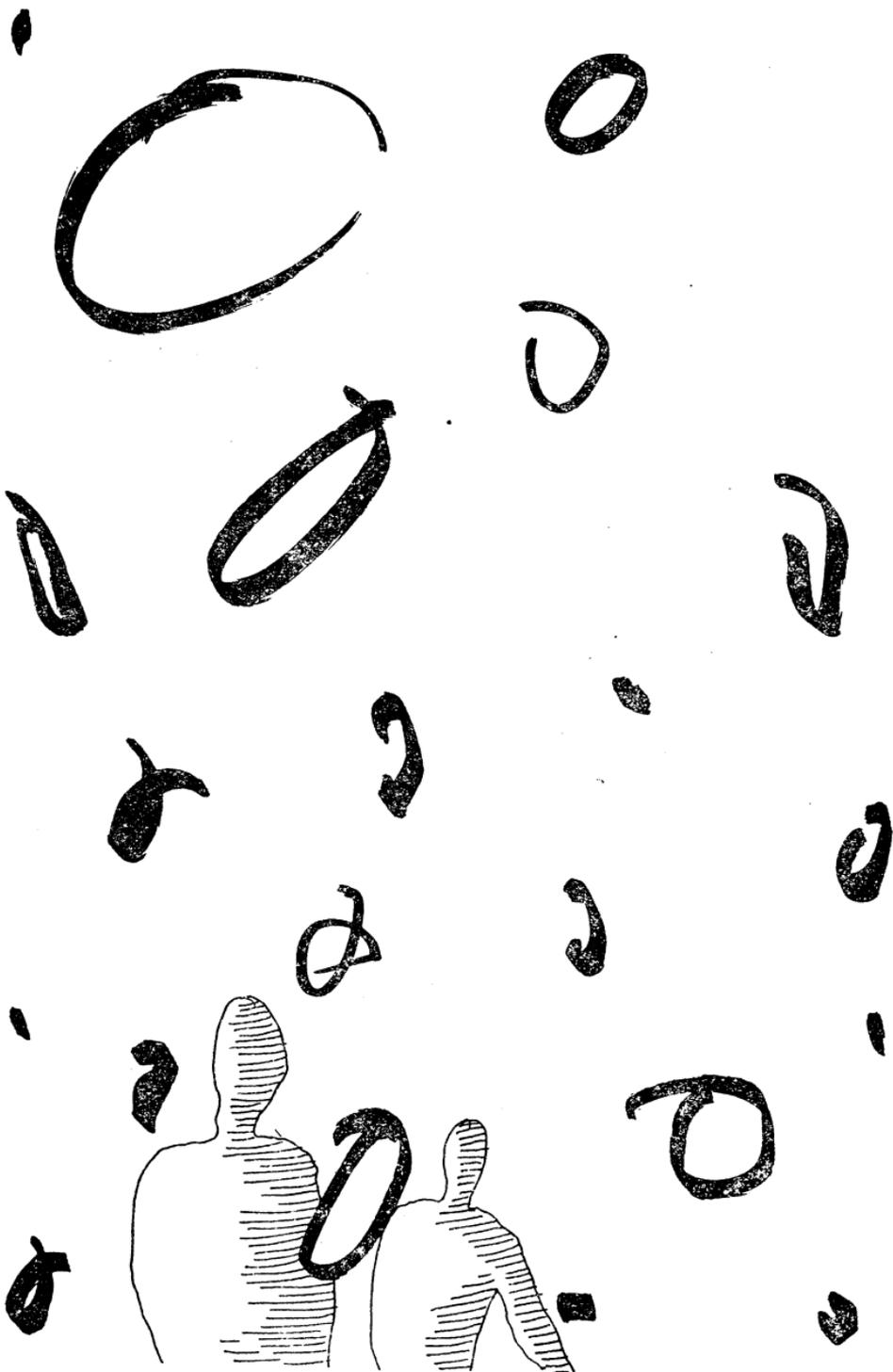
предлагает широкий ассортимент книжной продукции различных издательств С.-Петербурга, Киева, Москвы, Петрозаводска и других городов, а также литературу собственного издательства.

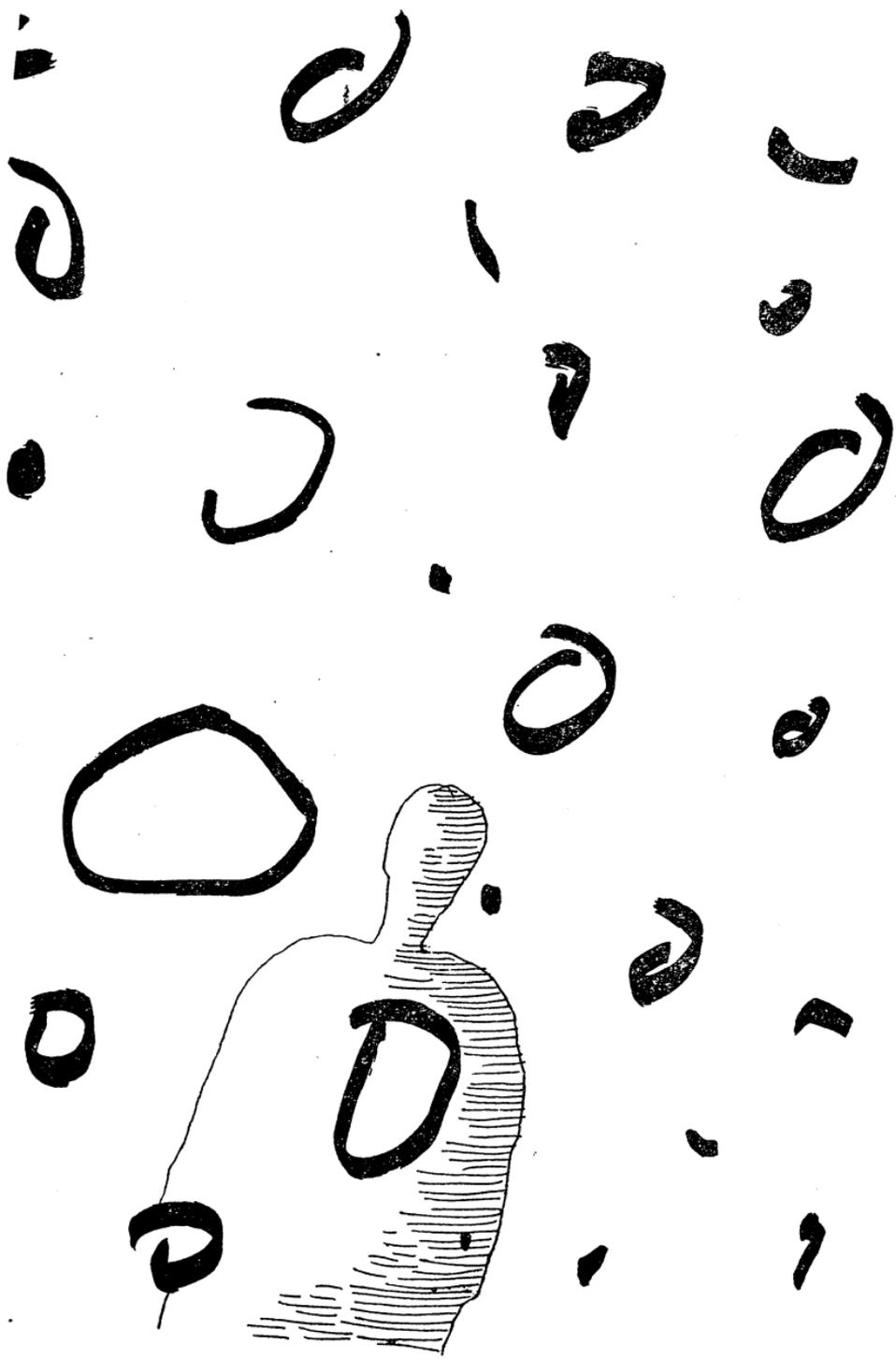
*Оптовым покупателям предоставляется
значительная скидка*

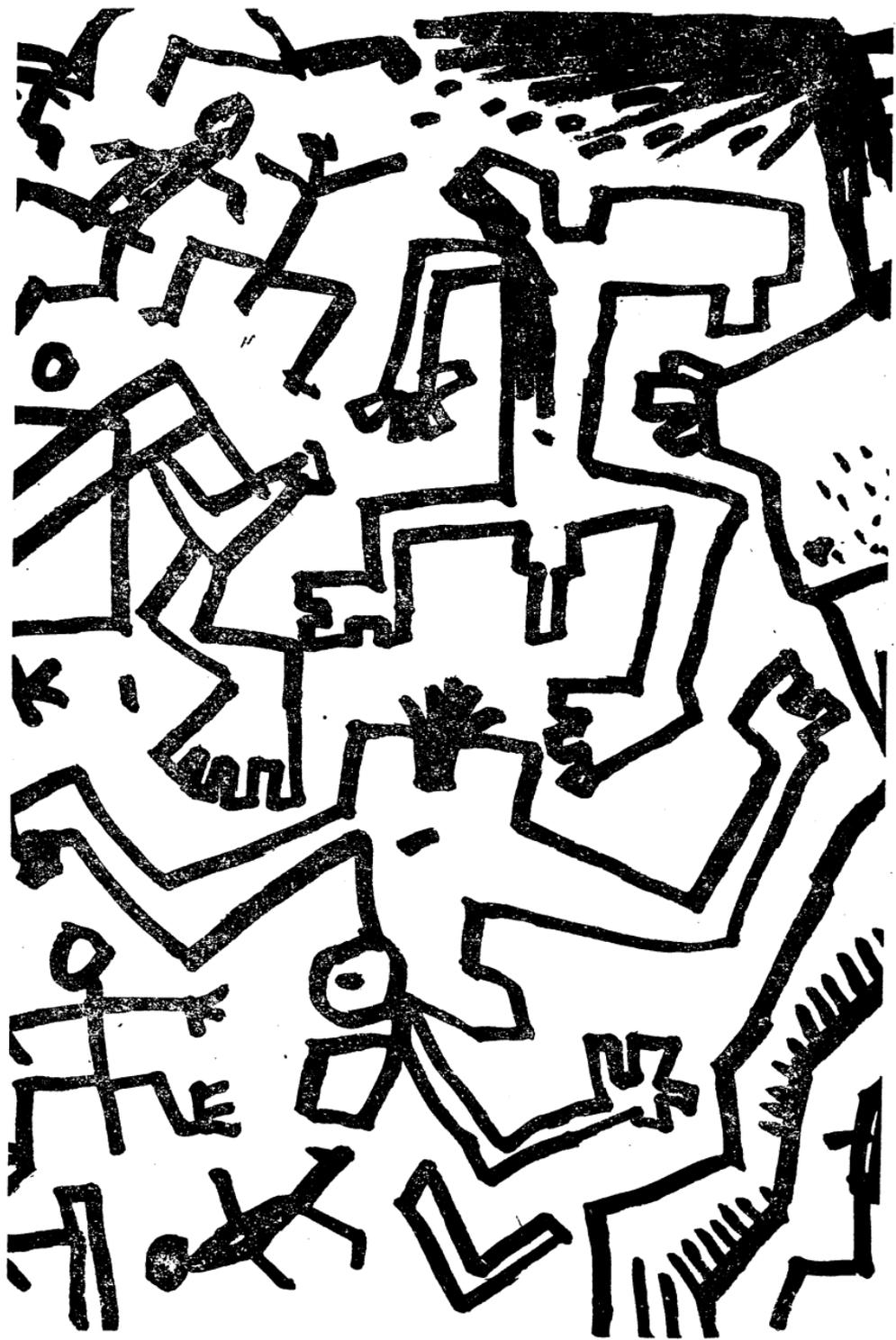
Телефоны для справок: Адрес: Санкт-Петербург,
(812) 567-45-33 пр. Обуховской обороны, 103
 567-45-28
Факс: 567-45-28



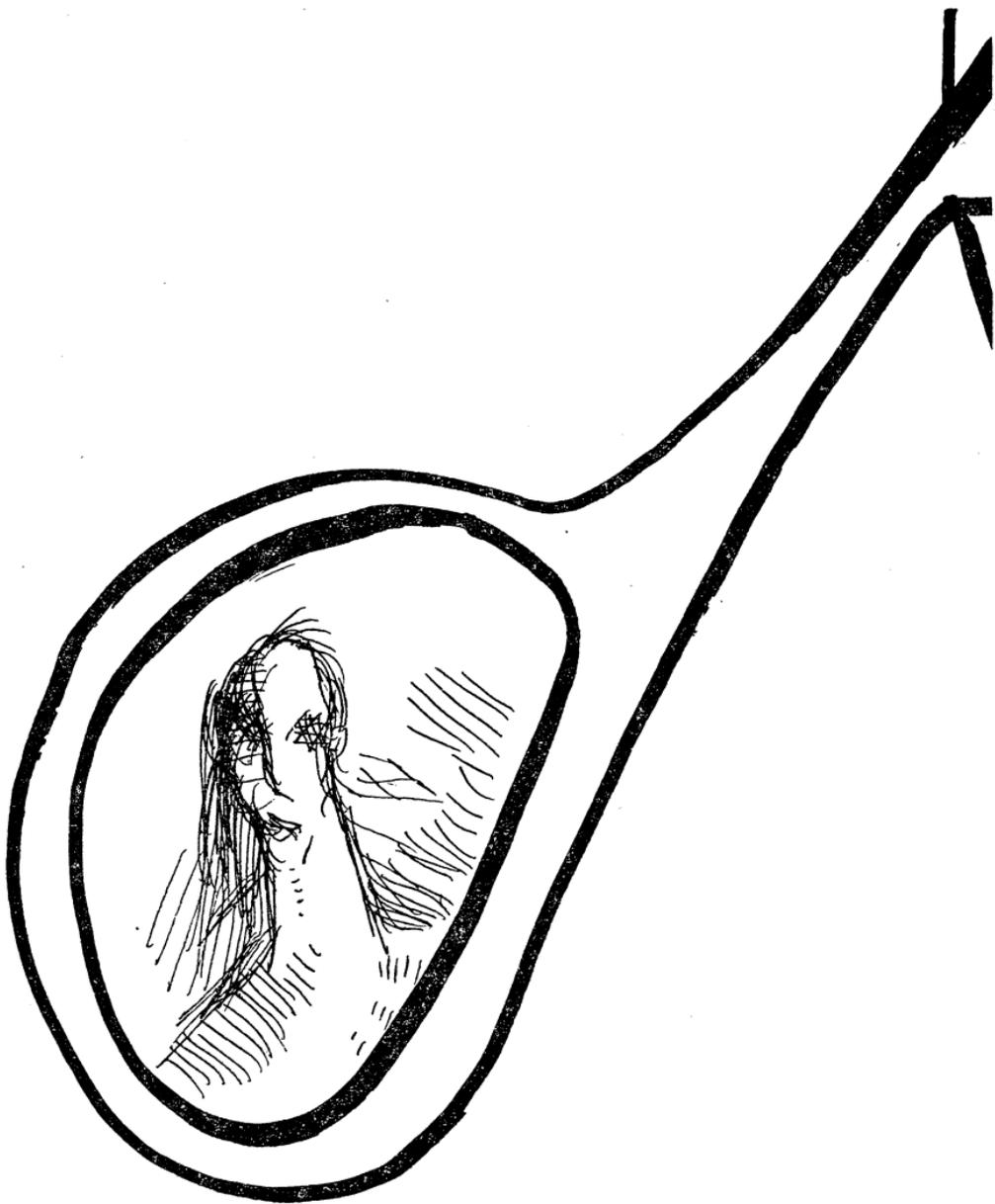
ИГОРЬ ШЕИН









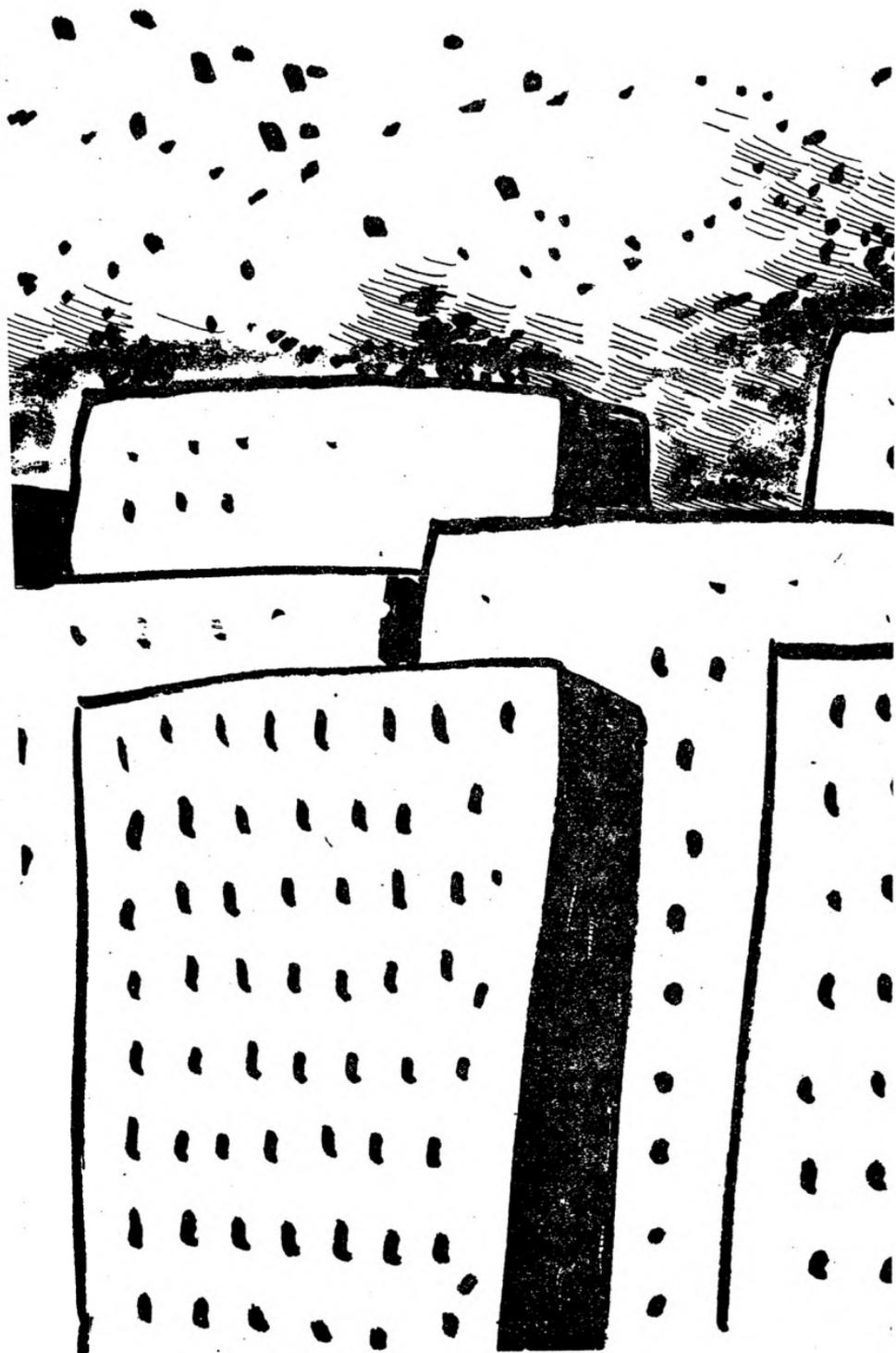


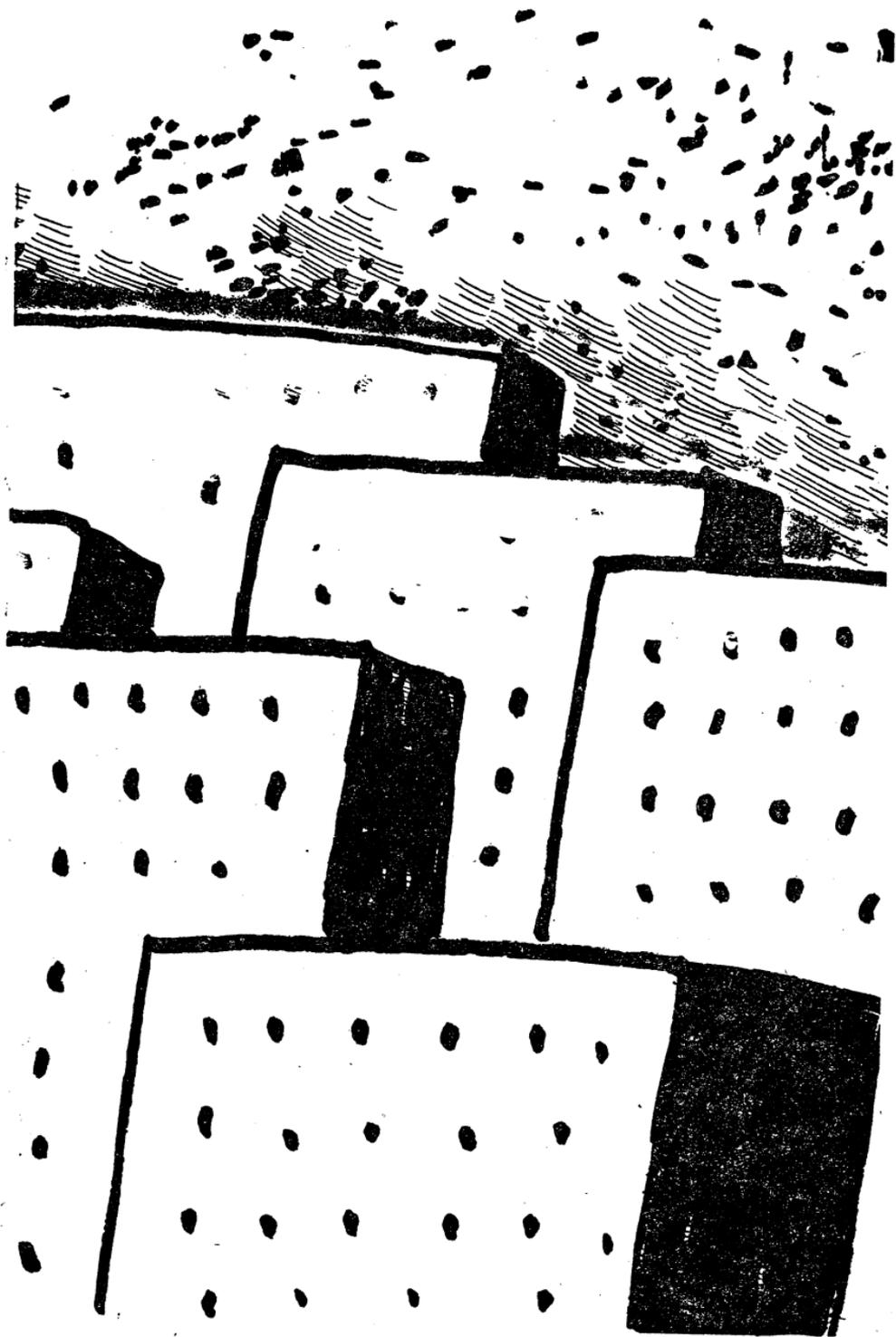
10

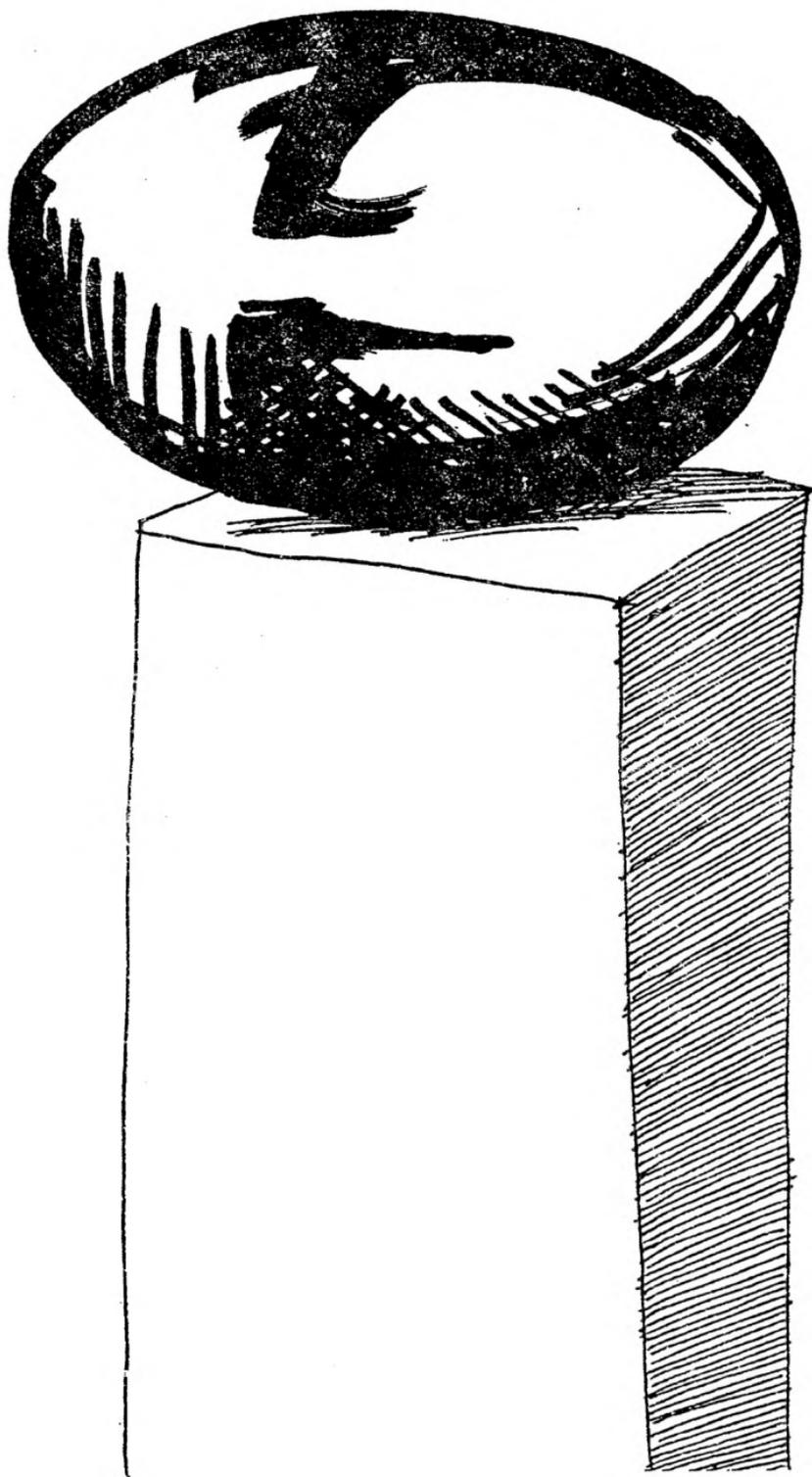












Издательство «Конец века» продолжает серию
«Современная литература».

В начале 1994 года выйдут в свет:

В.Кунин. «Русские на Мариенплац»,

В.Сорокин. «Сердца четырех»,

В.Суворов. «Освободитель» (переиздание),

О.Хаксли. «Как вернуть зрение»,

Л.Габышев. «Одлян, или воздух свободы»,

А.Росляков. «Ловушка дьявола».

В серии **«Философия XX века»**
планируется выход сборника «Человек и его
символы», книги Е.Трубецкого «Смысл жизни».

В серии детских книг **«От МЫ до Я»**
будут выпущены красочные энциклопедии о
балете и персонажах русских народных сказок.

Планируется выпуск книги «Театр имени
меня» об актере Ефиме Шифрине.

*О выходе книг и планах издательства мы оповестим
читателей и подписчиков на страницах альманаха
«Конец века» и в «Независимой газете».*

На будущие издания высылайте заявки по адресу издательства:
103055, Москва, К-55, аб.ящик 95. Книги вам будут отправлены наложенным платежом.

Принимаем заказы на оптовые партии различных
наименований наших книг. Звоните нам по телефону
924-20-05!

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	2
Владимир СОРОКИН. Сердца четырех	4
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Войны за просвещение ...	118
Евгений ЛУКИН. «Нам демократия дала...»	128
Михаил АРМАЛИНСКИЙ. Эротические сочинения	148
Александр РОСЛЯКОВ. Лицедей	180
Александр ЧЕРНИЦКИЙ. Европа минус	194
Валерий ШАМБАРОВ. Мелкие рассказы	218
Игорь ШЕИН. Надо	228

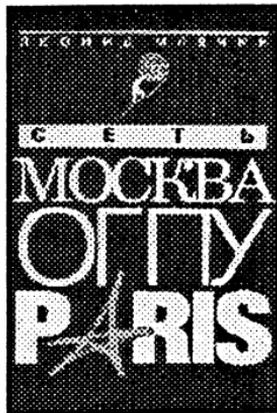
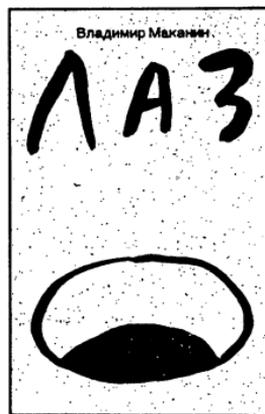
Техническое обеспечение — «Независимая газета».
Компьютерная верстка — Марк Железняк.

ЛР № 060597 от 28.01.92
Подписано в печать 20.12.93. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 7,5 п. л.
Тираж 50 000 экз. Заказ 1355.

Издательство «Конец века», 103055, Москва, К-55, а/я 95.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии Книжной фабрики № 1 г. Электросталь.

В 1992-93 гг. в издательстве «Конец века»
выпущены книги:



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА

Ежедневная восьмиполосная газета

новостей, комментариев, экспресс-анализа, проблемных статей по широкому спектру социальных проблем, политологии, экономики, культуры, философии.

Информационное агентство «НЕГА»:

круглосуточные сообщения из республик бывшего Союза.
Тел. (095) 921-72-76.

Рекламное агентство «РЕНЕЗА»:

реклама в «НГ», региональной прессе, регистрация фирменных знаков.

«НГ» обладает эксклюзивным правом

размещения рекламы в престижной американской газете
«Вашингтон Таймс» (за рубли).

Тел. (095) 925-17-40, тел./факс (095) 928-50-54.

Агентство «НГ-фото»:

эксклюзивные фотосъемки в России и за ее рубежами.

Тел. (095) 925-56-12, (095) 924-55-88.

Издательство «Независимой газеты»:

книги для взыскательного читателя.

Тел. (095) 925-50-08, (095) 921-01-47.

Широкие международные контакты.

Тел. (095) 924-30-93, тел./факс (095) 975-23-46.

Словом, газета, которую читают дипломаты, бизнесмены, люди политики, интеллигенция, все те, кто принимает решения.

101000, Москва, Мясницкая 13, строение 10.

Индекс «НГ» 50089